



ЮНОСТЬ

5

1969



Г. ХРАПАК



Бывший дворец Кшесинской в Ленинграде, где в 1917 году размещались руководящие органы Коммунистической партии. С балкона этого здания выступал В. И. Ленин после приезда в Петроград из эмиграции. Ныне здесь Музей Великой Октябрьской социалистической революции.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



Г О Д И З Д А Н И Я
Ч Е Т Ы Р Ы Н А Д Ц А Т Ы Й

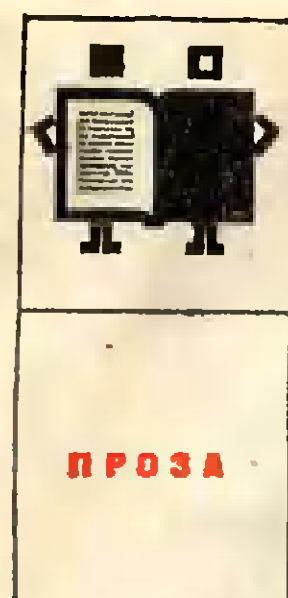
5

(168)

М А Й

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



ПОВЕСТЬ

КРЕСТЬЯН- СКИЙ СЫН



Рисунки
Б. Жутовского.

Глава I

В Поречном открывается школа. Из города Каменска приехали инспектор и учительница...

Весть эта взбудоражила детей и взрослых. До сих пор здесь грамоте можно было обучиться только у отставного солдата — старичка Прокофия. За меру пшеницы этот грамотей брался в одну зиму научить читать и писать.

Открывалась школа в двухэтажном доме Сергея Балабанова. Многие дома Поречного имели второй этаж, одну-две комнаты. Но этот дом был



Посвящаю светлой памяти Кирюши Баева, героически погибшего в борьбе за свободу народа, за Советскую власть.

особенно большим и просторным. Жил в нем только сам хозяин со старухой. Верх дома Балабанов и согласился сдать под школу.

Будущую школу торжественно освятили, а после этого туда потянулись ребята со всего Поречного. Несмело поднимались по лесенке, осматривались. Присаживались на некрашенные лавки, трогали столы, примечая сучки и отметины.

Но с особенным интересом и любопытством разглядывали большую картину в деревянной раме, висящую на середине стены в классной комнате. Ее привез с собой в Поречное инспектор училищ, а сюда повесили вчера, перед тем как священник окропил святой водой углы. Это был большой, во весь рост, портрет царя Николая Второго. Изображенный на нем человек с рыжей бородкой и усами, в военном мундире с золотом на плечах, с широкой лентой через грудь, стоял, картинно выставив ногу, и смотрел на ребят холодно, даже брезгливо. Они же, вдоволь наглядевшись на раззолоченный портрет, отходили от него, еще больше чувствуя значительность перемен, которые наступали в их жизни. Вот сейчас с каждым из них отдельно поговорит учительница Анна Васильевна, как она себя велела звать, а завтра — завтра они уже школьники.

В понедельник утром перед Анной Васильевной Мурашевой предстали ее ученики. Оказалось, отставной солдат старичок Прокофий не зря трудился в селе. Многие ребята, прошедшие его науку, были зачислены сразу во второй класс. Во второй пошла и дочь священника, отца Евстигнея, Лиза Масленникова. Небольшого роста, полненькая, белолицая, с беловато-голубыми глазами в коротких

рыжих ресничках, Лиза всем своим видом показывала, что не по охоте, а вынужденно идет она в ту же школу, что и «все они»: бедняк, сын сборенского сторожа Степка Гавриленко, лапотник Самарцев Гараська, дочь солдатки Катерины Терентьевой Груня, явившаяся в школу чуть ли не в лохмотьях. Училась бы Елизавета в другой школе, для «хороших» детей, да в Поречном всего одна открылась.

Впрочем, во второй же класс были приняты и такие, про которых Лиза не смела сказать «все они». Федор Поклонов, например. Его отец, богатейший кулак Акинфий Поклонов, давно был обеспокоен судьбой своего дитяти. Доходы покловского дома росли, с войной особенно усилился спрос на хлеб и фураж. Впору было не только урожаи с собственных необозримых полей сбывать, но постепенно торговлишкой начинать заниматься, как сосед, купец Грядов, лабазы открывать. Нужен был грамотный, сметливый помощник, наследник. А сыночек Феденька хоть и рос, благодарение богу, крупным да румяным парнем, особого рвения к наукам не обнаруживал. В этом убедилась и учительница. Она поначалу определила Федора в первый класс, но вмешались священник отец Евстигней и попадья...

Сына пореченского коновала Егора Михайловича Байкова Костю учительница записала во второй класс без колебаний. Он ей показался самым смышленным из всех. И Косте Анна Васильевна сразу понравилась. Понравилось ее лицо, немного скуластое, курносое, с круглыми серыми глазами, глядящими внимательно и спокойно, совсем не строго. И еще понравилось, что одета обыкновенно — в простое серое платье. Не то что попадья, на которой напялено блестящее да шуршащее — мимо идти боязно. Волосы учительница не прячет под платок, как другие женщины. Зачесанные назад, они пышно поднимаются надо лбом, а на затылке собраны в большой узел. Учительница...

Косте для ученической жизни сшили новую рубаху и штаны, новый овчинный полушубок, длинноватый, навыворот, и еще переметную сумку из крашеного холста. Ее можно было надевать так, чтоб руки оставались свободными. А свободные руки по пути в школу и из школы известно, как нужны человеку.

С первых же дней учебы Косте необыкновенно повезло. Учительница Анна Васильевна определилась на жительство к ним, Байковым.

До самого вечера Костя вертелся у ворот. Дождаться не мог, пока из Каменска вернется отец с матерью. Каждый год, как только устанавливался санный путь, они ездили в город. Запасали на зиму лекарства для коновальской практики отца, керосин, деготь и все то, что трудно или слишком дорого было покупать в Поречном. И еще: никогда они не возвращались из Каменска без гостинца для Кости. Вот и не терпится ему, не сидится в доме...

Однако когда наконец сани въехали во двор, Костя не кинулся, как бывало, к матери с вопросом: «Чего привезли?» Он теперь большой — школьник. Распряг лошадей, досуха протер им спины, курившиеся легким парком на морозе. Лишь после того, как лошади были поставлены в конюшню, сбруя развешана, степенно, вразвалку вошел на кухню. И тут он увидел такое, что сразу забыл о всякой степенности. На лавке на пестром платке лежали серебристые, сверкающие точеными лезвиями, городские коньки! Даже во сне Косте не могло прийтись ничего лучше! Он осторожно потрогал их. На повлажневшем от тепла металле обозначились

следы пальцев. Попробовал ногтем остроту заточки. Вмиг появились в руках Кости сыромятные ремешки. Один, другой конек был прочно прикручен к валенкам, и по деревянному полу пошел твердый перестук кованых ног. Ходить можно, только очень неудобно. Вот бы на льду...

Костя двинулся к двери, но громкое «сядь!» остановило его.

— Ночь на дворе, — прибавил отец и больше ничего не сказал. Костя понял, что возражать бесполезно. Он не стал смотреть, что еще привезли из города, не заметил, как мать понесла наверх учительнице какое-то письмо. Что можно было еще увидеть, кроме этих сказочных коньков?

Все еще спали, когда Костя, стараясь не греметь коньками, осторожно цепляясь за стены, добрался до двери и тихонько вышел. Взмахнул руками и спрыгнул на плотно утопанную дорожку против крыльца. Но коньки не покатились, не понесли его плавно вперед.

Костя рассердился. Нахмуренные брови сошлись в одну линейку, губы сжались. Попробовал еще раз — снова то же самое. В чем же дело? Ага, это на самодельных деревянных коньках можно по снегу кататься. А железные слишком остры. Надо на крепкий лед, на речку. Костя отвязывает от валенок коньки и бежит по сугробам на огороде, перелезает через плетень — скорей к реке. Добегает и... останавливается, сжимая кулаки. Речку почти невозможно отличить от берегов: она лежит под толстым слоем снега. Коньки бесполезно холодят руки — на них невозможно кататься.

Невозможно? Ну, нет, погоди-ка!

...На реке, на глубоких местах хорошо вести подледный лов: пореченский гуляка и рыбак Никифор Редькин пробил несколько лунок, одна недалеко от другой, и теперь, завернувшись в огромный тулуп, сидит на круглом деревянном чурбаке, ждет поклевки. Не одну зиму ходил Редькин на свой нехитрый промысел. Зимняя жизнь реки ему хорошо известна. Но такое довелось ему видеть впервые: какой-то человек, небольшого с виду роста, чистит снег на реке, будто река — его собственный двор. Лопатой сталкивает снег, потом дочиста разметает метлой — получается узкая, блестящая полоса. «Не рехнулся ли, однако? — пробормотал Редькин, встал со своего чурбака и подошел поближе. — Э, да это мальчишка, Байкова коновала сын, Коська».

— Коська, ты, паря, чё, иль заблудился? Ваш-от двор далече отсюда.

— Не заблудился, дядя Никифор!

Увидел Костину работу кто-то из ребят, и через несколько минут уже целая ватага катилась с отлогого берега. Со свистом, гиком вынеслась на заснеженный лед и остановилась возле расчищенной дорожки.

— Это нашто, Костя? Для чё? — посыпались вопросы.

— Каток, — отвечал Костя, не прерывая работы.

— А на кой?

— На коньках кататься.

— Дак они и так катятся.

— Мне железные привезли, те по снегу не ходят.

— Да ну? Целиком железные? Городские? А покажешь? А покататься дашь?

— Знамо, дам. Вот только дорожку расчищу.

— Ты разметешь, а как снег еще пуще?

— Опять размету!

— Ха-ха-ха, глядите-ка!.. — Мальчишки потешались. Вот Николка Тимков поскользнулся, хлопнулся на



лед, его с хохотом потащили по скользкой полосе. Отбрыкиваясь, он зацепился за ногу Степки Гавриленкова. Степка, падая, увлек за собой еще ребят. Покатился по реке клубок тел. Визг, хохот, вихрь снежной пыли.

Пятясь подальше, чтобы не попасть в веселую кучу-малу, добродушно смеялся Федя Поклонов. Он в это утро впервые надел новую шубу-борчатку, крытую синим сукном, с воротником и оторочкой из серой смушки. Мать к рождеству готовила ему этот великолепный наряд, а сегодня утром дала надеть, чтобы примерить, ладно ли сшит. Но, увидев, каким красавцем выглядит ее сын, как идут серые смушки к серым глазам, к румянцу на щеках, пустила погулять. Потому и сторонился Федя, чтоб не упасть да не замарать обнову, на которую все оглядывались,

Потом, когда ребятам надоело потешаться и барахтаться, Степка первый потянул лопату из рук Кости:

— Давай я маленько почищу, а ты помети.

Вскоре уже все ребята с азартом расчищали ледяную дорожку.

За коньками, припрятанными Костей в сарае, побежали всей гурьбой. Каждый понимал, что городские коньки лучше ихних, самодельных. Но такой красоты никто не мог себе представить.

— Вот это да!

— Ох ты!

— Дай потрогать, а, Костя, я подержу только!

Костя на миг задержался у начала дорожки и вздохнул: «Все ребята глядят, вдруг не пойдут коньки?»... Взмахнул руками и понесся!

Мальчишки пустились вдогон по обеим сторонам

дорожки. Но только свист настигал счастливого конькобежца.

Федя Поклонов злился. «Мои-то мне все обновы шьют... А коньки купить не могут... На кой они, обновы.— Он с силой ткнул кулаками в дно карманов новой шубы.— Изорвать, что ли, пусть бы дома поорали!»

Костя, покрасневшийся, с мокрым лбом, остановился, победно оглядел товарищей и принялся отвязывать коньки.

— Сейчас мне, Костя, ладно? Я первый, ага? — обступили его ребята.

— Я! Мне!

— Никому! — властно расталкивая ребят, говорит Федя.— Сейчас я еду, да, Константин? — льстиво-уважительно называет Костю и уверенно протягивает руку за коньками.

Костя готов всем сразу дать покататься. Хоть Феде, хоть Николке, хоть Гараське, но по справедливости первому надо Степке.

— Бери, Степурка, сгоняешь, потом — остальным.

Степка, привернув один конек к дырявому валенку, встает на лед, пробуя, прочно ли, в это время Федор быстро схватывает второй конек и кидается прочь по заснеженному льду реки.

— Отдай, отдай конек, — кричит Костя.— Отдай!

Федя останавливается. У самых его ног темнеет широкая лунка, пробитая во льду Никифором Редькиным. Вода еще не успела застыть. Федя с поднятым над головой коньком ожидает Костю.

— Лови! — кричит он и размахивается, будто собирается бросить конек навстречу бегущему. Но в то же мгновение наклоняется и, не выпуская из рук ремешка, аккуратно, острым носком вниз, опускает конек в середину лунки.

Костя уже близко. Вот сейчас добежит, отнимет. Рука, держащая ремешок, резко поднимается вверх, так, что видный всем выдернутый из воды конек роняет капли прямо в новый суконный рукав. Затем рука опускается снова. На этот раз конек ныряет совсем, вместе с ремешком.

— Пошел конь на водопой, — слышит подбежавший Костя Федькин голос, видит ухмыляющееся Федькино лицо. И не успевает, эх, не успевает Костя сообразить, что произошло, развернуться и дать по этой розовой ухмылке... Синяя суконная спина, затянутая в талии, движется по направлению к берегу.

В лунке, сквозь толщу воды просматривается конек. Он зарылся носом в песок. Вокруг него еще ходят песчинки и муть, поднятая со дна.

Смотрит на конек сквозь воду Костя, смотрят подбежавшие мальчишки, Степа, приковылявший на одном прикрученном коньке. И никто не говорит ни слова.

Костя быстрым движением сбрасывает на лед шапку. Туда же летят кожанок и валенки. Ребята не успевают опомниться, как Костя прыгает в воду.

Ледяная вода обжигает ноги, все тело, но конек — вот он! Костя схватил ремешок, оттолкнулся ото дна, всплывает.

Но что это? Голова ударилась о ледяную крышу. Светлое оконце — прорубь — рядом, а не попасть! Костя делает рывок, еще рывок. Страшными тисками сжало грудь, перед глазами поплыли огни. Захлебываясь, он сделал еще одно, последнее усилие. Дружный вздох раздается вокруг проруби.

Костя судорожно глотает, глотает режущий легкие воздух. Не выпуская из рук конька, колотит по воде, пытаясь ухватиться за край проруби.

Тонкий по краю лед затрещал и стал обламывать-

ся. Степа, стоявший ближе всех к краю, едва не упал в воду. Перепуганные ребята подняли крик.

Размахивая руками, не переставая кричать, помчался к берегу Николка Тимков. Гараська Самарцев бросился плашмя на лед и скомандовал:

— Ложись, робя, все ложись! Ты держи меня за ноги, а ты его, а ты его, только крепче, и делай, что я скажу...

Герасим подполз к самой воде, грудью повис над прорубью и, зацепив Костю за ворот рубахи, подтянул к себе.

— Держу! Тащи, ребята!

Живая лента мальчишеских тел, гусеницей принимая ко льду, отползала, оттаскивая его назад.

И вот Костя на крепком льду. Он полулежит, неловко поджав ноги. Мокрые волосы начинают схватываться ледяной коркой, голова тяжело клонится вниз.

Кто-то нахлобучивает на него шапку. Всовывают ноги в валенки, натягивают кожанок. Помогают подниматься.

— Не стой, однако, паря. Бегай давай, — тормозят его мальчишки и подталкивают к берегу.

А оттуда уже бегут Агафья Федоровна, мать Кости, сосед Байковых Фрол Затомилин, еще соседи — все, кто был в это время дома и услышал отчаянный крик Николки Тимкова.

Костя видит мать, ее испуганное лицо, хочет скорее шагнуть ей навстречу, но ноги подкашиваются. Он медленно садится на снег, прижимая к груди конек.

В школе холодно и припахивает угарцем. Старуха Балабанова перестаралась: чтоб дров поменьше — тепла побольше, заложила вьюшки раньше времени. Сама чуть не угорела. Пришлось лезть — открывать. Вот тепло-то ветром и выдуло. Лишь чуть теплятся кирпичные стены высокой голландки.

Но все равно хорошо в школе. Особенно, если долго не ходил сюда. После своей ледяной купели, когда доставал конек из-под льда, Костя много дней провалялся на печи. Учительница, приставляя ухо то к его груди, то к спине, определила, что скорее всего у него сделалось воспаление в легких. Косте было все время жарко, а то на горячей печи вдруг бил озноб, и тогда его покрывали всеми шубами, какие были в доме. Вечерами желтый круг на потолке, над ламповым стеклом, казался ему то раскаленным солнцем, от которого и шли эти горячие, лишаящие сил лучи, то блином, прыгнувшим со сковородки прямо на потолок, чтобы дразнить Костю за то, что ему совсем не хотелось есть.

Мать не отходила от него. Поила какими-то травяными отварами, вместе с Анной Васильевной ставила банки — смешные такие стеклянные чашечки, похожие на лампадки. Они больно присасывались к спине.

Анна Васильевна частенько взбиралась на печку — то почитать Косте, то порассказать чего-нибудь. И за дни болезни он еще сильнее, чем раньше, привязался к учительнице.

Так на печи провел Костя невеселые для него рождественские каникулы. Зато когда поправился и стал выходить на улицу, все ему стало казаться особенно праздничным. По-особому вкусно пах снежок, даже вороны кричали весело.

Вот и школа тоже, до чего ж ему нравится здесь все! И эти минуты перед началом уроков. Толпятся ребята, рассаживаются, разговаривают.

— У тебя сколько по арифметике получилось?

— А у тебя?

Костя посматривает на Федьку Поклонова. Что-то уж очень тихонький он сегодня?..

А тому не дают покоя аршины. Решал, решал Федя задачку, да так и не взял в толк, сколько какого сукна осталось у купца. Черт его знает. Списать бы. Но у кого? Гараська Самарцев? Он занят новой битой из бараньей кости. Вон показывает ее ребятам. Николка Тимков сам не решил. У Костьки Байкова Федя не раз списывал решения задачек. Но теперь, после того, что случилось на речке, Костя ни за что не даст!

От беспокойства у Федора урчит в животе. Он достает из мешочка полкруга домашней жареной колбасы и задумчиво жует. Острый, дразнящий запах чеснока и жареного сала расходится вокруг. На него неотвратимо, как магнитная стрелка на север, поворачивается Степа.

Эх, колбаса! В рождество удалось попробовать такой. Выколядовал. А когда еще придется!.. И Степа, не отрываясь, глазами, кажется, всеми своими веснушками смотрит на жующий Федькин рот.

Федя замечает пристальное внимание и оживляется. Он протягивает руку к парнишке — в ней еще порядочный кусок колбасы, надкусанный с одной стороны.

— Хочешь колбаски, Гаврилёнок?

Степа молчит.

— Не хочешь, что ли?

Степа медлит. Кто его знает, этого Поклонова. Может, дразнится, а может, и нет. Вон какой толстый. Наелся, небось, больше не хочет. Вот и отдаст... Худая Степкина рука несмело протягивается вперед.

Но в тот же момент колбаса исчезает за Федькиной спиной.

Все-таки дразнится. У-у, боров! Степа с обидой отворачивается.

А Федя не дразнится. Он просто покупает Гаврилёнка. Не дав ему отойти, снова тычет в нос колбасой и ставит деловое условие:

— Дай списать задачку, — дам колбаски.

Вот оно что! Простое и обычное в школе дело — дать переписать домашнюю работу — затрудняет Степу. Он зол на Федю после того случая на речке... Как же быть? А колбаса, ну и духовито же пахнет домашняя жареная колбаса!

Степа глубоко вздыхает и, оглядевшись, не смотрит ли Костя, протягивает Феде листик с задачей. Получив колбасу, он сжимает ее всей ладонью, отворачивается к стене, торопливо, большими кусками откусывает и глотает, почти не прожевав.

А Костя тем временем разговаривает с ребятами у окошка. Он видит, как в валенках и меховой безрукавке выходит на крыльцо старик Балабанов. Сейчас поднимет высоко руку с колокольчиком и будет звонить.

Костя подходит к товарищу.

— Пошли, Степур, на место. Звонок сейчас.

Тот не отвечает. Быстро, давась, доедает и... Кусок непрожеванной колбасы застревает у него в горле. Ни продохнуть, ни слова сказать. Глаза остановились, щеки надулись. Только беспомощно машет руками.

— Ты что? — удивленно восклицает Костя. — Что ты?!

Степа мычит и показывает: поколоти, мол, меня по спине...

Его лицо, и так-то не очень чисто умытое, теперь выпачкано салом и покрыто лоснящимися пятнами, на руках налипли шкурки от колбасы. Жирный колбасный запах, идущий от Степы, и Федя Поклонов в своей обычной позе, торопливо переписывающий

домашнее задание не с чьих-нибудь — со Степкинских листков, наконец соединяются в сознании Кости.

— Продай задачку? То-то колбаса впрок не пошла.

Стукнуть бы хорошенько этого Федьку. Но — звонит звонок... Сейчас учительница придет. Вон уже все рассаживаются. Николка Тимков толкает Поклонова: «Чего сел не на свое место. Убирайся к себе под печку».

Только что Федя был как бы ниже ростом. Хотя задачку выпрашивал не задаром, за колбасу, серые глаза смотрели на Степку заискивающе. Толстые губы жалостливо размякли. Сейчас лицо у него снова довольное и уверенное. Губы беспечно улыбаются и блестят, будто смазанные маслом. Он так прочно сидит, широко расставив локти, что Николка боится задираться с ним и садится осторожно рядом, с краешка.

Костя видит — около печки на Федькиной скамье бугрится полный мешочек с едой. Костя бросается туда, быстро выгребает из мешочка еще кусок колбасы, булку, пирожок. Куда бы спрятать? Пусть пощипет, толстый, пусть помечется. Знать будет, как покупать задачки. Скорей, скорей.

На стене висит царский портрет. Туда, за портрет, торопливо сует Костя Федькин завтрак и, на ходу обтирая руки о штаны, успевает вернуться к себе как раз тогда, когда входит учительница. Поспешно прыгает на свое место и Федор. Урок начинается.

В этот момент на пороге появляется Груня Терентьева, продрогшая в своей худенькой стеганой кофтенке. Остановилась робко в дверях — впустият ли ее, опоздавшую. Ее большая, покрасневшая на холоде рука придерживает дверь, чтоб не скрипела..

— Проходи, — разрешает ей Анна Васильевна.

Груня садится на ближайшую к двери скамейку, а внимательный взгляд учительницы отмечает и разноцветные заплатки на ее кофте и тоскующие глаза, ставшие, кажется, еще больше с тех пор, как семья получила известие о гибели отца.

Груня вздрагивает, не может согреться в прохладном классе. Учительница откладывает книгу и громко говорит:

— Поклонов Федор, подойди, посидишь возле меня и считаешь, а ты, Терентьева, садись на его место, к печке, грейся и слушай.

Очень горд Поклонов Федор. Знамо, не какую-нибудь шантрапу вызывает учительница читать для всего класса. Пусть не возносятся, что задачки хорошо решают.

Читает он скверно и нудно. Временами учительница прерывает его, показывает, как надо было бы прочесть, и снова по классу раздается прерывистое, возвышающееся в самых неожиданных местах гудение Федора.

Костя не слушает чтение. Он то и дело оборачивается в угол, где сидит Груня. Это они, Костя со Степой, принесли позавчера в домик Терентьевых страшное известие. Отец Степки, сторож сельской сборни и лисьмоносец, велел сыну отнести письмо солдатке Катерине.

Костя не раз видел, как выглядели извещения волостного управления, которые разносил иногда Степин отец. Нет, это было обыкновенное письмо, треугольник, замусоленный и потертый по краям. И ребята смело протянули его сидящей на лавке женщине.

— Как будто не Иванова рука-то. — Катерина повертела конверт и, не зная, что с ним делать, передала обратно мальчику.

— Почитай, ну-ка, ежели сможешь.

— Не,— помотал головой Степан.— От Костя шибко читает.

Костя развернул солдатское письмо и начал:

«Здравствуй, уважающая землячка моя Катерина и малые дочушки, не знаю как звать. А пишет вам с низким поклоном к вам незнакомый вам человек, а может, вы меня помните. Еще как вы жили в Дуганове селе, под городом Воронежем и как собрались, значит, в переселение, то продавали телку, еще с белым платом во лбу.

А я купил ее. Горбылкины мы, из Никитского, бывшие барские...»

Костя читал, а Катерина не сводила с него напряженного взгляда. Встревоженная память рисовала полузабытые картины жизни на родине.

«Еще Катерина,— читал он дальше,— как я встретил вашего супруга Терентьева Ивана в окопе под Тернополем, то сильно обрадовался и сразу узнал его, о чем вам сообщаю»,—

губы Катерины шевельнулись, будто хотели улыбнуться и снова сосредоточенно сомкнулись.

«А также он мне рассказал, где таперича его семейство проживает и велел отписать, ежели случись какая судьбина. Дорогая землячка Катя, я его наказ выполняю и кланяюсь земно и прошу вас сильно не убивайся, а моли бога за упокой его души, как он есть убитый немецким снарядом насмерть, а я сам видел».

Костя прочел эти строки, остановился, глотнул слюну. Никто не вскрикнул, не перебил его. И он стал читать дальше:

«А еще кланяюсь вашим малым детушкам, не знаю как зовут. А еще!...»

Дальше Костя не мог продолжать. Молча, испуганными глазами смотрел на Катерину. Вязанье, тихо звякнув спицами, упало с ее колен. Она сидела не шевелясь, безучастно глядя в одну точку. Потом, вцепившись побелевшими пальцами в волосы на висках, закачалась из стороны в сторону, издавая не то стон, не то крик: о-о-о, а-а-а. Вдруг, будто проснулась, посмотрела пристально на дочь, на маленькую, что свесилась с печи, на Костю со Степкой, тряхнула головой и закричала каким-то неестественно-надрывным голосом:

— Ох-ы, ты мой Ваня-а-а... Да ты мой любезный друг...

Девочка на печи залилась плачем и полезла вниз. Босая, в одной рубашке, не переставая реветь, затеребила материнский подол.

— Да куда ж я головушку приклоню, горемычная, да кто утрет слезы детушкам родимым!..— причитала мать.

— Мама, мамынька,— тихо звала ее Груня и гладила Катерину по плечам, по растрепанным седеющим волосам.

Степа и Костя тихонько попятились к двери, вышли через сени на улицу. Свежий ветер махнул им в лицо снежинками. Сзади, из оконцев терентьевского домика, несясь крик, полный отчаяния.

Косте и сейчас еще слышится этот крик. Потому и не замечает он, как бубнит себе под нос Федор. А между тем урок подошел к концу.

— А и надоело, однако: читай да читай, цельный урок читал, сроду так долго не читывал, употел даже весь,— говорит Федя на перемене ребятам. Говорит снисходительно, с полным пониманием того, что так утомиться от чтения не каждому дано, а только избранным, например, ему.

Усталый, благодушный, идет он к своему месту у печки, откуда только что поспешно убралась Груня.

Костя издали наблюдает за ним.

Распаренное лицо Феди выглядит добродушным, повлажневшие серые глаза с небрежной ласковостью смотрят на всех. И вдруг, в момент, Федя резко меняется. Он увидел рядом со своим ранцем на скамейке мешочек для еды. Но какой! Совсем пустой и мятый, как обыкновенная тряпка! Недоумение промелькнуло в глазах, затем детская обида сморщила полные губы парня. Но все это только на секунду. А после—гнев. Его, Федора Поклонова, посмели обобрать, отнять у него еду?!
— Кто?! — заорал он.— Кто взял?

Никто не отвечал ему.

— Это ты, рвань подзаборная, нищенка, воровка! Положь, что взяла!

Он стоит перед Груней, сжав кулаки, а она только головой мотает, не в силах отвести глаз от перекошенного лица Феди, не в силах разжать побелевших губ.

Ребята оборачиваются к Федору и Груне, спрашивают друг друга:

— Чего уворовала Грунька?

— Эй ты, Поклон, не трожь ее, не брала она ничего,— раздается с другого конца класса голос Кости.

— А ты откель знаешь, что не брала? Ты кто же ей будешь? — подбоченился Федор и снова повернулся к Груне.

— Положь, подлюга, назад! Положь, а то я сам достану, плохо тебе будет! — Короткопалая рука протянулась к девочке, сгребла на груди у самого горла ее кофту.

Но в этот момент голова самого Федора дернулась, от звонкого удара в глазах поплыли искры. Это подскочил Костя Байков.

— А ты-то чего лезешь? — тонким с сипотой голосом спрашивает побагровевший Федор.— Ты чего шеперишься?!

— Я говорю, отстань от нее! — упрямо повторяет одно и то же Костя.

— А ну, пойдем выйдем! — угрожающе выдохнул Федор.

— Пошли! — Костя первым побежал вниз, часто-часто перешелкивая по ступенькам.

За Костей и Поклоновым убежали все мальчишки. Девочки тут же повернулись к Груне. Они рассматривали ее: кто с презрением, кто с любопытством, кто с сочувствием.

Первой начала «атаку» Лизка Масленникова.

— Воровка! — крикнула она. И тут же, быстро просыпая слова, стала вспоминать, что Груня — воровка издавна: — Надысь, перед рождеством наша мама позвала их с Катериной, матерью ее, у нас в доме примыть. Стены поскоблить да что. И говорит мне мама-то наша, смотри за ними, Лизанька, не взяли бы чего. А я: «Вот еще», — говорю. И не смотрела. А они и тогда, может, чего взяли, да мы не хватились. У нас ведь много всего.— И снова убежденно, совсем уничтожая Груню, бросила: — Воровка!

Груня стояла в оцепенении. Мать учила ее: виновата, не виновата будешь, только кланяйся людям, только проси прощения. А теперь, когда не стало отца, защиты ждать вовсе неоткуда... Тем более поразило Груню неожиданное заступничество Кости Байкова. Поразило не меньше, чем дикое, нелепое обвинение. И она стояла ошеломленная, молча смотрела на всех. Лишь когда Лиза Масленникова подошла к ней, намереваясь обыскать, Груня подняла свою большую, в цыпках руку и оттолкнула ее.

А во дворе шел бой по всем правилам кулачного

единоборства. Никто из ребят не вмешивался. Не было и азартных подбадривающих выкриков. Только окружили кольцом и глядели, серьезно и даже угрюмо.

Рослый Федор, красный, со взмокшим чубом, вкладывал в кулачные удары всю силу своего большого тела. Костя цепко следил за движениями Федора, увертывался от тяжелых ударов и сам наносил свои, частые и прикладистые. Отлетал снег, взрытый ногами, коленками. Два схватившиеся во враждебном объятии тела рывками перекидывались с места на место. Ребята молча переступали за ними.

Никто не заметил, как за спинами мальчишек появился чужой, никому не знакомый человек в солдатской шинели и с котомкой за плечами.

— Ого, да тут не на жизнь, а на смерть борьба, — сказал вслух. Никто не обернулся. Солдат постоял немного, но потом, видя, что драка все больше разгорается и не ровен час драчуны покалечить друг друга могут, протиснулся в середину, гаркнул раскатистым басом:

— Ат-ставить р-руко-пашную-ую! Смир-на-а!

Ребята опешили от неожиданности. Что за дядька-солдат, откуда?

А он сильными своими руками уже растаскивал крепко вцепившихся друг в друга Костю и Федора.

— Ат-ставить, говорю! На-а прежние позиции!

Костя, еще весь в азарте схватки, брыкался, лягнул солдата и все пытался достать до Федора, которого на вытянутой руке держал по другую сторону от себя солдат.

— Вы кто? Вам чё надо? — зло выдохнул Федор и сплюнул через разбитую губу.

— Я-то бывший рядовой Игнатий Гомозов, а ты кто? А ну, встань смирно! Сми-и-рна! Можешь? Нет? Руки по швам, так, грудь вперед. Бочкой.—И засмеялся добродушно. Федор улыбнулся, морщась от боли. И Косте драться расхотелось: очень смешно напыживался Федор перед незнакомым бывшим рядовым.

Раздался звон колокольчика. Кончилась перемена. Старик Балабанов сзывал учеников на следующий урок.

В тот памятный день Костя будто впервые увидел Груню, хотя знал ее, как и всех сельских ребят, с самого детства. Но раньше для него все были одинаковы — просто мальчишки, просто девчонки. Теперь осталось все то же самое и еще немного по-другому: мальчишки, девчонки и отдельно — Груня. На уроке, когда все слушают учительницу, засмотрится Костя на Груню. Смотрит и удивляется. Какие волосы у нее, как потемневшая солома, которая сохранила еще теплый блеск. Такие волосы называют русыми. Вот они какие бывают, русые... А глаза какие у нее: близко-близко поставлены к тонкой черточке переносья, округло-длинные, ясно-коричневые. Такие глаза нарисованы на одной из материнских икон. На эту икону была похожа Грунина мать в тот вечер, когда он со Степкой пришел в хату к Терентьевым и читал письмо с фронта. Бледное и безжизненное лицо с огромными округло-длинными глазами. А у Груни, хоть глаза и похожи, но лицо живое, с неярким румянцем, с ямочкой на узком подбородке, милое девчоночье лицо. Оно редко бывает таким беззаботным, как у других, чаще на нем взрослая серьезность. Может, потому и робеет Костя.

В начале весны, как-то под вечер Костина мать выкатила из чулана в сени деревянную долбленку для угля, почти пустую, и позвала сына.

— Гляди-ка, у нас непорядки какие. Отец воротится, ну-ка ему уголь понадобится, а тут пусто. Давай, милый сын, берись.— Усадила его за работу и ушла куда-то.

Толченый древесный уголь отец употреблял как присыпку на раны и порезы лошадям, когда коновалил. Заготавливать это «лекарство» всегда было Костиной обязанностью. Тут уж хочешь не хочешь — делай. Костя взял пест с тяжелой листовичной головой, поставил справа от себя глиняную корчажку с крупным березовым углем, уселся на пол в сенях, установив меж колен ступу-долбленку, и принялся с силой колотить по углю почерневшим пестом.

Из полуоткрытой двери тянуло предвечерней свежестью. Косте было легко и весело работать, и он засвистел на все лады, подражая разным певчим птицам. Свистеть в доме — за это сразу схватишь леща от отца. Да и мать, набожная Агафья Федоровна, не побалуется за это. Но ведь никого нет дома! Костя пошевелит рукой уголь в ступе, чтоб мельче разбивался, сотрет с лица пот, смахнет волосы, упавшие на глаза, и опять постукивает да посвистывает. И не слышит, как во дворе тявкнул Репей, как кто-то несмело взошел на крыльцо. Лишь когда в узком проеме полуоткрытой двери встал человек, Костя враз смолк. Это была не мать и не учительница Анна Васильевна. Девчонка, а кто — сразу не разглядишь, стоит спиной к свету.

— Отвори дверь-то пошире, — крикнул Костя, — чего жмешься! — И... похолодел. Узнал Груню. Теперь уж Костя больше ничего сказать не может. И подняться с полу не может. Будто варом его прихватило. Сидит, смотрит во все глаза и молчит. Молчит и Груня.

Она входила сюда без большой опаски. Батрацкая дочка, всем чужая родня, а работница-то она повсюду своя. Привыкла ходить по чужим дворам. Даже собаки редко лаяли на нее. Идя к Байковым, боялась только одного — встретить Костю. Очень она его стеснялась, своего отважного защитника.

А тут он — вот он, а больше никого и не видеть...

Но вошла, делать нечего, надо здороваться. Поклонившись, по уже сложившемуся между ними обычаю, как старшему, сказала распевно:

— Здравствуйте вам. Мать-то дома ли?

— Нету, — ответил Костя, все так же не двигаясь с места и ошоломлено глядя на нее. — А ты чего пришла?

— Мамка прислала. Твою матерю велела спросить, шаль обдывать бахмарой или зубчиками? Шерсть давала нам твоя мама, шаль связать.— Груня шагнула в сени, ближе к Косте.

Отпущенная ею дверь отошла на петлях, светлая полоса упала Косте на лицо. И тут Груня откачнулась назад в испуге. Потом участливо стала рассматривать Костю.

— Чего это с тобой, где тебя так-то?

— Чего? Ничего... — недоумевал Костя.

— Да как же. Ведь ты весь, как чугунок, черный! Тю, да это же... А я-то!.. Ох, не могу! — Звонкие стеклянные горошины смеха раскатились, запрыгали по сеням. Смеялись Грунины округло-продолговатые глаза, сделавшиеся совсем узкими, открыто смеялось лицо, вся Грунина фигурка раскачивалась в смехе, даже старый платок смешно вздрагивал кончиками, завязанными под узким подбородком.

Костя нахмурился, вскочил. И самому не понять: рассердиться или засмеяться вместе с Груней?

А та, смеясь, схватила его за руку.

— Где у вас кадочка с водой? Гляди-кося вот.

Она толкнула дверь. В сени хлынул поток закатного света. Сдвинув деревянное полукружье крышки, ребята наклонились над кадкой, и темно-зеркальная поверхность воды отразила два лица: озорно смеющееся девчоночье с торчащим над головой углом платка и мальчишечье, все в черных пятнах и угольных потеках, с растрепанными волосами. Встревоженная, испачканная физиономия выглядела так смешно, что Костя не выдержал, тоже расхохотался.

Так они стояли, держась за руки, у древнейшего в мире зеркала. Вдруг Груня смутилась и отпустила Костину руку. Костя толкнул кадку ногой, вода заколыхалась, ломая отображение.

Веселье сразу кончилось. Однако прошло и стеснение, сковывавшее Костю в первые минуты. На тихое Грунино «пойду, раз нет тетки Агаши», Костя просто ответил:

— погоди, она вернется скоро. Ты побудь, я сейчас.

Метнулся на кухню, плеснул из рукомойника себе в лицо и наскоро стер полотенцем поползшие с него черные потеки, пальцами разгреб и пригладил мокрые волосы. Когда вернулся, на ступеньках крыльца сидела Груня и, обхватив колени, мирно говорила что-то Репью. Рыжий, с белыми подпалинами Репей дружелюбно поглядывал на Груню и помахивал лихо завернутым кверху хвостом, выражая ей свое собачье одобрение.

Костя присел рядом с Груней, и между ними потек неторопливый разговор, какой бывает между добрыми товарищами. Только почему-то каждому слову друг друга они радовались так, словно выслушивали невесть какие интересные новости.

— Ты пошто, Грунь, за церковь никогда играть не приходишь? — спросил немного погодя Костя.

За церковью, в самом центре села, была большая поляна. Дорога, проходящая серединой села, огибала ее. Дома и ограды, как бы не решаясь приближаться слишком близко к церкви, оставались по ту сторону дороги. Поляна постепенно превратилась в деревенскую площадь. На ней собирались новобранцы перед отправкой в солдаты, здесь в особо важных случаях созывались сходки. Жарким летом она дожелта выгорала на солнце, была пыльной и безлюдной.

Сейчас, в самом начале весны, сюда, как за вечером, собирались ребята со всего Поречного. Затевались игры в лапту, в догонялки, в кости. Подсыхающая земля упруго пружинила под босыми пятками, не прилипая, как хорошо вымешенное тесто. Далеко вокруг раздавались веселые крики, смех, визг. Это девчонки пищали и визжали, как на всем белом свете пищат девчонки. Только Груня никогда не бывала на поляне за церковью.

На Костин вопрос Груня ответила не сразу. Она не только потому не бывала там, что некогда ей. На поляну за церковь приходила и Лиза Масленникова и другие из богатых домов.

— Разве мне с ними равняться? Понравится ли им-то со мной играть? — объясняла Груня Косте. — Дразнить еще как-нибудь начнут, прицепятся покоры всякие искать...

Костя слушал, все более хмурясь, и сердито прервал:

— Мы, однако, поглядим, кто тебя дразнить станет. Небось, живо отучу! А ежели без меня тебя кто обидит, ты так и скажи: Костя, мол, Байков узнает, худо, мол, тебе будет. Так и скажи, не стесняйся. Ладно? И приходи на поляну, слышь?

Груня не отвечала.

— Это чья же такая лицо в юбку прячет? Чья такая гостя? — услышал Костя родной голос.

В калитку вошла мать.

— Никак Груня Катеринина. Что скажешь, мила дочь?

— Мамка велела... Велела спросить у вас, тетя Агаша, шаль-то обдывать бахмарой или зубчиками? Не уговорились сразу.

— Шаль-то? Да зубчиками, скажи, — ответила мать и с удивлением поглядела вслед прятнувшейся с крыльца Груне. Чему так обрадовалась девчонка? Что вязать зубчиками? Ишь, как на крылышках порхнула.

Глава II

Прошел год. Снова наступила весна. Сосредоточенно насупившись, Костя стоял в классе перед царским портретом.

Слово «царь» Костя слышал с самого начала своей жизни, и было оно таким же привычным и таким же непонятным, как слово «бог». Говорили «день божий», это звучало так же привычно, как «земля царская». Царский портрет был таким же нарядным, как иконы, и так же мало похож на человека, как боги, глядящие с икон на живых людей.

Разглядывая запыленную картину, Костя пытался представить себе, как это в далеком городе Петербурге жил этот человек с саблей и был хозяином всему на свете. А теперь его нет...

Помолодевшая, веселая Анна Васильевна хлопчет у стола, режет на ленточки кусок кумача. А девчонки, помогая ей, вывязывают из ленточек банты и розаны, хвастаясь, у кого лучше получается. Потом пришивают всем на рубашки.

Костю легонько толкнула Лида Даруева.

— Повернись-ко давай. — И стала прикреплять ему на рубашку красный лоскут.

Учительница, усадив ребят по местам, словно отвечая на вопросы, что теснятся у Кости в голове, объясняет:

— Теперь править Россией будет сам революционный народ. Революция навсегда покончила с самодержавием! Никогда больше один человек не будет управлять всеми, а все — подчиняться одному человеку. А чтобы больше ничто нам не напоминало о прошлом, мы сейчас снимем и выбросим этот портрет.

Учительница решительно подошла к стене и взялась рукой за золоченую раму. В страхе прикрыл лицо рукой Николка Тимков, часто-часто заморгал ресницами Ваньша, с интересом, как на любопытную игру, смотрел еще не остывший после возни Степа. Как бы откинувшись на невидимую спинку стула, важно восседает Федор Поклонов и одобрительно кивает: верно, мол, правильно.

Еще в первый вечер, как село узнало о свержении царя, у Поклоновых собрались: ценовальник, купец Грядов, мельники братья Борискины, Петр и Максют, отец Евстигней и еще несколько человек. Федор слышал, как все они ахали, охали и как потом его отец сказал:

— Может, оно и давно пора. До коих же пор нам в пеленках быть да на помочах ходить под царем-отцом-батюшкой? Да я сам в своем владении царь. Сколь земли у меня обрабатывается, сколь работников кормлю-пою. У меня сила! — Федор видел, как его отец развел короткие, оплывшие желтизной руки и угрожающе потряс сжатыми кулаками. — У меня богатство! — Еще потряс кулаками, будто в них за-

жаты были его земли, и склады с зерном, и работники.— А хозяином все не я считаю: земля-то, вишь, его, царева. Весь Алтайский край за кабинетом царевым записан. Так что нам за революцию бога молить надо, судари мои, да и самим не плошать: оказать свою силу и порядок, чтоб голытьба не шибко шебаршилась...

Вот какие речи слышал у себя дома Поклонов Федор и теперь, сидя в классе, сам одобрительно кивал на слова учительницы.

Учительница коснулась рукой золоченой рамы.

— Ну-ка, сами возьмитесь, ребята. Кто?

С готовностью соскочил с места Федор. Высокий, плотный, с алеющим на груди тряпочным розаном.

— А еще? Ты, Костя? — зовет Анна Васильевна.

Костя и Федор с двух сторон берутся за раму, приподнимают ее, чтобы с гвоздя снять, и в этот момент из-за царского портрета сыплются на пол какие-то почерневшие, обросшие серым сваланным мохом куски.

Это так неожиданно, лица Кости и Федора так вытянулись, что весь класс грохает смехом.

— Царское имущество летит! — кричит Гараська Самарцев.

— Манна небесная! — добавляет кто-то.

Все поднялись с мест, чтобы рассмотреть «манну». Костя и Федор нагибаются, тоже присматриваются. Федор внезапно узнает в плесневелом куске, каменно стукнувшемся об пол, свою булку. Это поклоновская стряпуха Ефимья пекла такие булки — в виде птицы с длинной шейкой. Больше ни у кого таких не видал. И остальная мерзость его, поклоновская: замшелая колбаса, окаменевший пирожок.

Костя тоже узнает. Он вспоминает, как Степка продал задачку Федору за домашнюю жареную колбасу, как он сам, Костя, спрятал Федькин завтрак за царский портрет, драку на снегу, Груню.

— Надо же! Еще когда клал, а до сих пор долежало... — говорит тихонько и улыбается своему воспоминанию.

Это слышит Федор, зло косится на Костю, рывком срывает царский портрет с гвоздя, и они оба с Костей ставят его на пол, лицом к стене.

— Вот и хорошо, — заключает учительница. — Этот день запомните на всю жизнь.

Сборня гудит. Кажется, грязноватые голые стены этой казенной сельской избы не выдержат и рухнут: с такой силой здесь спорят, кричат, орут, наскакивают друг на друга, доказывая свое, пореченские мужики. С тех пор, как весть о свержении царя донеслась до Поречного, уж не первый раз собираются в сборне сходки. Но сегодня особенная. Вплотную приблизилась весенняя пора. Теплые ветры уже летят над степью, еще день-два, и надо выезжать в поле, пахать, сеять. Иначе будет поздно. Но до этого надо переделить землю заново. Вот почему такая горячка на сегодняшней сходке.

Пришли даже самые богатые, те, кто обычно считал зазорным смешиваться с толпой мужиков. Сам Акинфий Поклонов со всеми своими родственниками и прихлебателями здесь. Рядом с ним Федя. Старый Акинфий дождался наконец, что его Феденька хорошим сыном становится, хозяйский интерес понимать начинает. Да и вырастает, это заметно каждому, кто только взглянет на него: стал еще выше, раздался в плечах. На круглом и полном лице заметна стала темная полоска усов, которая придает ему некоторую жесткость и нагловатость. Отец сидит на табуретке. Федя стоит рядом, слушает каж-

дого говорящего и, по отцовскому лицу угадывая, с кем он согласен, принимается поддакивать: «Правильно! А как же! Верно!» Если же свою правду доказывает кто-нибудь из бедняков, Федя так начинает орать, что не дает никому послушать. С ним вместе, голос в голос, Васька, грядовский приказчик.

В углу, за спинами мужиков, возле нетопленной печи, сгрудились ребята. Уже поздний час, им надо бы по домам. Но разве уйдешь, когда здесь вон что творится. Сначала ребята не очень вслушивались, о чем кричат мужики. Возились, подталкивали друг друга, смеялись. А зашумят погромче — на них прыцкнет старый Прокофий, отставной солдат, их первый учитель. Он сидит здесь же, на перевернутом ведре. Свои дырявые валенки — Прокофий круглый год ходит в валенках — он снял и поставил к печке, как будто ее холодные бока могут их высушить. Совсем стар Прокофий. Сидит, клюет носом. Только тогда и просыпается, когда у самого уха зашумят ребята.

А ребята уже и не шумят. Никто не шумит. Все подались вперед, к столу, над которым, отбрасывая по стенам угловатые тени, высится костистая фигура фронтовика Игнатия Гомозова.

— Мужики! — кричит он. — Мы тут слыхали, как говорили наши уважаемые граждане. Они бы и не против того, чтобы кабинетских земель прибавить обществу. Но кому прирезать? Обратно им же, богатым. А у кого нет ничего, тому и давать ничего не надо... Такая, что ли, справедливость, по-вашему, господа хорошие, такая революция? Дак, по-нашему, не такая! Для чего, к примеру, Акинфию Поклонову столько земли, сколько он запахал, когда у него немолоченого хлеба еще тыщи пудов лежат. Это како же пузо надо, столько сожрать!

Тишина взрывается.

— Верно, — кричат те, что ближе к двери, — так его!

— А ты кто такой, чтоб мои пуды считать? — срывается с места побагровевший Поклонов, роняя табурет.

— Крой, Игнат!

Шатаются, пляшут по стенам растрепанные тени. Шершавые зипуны, худые полушубки придвигаются ближе к Игнату.

Проснулся старичок Прокофий в своем углу, грозит ребятам: «Тише вы!» А кричат-то вовсе взрослые, Прокофий со сна не разбирает.

Костя влюбленно смотрит на дядьку Игната, на его расстегнутую солдатскую шинель, на крылатые его брови. Нисколько не испугавшись поднявшегося шума, дядька Игнат продолжает очень громко, чтобы все услышали:

— А в сельском комитете у нас кто? Опять же Поклонов и его подпевалы Борискины, оба брата, и Петр и Максютя. Разве они дадут землю делить, чтобы бедняку да солдатке досталось? Надо такой комитет, чтоб революцию в свой карман не прятал, новый надо выбирать.

— Не тебя ли, шантрапа приезжая, окопная вша! — кричит молодой басок. Это Федька Поклонов разевает свой круглый рот. И Костя стерпеть этого не может.

«Чем бы его достать?» — с досадой оглядывается он и замечает расшлепанные прокофьевские пимы, что сушатся у холодной печки.

С размаху через головы пореченцев в орущее Федькино лицо летит душно-вонючий стариковский валенок.

Плюх! — и секундная тишина. От неожиданности люди умолкли на полуслове. Но тотчас же кто-то первый хохотнул, и обидное веселье заходило вокруг младшего Поклонова. А он, отплеывающийся

обалдевший от неожиданного удара, действительно смешон. Гомозов повел на него своим озорным желтым глазом и серьезно, даже сочувственно поясняет:

— Это Поклоновым на бедность подбросили, а то у них, говорят, хлеба мало, не на что пимы справиться.

Теперь уж вся сборня хохочет.

Только Поклоновым не до смеха, и тем, кто рядом с ними. Акинфий, побуревший от злости, тяжело поднимается с табурета и бросает в лицо односельчанам:

— Кого слушаете? Кого просмеиваете? Плакать, слышь, не пришлось бы, красною слезой. Пошли! — командует он сыну. — Нечего слушать здесь! — И медленно, расталкивая мужиков, движется к выходу.

А у печки волнуется старый Прокофий:

— Пим-от, Коська, пим, говорю, куда закинул? Доставай теперя, бессовестный сын. А то я те знаю, чо делать! — И трясет старой темной рукой, будто и впрямь может пригрозить парню.

— Счас, дедуня, найду, небось! — шепотом заверяет Костя Прокофия. Поднимается, чтобы протиснуться вперед, взять валенок, и видит... он видит отца, который и был-то, наверное, все время здесь, близко, а теперь смотрит на Костю тяжелым взглядом, не сулящим ничего хорошего...

После Игната Гомозова к столу выскакивает Сенька Даруев, который вернулся с войны с деревяшкой вместо ноги.

— Хватит, — кричит Даруев, — будя, наслукались таких-то! Я воевал, вот что заслужил. — И обеими руками приподнял, показывая всем, свою деревянную ногу. — А теперя революция, а мне обратно шиш!

Сенька в остервенении ударяет кулаком по столу, да так, что подпрыгивает на столе лампа-восьмилинейка. Стекло, сидящее в позеленелой резной коронке, наклоняется и падает, обнажая сразу потускневшее пламечко фитиля.

Пламя взметнулось над фитилем и погасло. В сборне становится еще теснее и дышать трудней, будто сама темнота втискивается между людьми и отнимает остатки воздуха. Кто-то черкает кресалом, вспыхивают искры. Слабый свет спички освещает лица в другом конце, колеблясь, плывет над головами.

Но сходка уже прервана. Всем ясно, что и на этот раз ни до чего не удастся договориться миром. Люди вываливаются в распахнутую дверь, в освежающую прохладу весенней ночи.

Костя идет с отцом со сходки. Вот кто-то быстрым шагом догоняет их. Знакомая старая шинель нарастает, заколыхалась в лад с шагами отца.

— Выходит, ты, паря, на сходке тоже свое слово сказал, — кивнул Игнат Косте. — Вот, Егор Михалыч, как оно, не знаешь, где потеряешь, где найдешь, кто нежданно плечо подставит.

— Я вот ему подставляю, дай домой дойти! — сурово обещает старший Байков.

— Это ты зря, — возражает Игнат. — У парня сегодня, может, боевое крещение вышло. Иному гранатой не сумеешь так хватко до цели достать, как он валенком. Да и цель какая была — по-ли-тическая.

Отец даже остановился на месте, так разозлили его Игнатовы слова.

— Мне, слышь-ка, шестой десяток доходит, без этой политики прожил, и он перебьется.

— Думаешь, так и прожил без нее? Не ты ли за так, за «на тот год спасибо» солдаткам скотину лечишь да коновалишь? Не ты ли норовишь вперед обойти-объехать беднейшие дворы себе в убыток, потом уж к богатым? Так ведь это тоже политика. Сразу видно, кому ты брат, а кому дальний родич.

— По-хорошему прошу тебя, Игнат, меня в эти де-

ла не путай и парня оставь. Политику свою давай с Поклоновым дели. Вам драться, нам не мешаться.

Отец говорил негромко, но сердито и непривычно много, а Гомозов отвечал без зла, медленно, как бы втолковывая непонятное:

— Попомни мое слово, Егор Михалыч, все еще впереди. Сейчас все, надо не надо, орут: революция, революция. А чего революция-то? Что царя скинули? У кого в брюхе пусто — тому мало радости, что нет царя, ему землю подавай. Ему и лесу надо и всей, сказать, справедливости. А оно не просто. Поклонов-то — слышал? — желает, чтобы все при его особе оставалось, а другим — шиш! Всю, значит, революцию в свой карман упрятать. Как же тут без драки обойтись? Вот погоди, война кончится, возвратятся мужики, еще не такие драки пойдут. А ты, ежели мечтаешь прожить, не мешавшись, так, я думаю, не сумеешь тебе. И самому не усидеть и сына не удержать. Вон он у тебя какой парень-герой! — И дядька Игнат своей большой рукой повернул лицо Кости к свету луны. — На все руки мастак — хоть на гармони играть, хоть гранаты кидать. Он, небось, и из пушки смог бы. Как, Костя, думаешь? Или сначала самому поглядеть требуется?

Костя удивился и обрадовался, что дядька Игнат все помнит про него. Не забыл и того, что Костя на гармошке играет, ни того, как ответил когда-то в хате у пореченского регента Корченка на Игнатов вопрос про войну...

Игнат, недавно вернувшийся с фронта, рассказывал собравшимся на посиделки сельчанам, как тяжка и, главное, совершенно бессмысленна братоубийственная империалистическая война. Спел им, подыгрывая себе на Костиной гармошке, фронтовую песню-бывальщину. Возвращая Косте его инструмент, спросил, ожидая подтверждения, согласен ли паря-гармонист с тем, что услышал от него. Тут-то Костя и ответил: «Не знаю, верно, нет ли. Вот если б самому поглядеть...» И долго еще потом Костя, оставаясь один, думал про это — как бы все-таки уехать на фронт, поглядеть, что там, на той войне, делается, а то и самому повоевать...

Чего Костя боялся, того не случилось. Отец не стал его ни ругать, ни бить. Молча дошли до дому, молча легли спать.

Только не давали Косте покою слова дядьки Игната: «гранату кидать», «герой», «из пушки смог бы». Про пушку дядька Игнат в шутку сказал, и это Косте обидно. Если бы по правде на войне пришлось, небось бы, из рук не вывалилась, и из пушки сумел бы. Уж первое дело — не сробел бы, это уж да!

А война-то, надо быть, скоро кончится. Все говорят — конец ей. Не придется Косте повоевать...

— Повоевать-то нам так и не придется. Война, надо быть, скоро кончится. Все говорят... — повторяет вслух свои ночные размышления Костя. Они сидят со Степкой на толстом бревне, что бог знает сколько времени лежит за северной глухой стеной сборни.

Тепло и до жмуркости ярко светится солнечный день. Из земли вылезают острые желто-зеленые травинки, и над ними уже деловито гудит какая-то крылатая мошка. А здесь, под стеной, в густой тени сумрачно и тихо. От непрогретой земли холодно-вато тянет сыростью. Посидеть бы мальчишкам на солнышке, так нет, привыкли к «своему» бревну. Сколько раз сиживали здесь, когда Степка оставался в сборне за сторожа вместо отца. Здесь тихо, заглядывают сюда редко. Можно поговорить о чем хочешь, почитать книжку или просто помолчать.

Вот сейчас сидят рядом, вертят в руках толстые



отломки коры. Кора отопрела от бревна, и куски ее валяются вокруг, рыжая своей гладенькой, мучнистой изнанкой. Степан обстрогал с боков свой кусок, заострил концы, получается лодочка. Внутри по гладкому вся изукрашена замысловатым узором: это жучок-древоточец проложил свой хитрый след. Хоть сейчас пускай лодку в плавание, но ручьи уж давно просохли. Весна к лету близится.

— Батко ладит меня в батраки отдавать, — задумчиво говорит Степан. — До новины на своем хлебе не продержимся, ртов много. Если только, говорит, общество земли прирежет, то на будущий год, говорит, если бог даст, то, может, и с хлебом будем. — Степан сглотнул слюну, как будто этот отдаленный будущий год уже наступил и манит теплым, свежим хлебом. Лицо его выразило строгую и безнадежную думу, совсем как бывает у старого Гавриленки.

Если бы кто со стороны взглянул, поразился бы, как не вязалось это взрослое выражение лица с игрушкой-лодочкой в руках парнишки.

— К кому в батраки-то? — спросил Костя, вырезая на своей ладейке круто выгнутую птичью шею с головой не то лебедя, не то петуха. Пальцы бережно двигали нож, но думал он не об игрушке. Вчерашняя сходка, слова дядьки Игната о земле для бедняков, о революции — все это теперь, когда он смотрел в озабоченное лицо друга, становилось как-то ближе и понятнее.

— Корепановым, слышь, будто работник нужен, — тоскливо помедлив с ответом, промолвил Степан. — Сегодня батко пойдет припрашиваться окончательно.

— А знаешь, у них, у Корепановых, сама какая лютая?!

— Что сделаешь, дома тоже никак нельзя. Мать плачет, а отца подгоняет, чтоб шел. Пусто в клети-то! Костя задумался, отложил в сторону свою ладью. Потом прицелился, взмахнул рукой с зажатым ножичком. Дж-жик... Ножик рыбкой блеснул в воздухе и воткнулся острием в намеченное Костей место на бревне.

— Пойдем на фронт! Война когда еще кончится? Никто не знает. Мы с тобой и свет повидаем и нашим подсобим.

— Мы-то?

— А то кто ж!

Угрюмое выражение на лице Степки сменилось недоверчивым, потом дрогнули в улыбке губы, и пошли расползаться к ушам Степкины веснушки.

— Да как же мы там?

— Да так! Ты стрелять умеешь? Умеешь! Вместе ведь из охотничьего палили. Ты еще, помнишь, сук отстрелил на сухой лесине? На конях скакать можем. Надо — врага гранатой достанем, а надо — из пушки саданем. Небось, подсобим, изловчимся. Я еще когда, еще прошлым летом тебя звал, да ты все никак. Теперь бы давно там были.

— Я согласный! — сказал Степа, глядя в упор на Костю. — Когда выходить?

— Хоть завтра. Припасов на всю дорогу все равно не запасешь, как-нибудь не пропадем.

— А как правиться будем?

— Как раньше собирались: до Каменска, оттуда сплывем до Новониколаевска, там на чугунку. Распросим людей по дороге, как на фронт прямой добраться. Люди, чай, везде есть.

— А дома не скажемся?

— Еще чего? Домой оттуда подадим весть, откуда нас не достать. — Подумав мгновение, Костя тихо продолжал: — Одному человеку только скажемся...

Степа не знал, что Костя говорил о Груне, но спросить, кто этот человек, не отважился.

— Ну, пошли. Ты о хлебе не беспокойся, я возьму.

И они зашагали прочь от сборни, от бревна, на котором остались две забытые мальчишечьи игрушки, лодочка и ладья, вырезанные из коры.

Глава III

Вчера над селом Поречным кружила вьюга, навалила сугробы. И завтра еще может замести, застудить, завьюжить. А сегодня, как весточка от приближающейся весны, оттепель. Нечаянно разблестались лужи на дорогах, часто и отрывисто забарабанила капель. А с неба хлынул такой щедрый и яркий свет, что нельзя, выйдя на улицу, не радоваться.

Из покосившейся калитки вышла Мастраша Редькина с ведрами и коромыслом, сощурилась от солнца и пошла, не торопясь, к колодцу, вдыхая вкусный запах подтаявшего снега.

По-своему празднуют хорошее утро Федя Поклонов с грядовским приказчиком Васькой. Они протянули через дорогу крепкую бечевку. Один конец намотал себе на руку Васька, другой — Федор. Стоят друг против друга, перемигиваются и заранее гикают: уж очень хлесткий фокус удумали.

В тот миг, когда Мастраша поравнялась с ними, не ожидая подвоха, оба дернули бечевку. Баба с ходу запнулась и со всего размаху ухнула в лужу. Пытаясь встать, запуталась в бечевке, неловко заелозила.

— Ах вы, окаянные, шишиги бессовестные, погубили на вас нету! — разразилась проклятиями Мастраша. — Думаете, управы не найду на вас?

— Поди, поди в Совет пожайлуйся, мы его испугались!

— Теперя все равны, Мастрашенька. Кто што хошь, то и делай, — наставительно объяснил Васька, для пущей серьезности округляя глаза, но внезапно прервал свои объяснения на полуслове. Он увидел, как в конце переулка с мимоезжих крестьянских розвальней, подплывающих на оттепельных лужах, слезали Костя и Степа.

Заметили ребят и остальные. Федька даже разглядел, как одет его давнишний враг: одна нога в старом валенке, другая — в лапте с онучей.

— Гляди, гляди, пинигримы! Один лапот, другой пим! Явился! Охо-хо! — ржал Федька, улюлюкал и Васька.

Уперев руки в боки, нарочито громко хохотала Мастраша Редькина. По ее понятиям выходило: если она станет так потешаться, то другим уж не придет в голову, что над ней самой только что обидно насмеялись...

Степа поднял локоть, как бы защищаясь от удара, и зашептал, показывая глазами на боковой переулок:

— Не пойдем через них, айда свернем сюда, — и, не дожидаясь ответа, бросился бежать.

Костя, выставив подбородок с упрямыми буграми у рта и сильно нахмурившись, зашагал, не сворачивая, по знакомым улицам. Все так же сердито хмурясь, толкнул свою калитку и, только очутившись перед крыльцом, ошеломленно остановился. Дома!

Вынырнул откуда-то Репей, гавкнул, но тут же узнал Костю и закружился вокруг него, захлебываясь визгом.

— Репеюшко, Репеюшко, ну здравствуй, что ли, ну здравствуй, Репеюшко, — почему-то шепотом говорил Костя и все поворачивался вслед за псом, все оттягивал секунду, когда надо подняться на крыльцо.

Почти год назад нанес сын матери горькую обиду: ушел в чужие края, не спросясь, покинул мать, не простившись. Ей бы сердиться сейчас, а она опустилась на лавку и от слез слова сказать не может.

Костя раньше не замечал, что у матери такое худое и морщинистое лицо. Или оно так изменилось за его отсутствие?

А на кухне все осталось прежним: мамины иконы, висячий шкафчик с посудой, широкий стол с лавками, прялка, горшки, ухваты. Гвоздь, на котором висел обычно отцов полушубок, пуст. И большой кожаной сумки с инструментами и лекарствами нет на крюке у двери. Давно ли, далеко ли уехал отец, скоро ли вернется, спросить почему-то боязно.

Что после изнурительной дороги может быть лучше, чем русская баня? Да еще если всласть попариться душистым веником на том самом полке, на который тебя еще маленьким подсаживали, когда сам взбираться не умел.

Распаренный, в чистом белье, пахнущем материнным сундуком, возвращается Костя в дом, добродушно здороваясь с двором, с березой, с синим небом. Но, войдя в кухню, замирает у порога. У стола, спиной к двери, сидит отец.

— Здравствуйте, батя, — внезапно осевшим голосом говорит Костя.

Отец не пошевелился, будто не слышит. Костя постоял молча, потом, опустив голову, тихо пошел в свою боковушку. Так и просидел на койке, на лоскутном своем одеяле до самого вечера, пока мать не позвала ужинать.

Сел, как всегда сиживал, против отца. Молчали. Только мать тревожно взглядывала то на одного, то

на другого. Молча съели кашу. Мать подала овсяный кисель с постным маслом, который Костя любил. Всегда, бывало, просил еще подложить, а сейчас даже не заметил вкуса.

«Хоть бы отлупил, что ли,—тоскливо думал Костя.—Только бы не томил, не глядел как на пустое место...»

Егора Михайловича, как ни странно, мучили похожие думы. «Оттягать бы парня хорошенько, чтоб запомнил да впредь не своевольничал. Так ведь большой уж. А характер разве битьем переломишь. Его, байковский, характер у сына — самостоятельный и непокорный. И мать тоже, если что задумает... Откуда ж сыну покорности взять? Хорошо, домой живым вернулся. А время нынче такое крутое — без характера не устоять».

Медленно думает свою думу отец, а молчание все сгущается.

Наконец Егор Михайлович сказал так, будто все главное уже переговорено:

— А ты большой вырос! Ну-кося, подойди поближе...

Федя Поклонов, вдоволь насмеявшись над нищенским видом Кости и Степы, отправился домой в развеселом настроении.

Дома зашел на кухню, заглянул в залу: может, новая работница Грунька Терентьева полы скребет или прибирается. Нет! Вышел во двор. Груня несла дрова в дом, большую, тяжелую охапку. Верхние поленья закрывали ей чуть ли не все лицо. Шла она немного согнувшись, мелким, семенящим шагом.

Федька встал у нее на пути.

Груня очень боялась Федьки. Когда поступала в дом к Поклоновым, больше всего опасалась не справиться с тяжелой работой. А оказалось, Федькины издевки стерпеть еще труднее. Сейчас она в испуге ждала, какой подвох на этот раз придумал хозяйский сынок.

— Пусти, что ли.

— А куда тебе торопиться? Жених, однако, только в лес пошел лыжи драть на лапти.

— Какой еще жених? — Дрова так и тянут вниз, трудно удержать.

— А какой же еще у тебя? Какая сама, такой и жених. Знамо, Коська Байков! Гы-гы!

— Чего плетешь, пусти, тяжело...

— А ты брось. Вот эдак! — От Федькиного толчка ослабевшие Грунины руки разжались, и тяжелые дрова больно ударили по ногам, рассыпались по влажному снегу.

Слезы выступили на глазах у Груни.

— У... бессовестный! Наел рожу-то.—Красные, в цыпках Грунины руки проворно собирают рассыпанные дрова.—Костя вернется при крестах и медалях! Небось, тогда не будешь про него вкаты!

— Во-во! В медалях! Говорю тебе, в лес попрыгал лыжи драть. В одном лапте.

Федька доволен. Теперь долго будет похохотывать, вспоминая, как ошарашил Груньку-работницу.

На следующий день Костя праздновал первое утро в родительском доме. Он с наслаждением уминал блины, которые мать сбрасывала ему в миску прямо с раскаленной сковородки, и беспечно поглядывал в окно. Глядь — мимо прошла Груня Терентьева. На плечах коромысло с пустыми ведрами, а сама смотрит на байковские окна...

— Ма, где-ка у нас санки с бадейкой? Я воды для скотины навожу! — крикнул Костя и сорвался, на ходу дожевывая блин и надевая полушубок.

— Наскучался, знать, по домашней работе, — улыб-

нулась мать.—Подошла к окошку, чтобы поглядеть вслед сыну, и увидела Груню, которая как-то особенно медленно шла, покачивая коромыслом с пустыми ведрами. Мать растерянно оглянулась на дверь, захлопнутую Костей. «Вон оно что...» Груня эта у Поклоновых теперь батрачит. От поклоновского двора к колодцу прямой ходят. Сюда-то вовсе не зачем... Вспомнилось, как эта девочка однажды сидела у них на крыльце, освещенная закатным солнцем, и как веселой птицей вспорхнула, обрадовавшись какой-то пустяковине, тому, как шаль обвязывать. «Вот оно что... Растут дети-то...»

Он мог бы ее догнать в одну минуту. Она так медленно шла, а его так и подмывало броситься бегом. Но он нарочно сдерживал шаги, в радостном волнении рассматривал ее.

Застиранный платочек, шубейка с чужого плеча, пимы большущие, подшиты да латаны. А идет прямоенько, ведра не шелохнутся...

Знает или не знает, что он сзади идет? Костя встряхивает веревку от санок, погромыхивает бадейкой. Груня не оборачивается. Навстречу попадает Фрол Затомилин.

— Здравствуй, дядя Фрол!

— А-а, паря, здорово. Давно, однако, не видал тебя.

— Да я только вернулся!

Костя не говорит эти слова, а выкрикивает, будто дядя Фрол глухой. Далеко слышно Костю, но Груня не оборачивается. Вот сейчас она остановится у колодца, они встретятся, и он ей скажет... А что он ей скажет?

Груня уже успевает налить воды в оба ведра, когда подходит со своими санками Костя.

— Здравствуй, Груня!

— Здравствуй.

— Ну, здравствуй, что ли.

— Здравствуй, да не засти. Давно вернулся?

— Только вчера. А сейчас, смотрю, ты идешь...

Только всего и говорит Костя: «Смотрю, ты идешь», — но без всякого труда можно понять: «А смотрю — радость-то какая! Это ведь ты идешь, Груня! Я и побежал, чтоб с тобой встретиться!»

— Ага, воды пошла... — столь же красноречиво отвечает Груня.

Светятся, сияют ясно-коричневые глаза. На личике, сизом от холода, проступают горячие пятна румянца.

Подходит к колодцу баба с ведрами. Видит — обыкновенное дело: парнишка Байковых наливает воды в бадейку. Бадейка большая, не скоро нальешь. А Грунька-батрачка, наверно, передохнуть остановилась. Ребята переговариваются, так себе, ни о чем. На то и ребята. Невдомек бабе, что при ней, скрытый самыми пустячными словами, продолжается очень важный, только двоим понятный разговор.

Бадейка налита лишь наполовину. Ведро, поднятое из колодца, стынет на срубе. Не до него Косте.

Груня спрашивает лукаво:

— Я гляжу, ты пеший за водой-то приехал. А где же белый конь? Ведь ты, как святой Егорий, на белом коне воротиться с войны собирался.

— Белый конь? — Костя хмурится. — Белый конь... Да вот он стоит. Не видишь? Копытом землю роет, а сам гривой трясет. Вишь, грива-то до земли стелется!

У колодца издавна растет плакучая ива. Груня ее помнит с тех пор, как помнит себя. А сейчас не узнает. Ветер треплет тонкие нити ветвей, белые от инея, и они струятся, струятся над землей, как будто ива мчится куда-то.

Груня смеется:

— Надо же! Правда, конь... Белый.

Хочешь не хочешь, невозможно долго говорить с другом и не сказать ему о главной перемене в своей жизни. Пришлось Косте услышать, что Груня в работницах у Поклоновых.

— А что было делать? — объясняла Груня. — Как стал у нас сельсовет, дядька Игнат, председатель, обещался, что земли прирежут. Ну, ладно. А чем ее обработать? Засеять? Ни коня, ничего. Голодно. Поклонов сказал, зерна даст посеяться. А мне чтобы за это год работать.

— На Украине, знаешь, как было? Открыли амбары у пана, у барина, значит, и все — и зерно и муку, — все разделили всему селу. Прямо так, без отработки. Большевики приезжали революцию делать.

Груня с уважением посмотрела на Костю.

— Вон ведь что ты повидал. Слова какие знаешь. У нас этого нет...

— А чего? И здесь эдак же надо. Небось, так и будет. Посмотришь!

— Здесь-то? Что ты! А как хоть ты попал туда, на Украину эту? Не воевал разве на войне?

— Не доехали мы до войны. Далеко больно.

И Костя стал рассказывать Груне, как они со Степаном путешествовали.

Не были дома почти год. Видели в пути и печальное, и радостное, и страшное, и забавное. Но по Костиному рассказу выходило все больше смешно. Вот хотя бы с самого начала, как в трюм обского парохода тайно забрались на казенной пристани. Плыли — думали, пароход везет их вниз по реке, в Новониколаевск, а приплыли, наоборот, в Барнаул. Во-о-н за сколько верст вверх по Оби. Потом как по железной дороге ехали без билетов, от контролеров прятались. Как всего боялись сначала, шарахались от всякого паровозного гудка, а потом бесстрашно и на крыше вагона устраивались и на буферах. Один раз задремали между вагонами, а поезд р-раз, тронулся, буфера ка-а-к клацнут — чуть не свалились со страху, а после долго хохотали над своим испугом.

Груня, не чувствуя мороза, заморожено слушала эти чудные, нездешние слова — «железная дорога», «паровоз», «буфер», — с которыми Костя обращался так запросто. Грустно качала головой, когда Костя, вспоминая массу уморительных подробностей, рассказывал, как они со Степкой барахлом своим торговали, на хлеб его выменивали.

Дорога на фронт лежала через Украину. Но, пока до Украины добрались, пришла осень. Ведь останавливались подолгу на станциях, батрачили, зарабатывали на пропитание. Начался листопад. Костя имел в виду особый листопад: «Как подует ветер, так лоскутки с наших рубах п-р-р-р — полетели...» Пришлось остановиться у добрых людей, перезимовать.

Чтоб не быть этим людям в тягость, нанялись вологонами, возить с панского поля свеклу (по-украински — буряк) на сахарный завод.

Костя больше не шутил. Слишком горьким было все, чего насмотрелся, что испытал, работая на том панском поле, на сладко-сахарных буряках. Мерзли на возах с буряками от темна до темна, а платы за работу — едва на кусок хлеба. Да еще панский управляющий пан Мишка придирался без конца, мог и арапником полоснуть. Кому пожалуешься?

А после, когда уже замерзло поле и начал пролетать первый снежок, в середине ноября приехали в село большевики. Главный большевик в потертой кожанке и с черными пятнышками на лице (говорили, это от шахтерской работы) поздравлял селян с новой властью, своей, бедняцкой. Вот когда настал праздник! Костя его никогда не забудет. Под музыку из панских амбаров раздавали всем зерно и му-

ку. Люди плясали на панском дворе и, хмельные от радости, ходили друг к другу в гости угощаться горячими пампушками.

Но через несколько дней на село налетела банда. Пан Мишка, бывший управляющий, был у них верховодом. Большевиков разгромили, а того, в кожанке, повесили на высокой акации.

Потом снова бандитов этих прогнали. Опять красные пришли. Теперь, наверное, навсегда.

Война окончилась. На фронт спешить больше не было смысла. Оттуда, с бывшего фронта, через то украинское село шли солдаты по домам. Один оказался земляком, с Алтая. Можно было или с ним домой направиться, или на Украине остаться до весны. Решили домой добираться...

— Вон где ты побывал, чего повидал, — протяжно говорила Груня, выслушав Костину историю. — А у нас все как было, так и есть. Может, весной, правда, земли дадут. А я вот пока у Поклоновых отработаю зерна. Коня дадут посеяться. Да оно ничего, работать-то бы еще и можно, чай, не привыкать стать, но Федька больно озорует. Такой гад. О, да он сам, вот он!

Из переулка выезжал Федька. Не то коня прогулять выехал, не то себя показать. Сытый конь под ним поигрывал, Федька, красуясь, откидывался в седле. Увидел Груню с Костей и заулыбался:

— Так и есть пара, гусь да гагара, гы-гы! — Лениво, как бы лишь пробуя властные ноты в голосе, рыкнул: — Ты чего тут примерзла! — И, набирая истинно хозяйской злости, процедил: — Только за смертью тебя посылать. Работница тоже, шалава!

С привычным испугом Груня подхватила ведра, заспешила к дому Поклоновых. Костя остолбенело смотрел ей вслед. Потом в ярости обернулся к Федьке:

— А ты чего разорался на всю улицу? Не на своем подворье орешь, б-барин!..

В ответ Федька поднял брови: как, мол, это ему, Поклонову, перечат? Кто?

— Да ты, паря, не для того ли воротился, чтобы меня поучить? Слушаемся, ваше благородие! — Федька склонился в шутовском поклоне, потом сощурился нагло и, вздыбливая коня, стал направлять его, вроде играючи, прямо на Костю. — А только где же вы, ваше благородие, лапоть потеряли?! Или ежели в одном лапте ходить, так больше подают?

Конь, направленный сильной рукой, оттеснял Костю к самому срубу колодца.

Костя быстро оглянулся вокруг. Ничего не попадает под руку, только ведро. Полное стилой воды деревянное колодезное ведро, стоящее на срубе. Сильным движением Костя подхватывает его и с маху окатывает Федьку ледяной водой. Конь рванул, взвился на дыбы, Федька едва не вылетел из седла. Мокрый, сразу ставший жалким, он изо всех сил осаживал взбесившегося коня и сквозь злые слезы кричал Косте, прибавляя грязные ругательства:

— Уходи-ка обратно, откуда прибежал, а то каб голову одну назад не завернули!

— Не пугай! Есть и на черта гром.

У своего двора Костя увидел ребят. Ждали его целой ватагой.

— Здорово, Костя! Где хоть пропадал-то? Далеко ли бывать пришлось?

Досада от встречи с Федькой таяла и улетучивалась.

Беседа еще только разгоралась, когда пришел Степа. Ошарашил всех боевитым, непривычным приветствием:

— Мир хижинам, война дворцам!

— Ого! — весело удивился Гараська Самарцев.

— А чё? По всей России так давно здороваются. Мы ее всю проехали, Россию-то. И на Украине. Везде, как революция сделалась, так и здороваться по-новому надо,— объяснял Степа.

— У нас на сборне была прикреплена бумага, так тоже было написано этак: «Мир хижинам»,— сказал Николка.

— Ну и он же на бумаге прочитал. На станциях везде висят. Разве это здоровканье? — рассмеялся Костя.— Это же сам Ленин так говорит. Про Ленина слышали? Ну и вот.

— А у нас дворцов нету никаких,— возразил Николка,— воевать некого.

— Нет дворцов, так и гадов нет, что ли? — загорячился Костя.

— А вот Степа наш богатым стал. Гляди, какой зипун на нем,— заметил Ваньша.

— И то не бедный. Мы с Коськой, знаешь, по сколько зарабатывали на Украине?..

— А сказали: вы пришли уж больно убоги,— протянул Ваньша.

— Да нас обокрали! В дороге! — Степа выразительно взглянул на Костю.— Знаешь, как обчистили! А зипун отцов. Он в нем только в церковь ходил, а теперь говорит: носи, еще справим. Теперь скоро земли наделят на каждую душу. Можно будет жить.

Ребята рассказали, что учительница Анна Васильевна уехала из села. Письмо ей пришло из Каменска. Она на следующий день пошла со всеми прощаться. Во многие избы заходила. Потом ее сам нынешний председатель дядька Игнат Гомозов до Каменска отвез. Когда товарищи ушли, Костя подступился к Степе.

— Ты зачем врал хлопцам?

— Так это... Та чтоб не смеялись! Я вчера аж чуть не плакал от обиды, когда те реготали, Федька с Васькой.

— Что-то не разберу я тебя. До вчерашнего дня ты не стеснялся и под окном хлеба попросить, как в брюхе пусто было, а сегодня уж что-то больно обидчивый.

— Так то ж было по чужим людям, а то дома, в своем селе. Ты послушал бы, что говорит мой батко. «Ты,— говорит,— сынку, теперь поездил, повидал кое-чего, так держи-таки себя посамовитее, чтоб сельчане приучались тебя уважать, а не так что...» Чего смеешься? — внезапно прервал свой рассказ Степа.

— А так, смешно. Ну, ври, ври, может, правда, к чему-нибудь приучишь... Только при мне больше врать не принимайся, а то я засмеюсь.

— Да иди ты еще! — вскипел Степа.— Смейся, когда ты такой гордый!

— Я-то не гордый. А вот ты... Не знал я, что ты такой... Самовитый...

...Над Сибирью солнце восхо-одит,
Хлопцы, не-э зевайтэ-э-э,
Тай на мене, Кармелюка,
Всю нади-ию ма-йте!

Старинная бунтарская песня, перекочевавшая с Украины в алтайское село, будоражит тишину уснувших улиц. Ребята гурьбой возвращаются с вечерки. На Костином плече снова, как прежде, гармонь. Он играл целый вечер в хате у Корченка. Будто отыгрывался за все время своего отсутствия. И сейчас, еще полный радостного возбуждения, с удовольствием горланит вместе с ребятами.

— Смотри-ка, Степурка-то громче всех выводит,— заметил Самарцев, когда песня кончилась.— Хоть голос его послушаем. А то не видно и не слышно. Как ни заглянешь — нету дома.

— Ага, и я приходил. «Где?» — спрашиваю. Говорят, поехал навоз возить на поле. Пришел вдругорядь — опять навоз.

— Ну и что? Нам же коняку сельсовет дал. Она до весны задарма бы простояла, а люди просят: отвези то, другое. Так не даром же. Они ж платят. Сена дают, овса. А у кого нету — за тем долг записываем.

— Скажи, какой хозяин! — Гараська сгреб Степу в охапку. Тот, смеясь, стал отбрыкиваться.

Николка разбежался и обеими ногами прыгнул на светлое зеркальце льда, блестевшее впереди на дороге. Лед с хрустом треснул, и из образовавшейся дырки фонтаном выжалась кверху вода.

На перекрестке веселая компания рассталась. Костя со Степой пошли в сторону Байковых. Они не обратили внимания на звук шагов за спинами, который прерывался, когда они замолкали, и возобновлялся, когда заговаривали громче. Степка обернулся лишь в последнюю секунду, а Костя так и не успел: от внезапного сильного удара сзади искры посыпались у него из глаз. Запнувшись о ловко подставленную подножку, он полетел на землю. Падая, Костя успел услышать: «Не беги за ним, на кой он нужен...» Похоже, что это был голос Федьки Поклонова, а может, и нет, потому что был он сильно приглушенным.

Костя рывком вскочил на ноги и очутился лицом к лицу... Нет, парень, стоящий напротив, лица не имел. Голова его была вся закутана бабьим платком, так что Косте показалось: перед ним огромный серый кулачище. Чей-то удар снова чуть не свалил его с ног. Сжавшись, как пружина, успел прыгнуть к забору. Теперь, когда спина защищена, легче отбиваться от двоих, с их тяжелыми кулаками.

...Потом он лежал на земле, сплевывая тягучую слюну. Было холодно и тихо. Тех двоих поблизости не было. Ни в одном окне не было огня: наверное, очень поздно. Осторожно стал подниматься на ноги. Ничего, держат. Только колени дрожат... Неподалеку на земле поблескивает ряд светлых точек. Гармошка, ее перламутровые лады. Наклонился, неловко поднял гармонь за одну петлю. Меха слабо вздохнули и странно зашипели, выпуская воздух. Гармонь, голосистая подружка, была мертва. Костя тупо смотрел на ее тряпочно обвисшее тело, как бы не понимая, что произошло, потом судорожно всхлипнул.

Выходить из дому не хотелось. Было больно двинуться. Лежал и думал: «Как же так, почему напали сзади, исподтишка, не открыли лиц? Сроду не было так на селе. Боялись его. А ведь здоровые...» Мысли невольно обращались к Степе. Почему не помог отбиваться? Куда он делся?

Вскоре Степа явился сам.

— Ты ж смотри, что сделали подлюги,— начал он ахать.— Чего ж ты не бег? Я как увидел морды такие страхолюдные, так и вдарился бежать. Думал, и ты удерешь.

— А ты видал, чтоб я когда поджавши хвост утек...?

Чувствуя свою вину, Степа затараторил:

— А я, понимаешь, как побег, чуть башку не сломал, а потом думаю, как там ты. Вернулся, а уж нет никого. Вот, думаю, да! Может, это мне черти привиделись, а по правде никого не было?

— Черти, как же! Только безрогие. И не ври, что вертался, я бы увидал. Долго там был. Гармонь вот испоганили...

Степа, обрадовавшись, что разговор можно перевести на гармони, стал рассматривать ее, вертеть в руках, с преувеличенной значительностью подковыпывал ногтем отставшие планки, заглядывал внутрь гармони, качал головой над продранными мехами.

— Стой, Кось, — внезапно оживился он. — От же дураки мы с тобой («мы с тобой», как будто его трусость не разъединила их, и они по-прежнему друзья), от же дураки! А про Ваньшу забыли? Я сейчас сбегаю за ним. Он хоть сам не играет, а что хошь починит. У него пальцы хитрые.

— Погоди! Никого звать не надо. Пойдут разговоры, что да где. Я вот, дай-ка маленько подправлюсь, да разберусь, что за черти меня колошматили, тогда можно и кого хошь звать. А пока молчи, а то как бы они, черти-то, тебя живьем не слопали.

Костя говорит как с чужим, и насмешечка злая в запухших глазах.

— «Живьем, живьем», — раздраженно повторяет Степа. — Кабы ты вперед увидал их глазами, так тоже бы убег. А то они тебя сзади стукнули... А кабы спереди-то показались, так и ты бы тоже...

— Да иди ты! — окончательно разозлился Костя и отвернулся к стене.

И все-таки гармошка заиграла! Как Ваньша вернул ей жизнь, он бы и сам не сумел рассказать. Тем более, что играть на ней совсем и не умел. День колдовал, два колдовал — сделал! Правда, звучала она уже не так чисто, как прежде, что-то внутри посипывало и поскрипывало, но ведь играла же! Такую радость нельзя было удержать дома. Костя лихо вскинул ремень — опять милая ноша чуть отяжелила плечо — и пошел по селу, растягивая охрипшие мехи. Рядом с ним — Ваньша и Степа. Снова Степа. Отходчивый у Кости характер.

Был воскресный день. Гармошка быстро обросла веселой толпой. Навстречу попался Федька Поклонов. Поглядел пристально и, как показалось Косте, удивленно. Остановился, пропуская мимо себя Костю с ребятами. Когда Костя оглянулся, Федька все еще стоял, смотрел вслед.

«Он или не он?» — а пальцы продолжали перебирать лады гармошки. Если не Федька тогда ночью напал, если он не знает, что гармонь сломана, то чему теперь удивляется? А может, он совсем и не удивляется, а просто так смотрит? Какая же все-таки скотина, замотавши морду бабьим платком, трусливо напала сзади? Как проведать, как узнать?

Ночью на исходе мая прохладно на сеновале с полуразобранной крышей. Но если зарыться в пахучее старое сено, да еще прикрыться зипуном, так в самый раз. Сквозь дыры в крыше видно небо. Оно не темное, а какое-то бледное и прозрачное и уходит далеко ввысь, рассеивая неясный свет. Множество мелких, как блестящие пылинки, зеленовато-прохладных звезд перемигивается на нем. Костя смотрит на небо и понять не может, то ли ему снится эта ночь, сеновал, то ли он проснулся и вправду видит все это.

Но разве во сне услышишь такое: озлобленно орут мужики, лают собаки. Резко закричала женщина... Костя окончательно проснулся, выглянул на волю. В доме все было тихо, окна темны. В ближайших дворах тоже все спокойно, сонно. Где-то скрипнула дверь, потом опять захлопнулась. Верно, потревоженный хозяин вышел поглядеть, что за шум, да и вернулся назад. Крик-то доносился издали, с другого конца села.

Ударил выстрел. Потом еще два, один за другим.

Костю сразу пробрал озноб. Ему отчетливо припомнилась давняя ночь в украинском селе, когда пылали зажженные бандитами хаты и старая бабка Ульяна принесла к добрым людям девочку Басю, спасая ее от погромщиков.

Как ни напряженно он всматривался, увидеть ничего не удалось, а гомон постепенно утихал. Костя вернулся в гнездо, вырытое им в сене. Некоторое время было тихо. Потом забеспокоился Репей. Еще немного, и собака с лаем промчалась мимо конюшни в сторону огорода.

Враз, едва задев ступеньки, скатился Костя с сеновала и остановился под лестницей, прижимаясь к стене. От реки по огороду наплывает туман, сгущает тьму. Ничего не видно. А пес задыхается от ярости, отрывисто и хрипло лает, уже кидается на кого-то.

Костя нашаривает на земле палку и покидает свое укрытие. В эту минуту из дому выходит отец.

— Кто тут есть? — спрашивает негромко.

— Кто? — повторяет Костя, сжимая в руке палку, и подходит поближе к отцу.

— Постой маленько тут, вперед не лезь. — Отец быстро вернулся в дом. И тут же опять вышел с каким-то продолговатым предметом в руках. Оказалось — коротко обрезанная винтовка, обрез. Вот так штука! Где же он его хранил, с какого времени? Как Костя этого не знал?

Стараясь держаться в тени, они идут, плечо к плечу, сторожко ступая, к огороду.

— Говори, кто есть? — спрашивает отец и щелкает затвором.

— Не щелкай железкой. Я это... — Голос очень знакомый, а чей — сразу не догадаться.

Отец кивнул Косте, и тот отозвал собаку:

— Сюда, Репейка, молчи!

Когда над темной землей огорода из прошлогоднего бьялья поднялся человек, Костя остолбенел: сам дядька Игнат Гомозов стоял перед ними в одном исподнем, босой. Оторванный рукав у рубахи чуть держится, одна щека вся черная: земля на ней, а может, кровь.

— Председатель?!

— Я самый. К тебе, Егор Михалыч. Хватит совести — выгони, а нет... Мне бы схорониться на время...

Отец молчит. Он всегда отвечает не сразу, сперва подумает. Но тут-то о чем думать? Костя готов сам предложить дядьке Игнату свой кров, да как при отце сказываться хозяином? Наконец раздается отцовское:

— Пойдем, паря, в конюшню, что ли. Здесь увидеть могут.

Костя на радостях так сжал пса, что тот твякнул.

— Пошли и мы, Репеюшко, айда в будку! — повел, чуть не на руках понес собаку, чтоб не гавкнула лишний раз. Когда он вернулся к конюшне, отец с Игнатом Гомозовым были уже там.

— Что ж не спросишь, от кого бегу? Может, я обворовал кого? — слышится голос дядьки Игната.

— Мне ни к чему. Пришел — милости просим. Живу душу не предадим...

— Ха-ха-ха, — неожиданно засмеялся дядька Игнат. — И на том спасибо. А и хитер ты, однако, коновал... Да.. Мне бы как-никак тело унести, а уж душа-то ладно. А ты, выходит, и знать ничего не желаешь, чтоб, значит, самому вроде не впутаться...

Костя открыл дверь в конюшню, свет звезд упал на лицо дядьки Игната, и он резко отшатнулся в темноту. На Костю надвинулся отец всей громадой своего большого тела:

— Спать ступай. Да смотри, ни гу-гу. Тут не шу-

тейное.. Да, вот что, на сеновале зипунишко лежал, тащи-кось его сюда. Человек-то полуголый...

— Спасибо, малый,— говорил дядька Игнат, заворачиваясь в зипун.— Правда, дрожко что-то. Ну, гады,— выругался куда-то в сторону,— дай вернуться, подожгите у меня!

— Кто вас, дядь Игнат? — спросил Костя.

— Ты на мельнице давно был, Егор Михалыч? — вместо ответа и без всякой видимой связи с предыдущим спросил Гомозов.

— Да не так давно молот.

— Как там Семка безногий управляется?

— А чего ж, аккуратно. И за помол пустяк теперь берут. А к чему ты?

— А к тому, что когда мельницу опечатывали, в сельский Совет ее отбирали, так мельники-то Борискины из меня самого муки намолоть пообещались. Понял? Вот и пожаловали нынче, за мной.

— Да... должность твоя сурьезная.

— Выходит так. Закурить нет ли, хозяин?

— Этого не держим. Да и огонь зажигать не стоило бы...

— Опять верно. Привыкать надо...

— Говоришь, до утра. А поутру куда же? Обрато в сельсовет или как?

— Кабы эти Борискины сами по себе баловали, мы бы их живо скрутили. А так... знаешь, небось, что вокруг делается? Про белочешские части слыхал?

— Чешутся они, что ли, почему белочешские? — засмеялся Костя.

Отец прицкинул на него.

— Чехи, нация такая есть. Пока война шла, их много в русский плен попало. Ну, а в революцию, которые из них победнее, те стали вместе с нами за Советскую власть биться, а остальных, целый корпус, наши по-доброму отпустили из России, только оружие велели сдать. Ихние командиры, однако, продажными оказались. Как по всей сибирской железнодорожной линии растянули корпус, так и подняли своих солдат против Советской власти. Пошли заодно с беляками. Под их руку стали богатые стягиваться. Ну, да, небось, слышал, какой огонь разгорелся — кругом кулацкие восстания. Теперь уж и Каменск не наш боле, не советский. Заняли эти гады. Какое-то временное сибирское правительство верховодит. Вот и у нас зашевелились. Борискины разные да Поклоновы. Сейчас, чтоб против их устоять, надо силу собирать большую. А голову свою если подставлять, так тоже с умом нужно...

Помолчали. Гомозов заговорил снова:

— Ведь главное, вот что обидно. Только начали жить, беднота землю получила, пашет, надо налаживать весь порядок жизни по-новому, по-советски. Да что там, разве только в том дело, что накормить, земли прирезать или что? Ведь мы добиваемся, чтобы люди научились жить как братья, чтобы разум правил миром, а не копейка, из-за которой сейчас иной удавиться и удавить готов. Столько работы впереди, а они вот огнем норовят к старому вернуть. Ну, уж тут может получиться самый последний и решительный бой. Либо мы их к чертовой матери сметем, либо они окончательно народу на шею сядут. Только этого народ не допустит, нет.

— Что ты, Игнат Васильич, все народ да народ,— возразил отец.— Народу что, ему пахать-сеять надо, и всё! Ты, к примеру, ко мне прибеги, я говорю: милости, мол, просим,— а не прибеги бы, я тебя и знать не знаю.

— Неправду говоришь, Егор Михалыч, прости, что перечу, хотя весь у тебя в руке. К тебе-то я прибе-

жал не наобум, понимал, к кому иду. А если бы ошибся я, то ты бы мне от ворот поворот, и мы бы с тобой не беседовали сейчас. Не так ли? Нам, коммунистам, уже многие поверили в деревне, и еще, чем больше узнавать будут, больше за нами пойдут.

— Чуден ты, однако, паря. Сидишь в чужой конюшне, босый, как заяц от охотников укрываешься, а о чем толкуешь.

— Может, сегодня и заяц... Давай договоримся, Егор Михалыч, как дальше быть, да и отдыхать, пожалуй, вам пора, а то я и так сна-покою вас лишил.

— Дак чё? Сейчас выезжать не гораздо, те еще не совсем уgomонились. А часок подремлем, как раз пора будет. Свезу тебя на заимку, сам скажу, ездил в Овражки, корову заболевшую посмотреть.

— На заимку не годится. Мне дальше надо.

— Ну, что ж, отомчу, куда скажешь. Раз уж назвался груздем, надо лезть в кузов.

По приказанию отца Костя отправился на сеновал, снова зарылся в пахучее сено. Думал о дядьке Игнате, об удивительной его жизни, о том, что он, Костя, обязательно будет биться рядом с дядькой Игнатом за то, чтобы разум правил миром. Незаметно мечты его перешли в сон, но тут же его кто-то легонько потянул за ногу:

— Вставать пора. Да тихо, смотри, не разбуди никого.

Сна у Кости как не бывало. Он стал ловко и бесшумно помогать отцу собираться в путь.

В телегу впрягли буланую Мушку и Танцора, а вприпряжку — Бубенчика, который еще прошлой весной молодым жеребенком скакал по выпасам.

На дно телеги улегся Гомозов, одетый в штаны и рубаху Егора Михайловича, а Костя с отцом закидали его сеном да еще сверху положили полмешка овса да торбу с припасом. Поди теперь догадайся, что подо всем этим кто-то спрятан.

Косте очень хотелось самому отвезти дядьку Игната или хотя бы с отцом поехать, но попроситься он не смел, только молча стоял возле телеги, еще и еще раз расправляя сено. Отец взглянул на сына, весь вид которого выражал ожидание, и сказал:

— Садись, поедешь. В случае чего возьмешь вожжи, а пока поглядывать будешь на дорогу...

Осторожно, стараясь не греметь, тронулись со двора и покатили.

Бубенчик исправно рысит в одной упряжке со старыми лошадьми, только все взмахивает хвостом и поворачивает голову к седокам, будто спрашивая: долго ли еще мне бежать так медленно и скучно? Косте не до Бубенчика. Он сидит спиной к лошадям, смотрит на отбегающую назад дорогу, не покажется ли погоня. Напряженное лицо с упрямыми буграми у губ кажется взрослее, чем на самом деле.

Его жизнь, еще такая короткая, уже многому его научила. Он вспоминает Украину, большевика-комиссара в потресканной кожанке. Счастливый день, когда открыли панские амбары для всего села, и тот черный, навеки проклятый день, когда человека в кожанке и его товарищей казнили враги. Все это в мыслях Кости связано с тем, что случилось сегодня ночью. Появление дядьки Игната, его разговоры легли в Костину душу, как зерна ложатся весной в питанную влагой почву.

А пока мирно погромыхивает телега по смоченной росой дороге, катится навстречу утру. И вот уж первый жаворонок ударил в свои звонко-колокольцы, возвещая, что явилось начало прекрасного майского дня. Будто не было ночной тревоги, а в телеге, прикрытой сеном, не лежит человек, которому грозит смертельная опасность.

Глава IV

На площади сегодня шумно и людно. Блестят атласом яркие девичьи платки, не уступают им в пестроте шали и полушалки на богатых хозяевах. Выделяется грачиная чернота кафтанов и пиджаков. Поречное гуляет, празднует свой престольный праздник — усенье. Время для гульбы удобное: страдная пора позади, урожай убран. Осень с обещанием холода и голодной зимы еще не подступила.

Только что кончилась затянувшаяся обедня. Люди из церкви вышли, но расходиться не спешат. Всех занимает одна новость, объявление, что напечатано на большом желтом листе бумаги, прикрепленном к церковной ограде.

Содержание объявления уже известно каждому, но люди еще и еще раз подходят послушать, как читают его сельские грамотеи.

Много воды утекло с той памятной весенней ночи, когда Байковы, отец и сын, тайно увезли из Поречного председателя Совета Игната Гомозова. Нет больше здесь сельского Совета. Снова селом правит староста. На этой должности теперь мельник Максюты Борискин. На всем Алтае нет больше Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Есть белогвардейское временное сибирское правительство, поддерживаемое силами иностранной контрреволюции.

Чтобы окончательно задушить революцию в Сибири и двинуться в поход против Советской России, временное сибирское правительство срочно собирало войско, объявило всеобщую воинскую мобилизацию. Но население, видно, плохо поддавалось этой мобилизации, если правительственным чиновникам пришлось расклеивать такие объявления, как то, что сейчас для всех читал Костя Байков.

— «Граждане-крестьяне, — звонко читал он. — С недавних пор в уезде, а также и в самой вашей волости появились организованные большевистскими агитаторами шайки. Эти шайки насильем и угрозами заставляют крестьян уклоняться от законной воинской мобилизации. В страхе перед ними некоторые села отказываются посылать новобранцев на законную воинскую службу, а, наоборот, посылают сыновей под команду большевистских агитаторов. Шайки убивают должностных лиц, грабят сельские управы, дома зажиточных крестьян, разрушают телеграфную связь и железнодорожные пути, чем затрудняют гражданскую и воинскую работу законного временного сибирского правительства».

Костя передохнул. Дальше было напечатано очень крупными буквами, чтоб мог прочесть даже совсем малограмотный.

— «Крестьян, которые примкнули к шайкам, призываю немедленно покинуть их и вернуться к мирному труду, если им дорога жизнь и имущество. А их соседей, родственников и односельчан, всех, кто знает людей, учиняющих беспорядки или помогающих таковым разбойникам, прошу немедленно указать военным властям, где эти зловерные враги народа и правительства укрываются, а также где проживают их семьи. Каждый, кто окажет властям таковую помощь, будет награжден деньгами и имуществом, конфискуемым у смутьянов и разбойников».

Растягивая слоги, прочел подпись под обращением:

— «Капитан Мо-гиль-ни-ков».

Слушали Костю по-разному. Некоторые молча от-

ходили, не желая или боясь обсуждать приказ начальства. Другие начинали ругаться.

— Ловко, слышь, покупает господин Могильников, капитан, лихая година, — услышал Костя голос Кондрата Безбородова. — Значит, ты ему выдай соседа и со всем семейством, а он тебе, лихая година, евоным же соседским добром и заплатит. Вона!

— Да нешто у тебя соседи разбойники? — возразил Кондрату его собеседник, пожилой крестьянин, в розовой ситцевой рубахе, Мирон Колесов.

— А нынче, лихая година, не разберешь, кто разбойник, кто нет. Докажу вот на тебя — и айда. Что сделаешь?

— Будет нести-то, что не следоват, — сплюнул Колесов. — Это вот ему такие речи пристали, а не тебе, — и указал на Никифора Редькина. Еще с утра, ради святого праздника угостившись самогоном, Никифор приплясывал неподалеку и куражливо приставал к бабам и девкам.

Костя отошел от церковной ограды, где висело объявление. В голове у него теснились, путались тревожные мысли. Он думал о дядьке Игнате, об отце. Уж два раза за недолгое время отец с вечера уезжал куда-то, наложив в телегу столько съестных припасов, сколько ему одному на неделю хватило бы. А утром возвращался — телега пуста. Велел говорить, если спросят, что поехал, мол, телку заболелую лечить. Как и тогда, когда увозили из Поречного председателя сельсовета. Вот так, оба раза — телку. Теперь Костя понял, что это была за «телка». Слова о «помогающих таковым разбойникам» почему-то сильнее всего запомнились из прочитанного. И ему казалось: весь этот праздничный люд, что гуляет, волнуется, гомонит на площади, на улицах, у завалинок, и мальчишки, и мужики, и бабы — все сейчас смотрят на него, Костю, догадываются о том, что он знает.

Но нет, никто даже и не поглядывает в его сторону. Вот разве Степка. Издалека увидал, машет рукой, зовет.

— Идешь, что ли, Костя?

— Куда?

— Да ты не оглох ли? Третий раз говорю — ребята кличут в городки играть. Эвон-де уже нагораживают. Начали!

Когда Костя со Степкой подошли поближе, бита уже со свистом пролетела над поляной.

Костя вошел в игру будто нехотя. Он весь еще был во власти тревожных мыслей. Поплевал на ладони просто по привычке, чтоб ловчее ухватить березовую биту. Но вот она, тяжелоголовая, размашистая, крепко зажата в руке. Р-р-раз — бита летит прямо в городок. Чурки разлетаются, как брызги, в разные стороны. Костя бьет так, будто перед ним не чурки деревянные, а тот самый капитан Могильников, которого он уже ненавидит всей душой. Р-раз! Р-раз! Р-раз!

Вечером молодежь стала стекаться на берег реки. Здесь всегда по праздникам водили хороводы — троицкие, петровские, вот эти — усенские.

Костя пришел едва ли не раньше всех. Сегодня здесь, может быть, появится Груня. Уж должны же ее отпустить хозяева в такой большой праздник. Но подходят девушки, парни, а Груни нет. Вот уж и темнеть стало. Рослая рябая девка Настя густым голосом завела: «Между двух белых берез речка протекала...». На берегу закружился медленный хоровод. По старинному обычаю славил конец жатвы, добрый урожай. Парни, стоя в сторонке, сначала чинно слушали, потом вдруг с хохотом налетели, разорвали круг хоровода. Взвизги, веселые крики.

Костя бродил по берегу. То там присядет, то тут остановится, прислушается: не раздастся ли знакомый голос — нет, нету.

Еще подождал немного да и поплелся к селу. У мостика едва успел посторониться — мимо проскакал верховой. Светили одни только звезды, а узнать нетрудно: Федька Поклонов подался куда-то на ночь глядя. Хотя у него спрашивай, почему не выпустили батрачку в праздничный вечер погулять. Так разве спросишь? Ишь, спешит. Только слышно, как конь глухо ударяет подковами о пыльную подушку дороги.

Костя дошел почти до дома Поклоновых, когда увидел тоненькую фигурку, бегущую ему навстречу.

— Груня?!

— Ох, Костя, ты? Костенька, нехорошо-то как!

Костю так обрадовало ее небывало ласковое обращение и просто само ее появление, что он готов был заплясать. Чего уж тут «нехорошо». Но, сохраняя шутиливую серьезность, ответил:

— Знамо, нехорошо. Ты чего ж так поздно?

— Да дура, вот и... сама дура. Больно мне этот полушалок нужен был, да еще рваный. Убежала бы поране, никаких бы этих страстей не слышала.

— Ты о чем?

— О чем, сама толком не поняла, а страшно. Вот слушай-ка. Намеднись мне хозяйка гостинец дала. Полушалок у нее был шелковый, она его еще давно зацепила где-то да порвала и рваный-то больше надевать не захотела. Вот и отдала мне. К празднику, мол. Ладно. К вечеру, гляжу, она собирается со двора. Одна собирается, чего сроду не было. А хозяин ее еще вроде приторавливает поскорее уходить. Ну, собралась и меня отпускает. «Иди,— говорит,— только ненадолго, а то утром от вас не работа, а одна позевота». Вот как врет.

Костя слушал, терпеливо ожидая, пока Груня доберется до сути, до тех страстей, о которых упоминала с таким волнением.

— Как она отпустила, мне бы и побежать сразу, а я про полушалок вспомнила. Он у меня был спрятан за укладками в большой горнице, за занавеской. Я только нагнулась его доставать, слышу, в горницу входит хозяин и Федька с ним. Хозяин спрашивает: «Все, что ли, ушли?» А Федька: «Все, никого нет». Тот не верит и еще спрашивает: хорошо ли, мол, смотрел. А Федька: «Еще, мол, как смотреть. Мать ушла, Груньку выпустила, стряпка еще раньше утащила и батраков никого нет. Говорите, батя, чего хотели, а то мне тоже погулять охота». А хозяин на него как крикнет: «Я тебе,— говорит,— погуляю! Дело,— говорит,— на безделье не меняют, а то, мотри, заставлю рылом хрен копать!..» Я сижу за укладками-то, прижухла и вздохнуть боюсь.

— А ты бы подала голос, что, мол, еще не ушла.

— Так испугалась же я!.. Ну ладно. Они сели за стол. Хозяин велит Федьке писать, а сам диктует. У самого-то рука болит. И пишут письмо какому-то начальнику военному и про какого-то господина Могильникова поминают.

— Могильникова? — так и вскинулся Костя. — Не путаешь?

— Да как же, больно фамилия чудна, я запомнила.

— Скорей говори, что они писали. Тут, знаешь, какое дело может быть?

Костя потянул ее за руку и повел подальше от домов, хотя их и так никто не мог услышать.

— Я уже догадалась, какое дело. Они жаловались. Жаловались этому начальнику на наших пореченских мужиков, будто те каким-то разбойникам, шайке помогают. Ужли правда, Костя, что в шайке наши мужики? Кого называли, сроду про тех не подума-

ешь, что разбойники. Зачем-то Федька говорит отцу про имущество. Зачем, мол, нам Колесов, какое у него имущество, а отец ему: «Дурак ты, не в том дело, а кто первый отзовется, тому от власти почет». Я что-то в толк не взяла, к чему это, Костя?

Костя молчал, сосредоточенно и быстро соображая. Наконец сказал решительно:

— Утащить надо это письмо!

— Ишь ты, приткий! А к чему это все, Костя, ты знаешь, что ли?

— Ничего не знаю. Только разбойников никаких нету. А этим мужикам, кого в письме поминали, может быть очень плохо. Поубивать могут безо всякого суда.

— Да ты что?! Ой, мамочки! А письмо-то ведь он увез!

— Федька? — Косте сразу представилась фигура верхового на фоне звездного неба и глухой стук копыт по дорожной пыли.

— Хозяин велел сейчас же везть и к утру воротиться.

— Ох, гад, гад. Каб я знал, что везет, с коня бы стащил. Ведь мимо носа проехал. А теперь разве догонишь?

— Догнать, где же!

Как быть? Костя задумался. Вспомнились прочитанные книги о погонях, перехватах. Сказки. Обернуться бы Груне серой утицей, а ему — сизым бы селезнем, кинуться вслед за Федькой, догнать в три взмаха крылами... Но это ладно — сказки, а Федька к утру уж домой воротится, а за ним следом от капитана Могильникова посланные пожалуй чинить расправу над «разбойниками»...

— Ты хоть кого запомнила из тех, что записывал этот гад?

— А как же, всех! Человек двенадцать называл, всех помню.

— Говори скорей.

— Погоди, погоди. Ну, записывали дяденьку Мирона Колесова, Скобельникова Емельяна. — Груня загнула два пальца. — Еще Немогутного Ивана — три.

— Ивана, — повторял про себя Костя и тоже загибал пальцы, чтобы лучше запомнить.

— Еще кузнеца дядю Арсентия. Хозяин еще велел записать, что дядя Арсентий ковал чего-то для этих разбойников. Погоди, еще кого же? А, вот, Семена безногого...

Костя загнул десять пальцев и еще два. Все двенадцать.

— Никого больше?

— Нет, все. Я считала.

— А моего батю не записывали?

— Да ты что? С чего им?

— А других с чего? Ну, ладно. Теперь я побежал, а ты, смотри, никому ни слова. Поняла? Тут дело не шутейное, — не без скрытой гордости повторил Костя слышанное весной от отца. — Не скажешь?

— Что ты!

— А ежели хозяева догадываться станут, ты тогда: не слыхала, мол, не видала, первый раз слышишь, ничего не знаешь. Сделаешь так?

— Вот крест святой! А почему им догадаться? Костя, Кось!..

Но его уже не было рядом. Отсюда ближе всего до дома Мирона Колесова, туда и направился Костя. Улица еще не спала. Хотя летом сельчане обычно старались улечься, не зажигая огня, сегодня светились многие окна. Слышались пьяные вскрики, песни, праздничный шум.

Тот самый пожилой мужик, который утром рассуждал с Кондратом Безбородовым об объявлении Могильникова, оказался только слегка навеселе. Вы-

слушав сбивчивое Костино сообщение, он строго переспросил:

— Кто поехал доносить, говоришь?

— Этого не скажу, дядя Мирон. Только верно слово, знаю, поехал один человек.

Не скрывать бы надо про Федьку, а всем рассказывать. Но Костя понимает, что так можно Груню подвести, и молчит.

— Кто послал тебя?

— Никто. Я сам, как узнал, так сюда.

— Откуда узнал?

— Ниоткуда. Сам.

— Ну ты со мной, паря, эти шутки не шуткуй. Скажу вот отцу, он те поучит, как озоровать. А то, главное, наслушались утром и ходят теперь, людей пугают.

— Дяденька Мирон, ей-богу, правда!

— Иди, иди давай. Тех пугай, которые виноватые. А нам бояться нечего. Иди, паря, от греха, а то не ровен час у меня рука тяжелая.

— Дядя Мирон!

Ну, что будешь делать?! Ушел в дом и дверь хлопнул. Как ему растолковать?

Отец укладывался спать, когда сын, вернувшийся с гулянья, бледный от какого-то непонятного волнения, стал его настойчиво просить выйти, поговорить. Да осторожно, чтоб даже мать не догадалась.

— Говоришь, так и поехал на ночь глядя? А перепутать чего или перевернуть не могла эта девчонка?

— Нет, она хоть перепугалась и понять не поняла, что к чему, а рассказала все как было...

Стоя у своих ворот, Костя видел, как отец направился к дому Скобельниковых. В окнах вспыхнул свет, заметались тени. Потом также внезапно свет погас. Отец снова появился на улице. Костя сорвался в бег, догнал.

— Батя, мне велите, что говорить, я всех обегая.

— Иди домой. Тебя, вишь, не послушал Колесов.

— А вы научите, как говорить, чтоб поверили...

В эту ночь, утомленные сутолокой праздничного дня, пореченцы крепко спали. Лишь немногие слышали, как в неурочный час по улицам громыхали телеги, увозя своих хозяев со всеми детьми и домашними и наскоро собранным скарбом подальше от неминуемой беды, как сонно мычали привязанные к телегам коровы. А кто и слышал, так внимания не обратил: известное дело, праздник. Гости из других деревень по домам разъезжаются...

Каратели въехали в Поречное рано утром. Село только просыпалось. Никто еще не успел уйти в поле, в луга, на льняные стлища.

Два офицера и солдаты с ночи сидели в седлах, не выспались. На коротком привале подбодрили себя водкой, но сил она не прибавила. Разве только усилила раздражение и злость на это село, где, несмотря на угрозы и запреты, двенадцать семей, а то и больше связаны с партизанской шайкой. Но сегодня этому придет конец. По дорогам, ведущим из села, отряд оставил заслоны — никто незаметно уйти-выехать не сумеет.

Старый сборненский сторож Трофим Гавриленко, открывая сборню перед непрошеными гостями, с перепугу никак не мог попасть ключом в замок и первый получил угощение: ременная плетка с размаху обжала спину, оставив горячий след.

Очень скоро к сборне прибежал староста Максют Борискин, кланялся господам офицерам, просил к себе отзавтракать чем бог послал. Начальник отряда отказываться не стал, только сказал, что сначала дело надо сделать. Очень распущенное село, целое

разбойничье гнездо в нем обитает, а он, староста, об этом известить не поторопился. Пришла очередь Максютиним рукам трястись.

Старший офицер потребовал провожатого для своего помощника с солдатами, которые должны были арестовать и привести сюда к сборне всех, кто поименован в привезенном списке. Борискин провожатым послал старика Гавриленко, в качестве понятого отправился Никодим Усков.

Сам начальник отряда с небольшой охраной остался ожидать арестованных здесь, коротая время за походной чаркой и небольшим припасом, который бегом принесла старостиха.

Карателей в Поречном еще никогда не было. Многие крестьяне даже не слышали, что это такое, однако недоброе почуяли все. Одни затаились в домах, боясь выглянуть наружу, другие старались нарочито выказать равнодушие: дескать, нас не касается, нам и ни к чему.

У старосты, у попа Евстигнея, у Поклоновых другая маета. Там засуетились, заметались хозяйки: вдруг да господа заезжие офицеры не погнушаются ихнего хлеба-соли откушать.

Группа солдат с офицером в сопровождении какого-то сразу пожухшего и съежившегося сборненского сторожа и Никодима Ускова быстро стала обрастать мальчишками. Ребята постарше, Костя, Гараська, Степка, Николка наступали солдатам чуть не на самые пятки. Солдат, взяв ружье наизготовку, велел мальчишкам отстать. Черное, круглое отверстие дула винтовки поочередно заглянуло каждому в глаза. Мальчишечьи босые ноги сами собой приросли к земле. Теперь за отрядом можно было следить только издали. Вот он приблизился к воротам Ивана Немогутного.

— Открывай! — зычно разнеслось по улице. На крики, удары прикладов, отбивающих от ворот щепки, никто не выходил. По всей улице отчаянно лаяли собаки. Кто-то из солдат перемахнул через забор, раскрыл ворота. Отряд ввалился во двор. Несколько мгновений было тихо, потом снова грязные ругательства, крики, звон разбитых стекол, стук прикладов по дереву: крушили дом, в котором не застали ни одной живой души. У ворот тряслись Степкин отец и Никодим Усков — понятой.

Возле дома Скобельниковых повторилось то же самое. Только ворота Мирона Колесова открыл сам хозяин. Отступая спиной к крыльцу, кланялся офицеру в ноги, клонил седоватую нечесаную голову до самой земли, повторяя:

— Милости просим, мы ни в чем не виноватые, милости просим.

Его схватили, стали пинать, бить здесь же, среди родного двора. Выскочила старуха, мать хозяина, сноха — солдатская вдова, ребятишки. Их отпихивали, отгоняли прикладами, как собачат. Старуха истощно завывала — ее отшвырнули, она ударилась головой о крыльцо и замолкла. Сноху один из солдат затащил к амбару, бросил внутрь и припер дверь снаружи колом.

Оцепенело глядели, прислушивались соседи.

Когда к начальнику отряда притащили до полусмерти забитого Колесова и сказали, что остальные как сквозь землю провалились вместе с детьми и стариками, офицера едва не хватил удар. Хрипя и топая ногами, он просипел какую-то команду.

Поскакали по улицам верховые. Всем жителям от мала до велика приказ: явиться на площадь перед церковью. Кто позволил себе медлить, того подстегивали солдаты. Прикладами, нагайками — все вон! На площадь!

На выжженной августовской жарой площади наро-

ду все прибывает. Люди не понимают, зачем их сюда согнали. К чему это солдаты составляют телеги рядком, четыре или пять телег. Да еще веревками связывают, а под колеса камни кладут, чтоб не раскатывались. Помост. А чего на нем показывать?

Многие настолько не понимают происходящего, что еще могут думать о всегдашнем, обыденном. Рябая певунья Настя очутилась в толпе рядом с Груней, обрадовалась.

— Груняха, здравствуй-ка! Ты чего вчера в хоровод не пришла? Уж мы тебя ждали, ждали... — Лучше б она не спрашивала этого. Вон совсем близко стоит Федька. Оглянулся на голос, увидел Груню, ее округлившие от страха глаза. — Где хоть была-то?

— Да там и была, — растерянно шепчет Груня, — у речки. Только маленько опосля пришла. А вперед-то я, — Грунин глаз опасливо косит в сторону Федьки, — вперед-то я к матери сбегала, проведать, вот и припоздала. (Слышит или не слышит Федька?)

А он слышит. Только зачем ему? Пропускает мимо ушей.

Наскоро сколоченный помост зашатался под тяжестью шагов. Туда всходят офицеры, два солдата, втаскивают Мирона Колесова. Горестный ропот прорывается по толпе.

Зажатый со всех сторон людьми, стоит Костя. Он не сводит потрясенного взгляда с дядьки Мирона. Того узнать нельзя. Вчера он тяжелой медвежачьей походкой, хозяином прохаживался по своему подворью. Густая седоватая борода так кругло лежала на его плотной груди, на праздничной розовой рубашке. От него пахло сытой едой, самогоном. Он так уверенно выпроваживал Костю, говоря, что он ни в чем не виноватый, что Костя и вправду подумал: может, зря все это. А сейчас стоит на виду у всех людей, у всего села. Борода раздергана, рубашка висит полосами, сам весь избит. Руки за спиною связаны. Переступает с ноги на ногу, голову низко клонит, будто виноват перед людьми в том, что вынужден показываться им в таком непристойном виде.

Мирон поднял глаза и посмотрел — Костя проследил за его взглядом, — посмотрел на Кондрата Безбородова, своего соседа. Тот даже отшатнулся, головой замотал: не я, мол. Знамо, не он. Сказать бы всем людям про Поклоновых. Да нельзя. Тогда Груне несдобровать.

Не скажет ли Колесов офицерам про то, что они, Байковы, Костя, а потом и его отец, приходили предупредить о беде. Если скажет, тогда и их так же...

Костя с тревогой спрашивает себя, вправду ли вчера уверял его дядя Мирон, что знать не знает ни о каких отрядах и к этим делам не касается. Зачем его сюда вывели, что станут делать? Знали Поклоновы, когда писали свою бумагу воинскому начальнику, что из этого выйдет, или не знали? Небось, знали, все понимали, но делали же, гады. Гады! Самих бы их так! Слеза закипает у переносья, и Костя сердито вытирает ее.

Странно, как тихо на площади. Никто не разомкнет губ, не проронит слова. Только смотрят на помост, хмуро, напряженно, со страхом. А ведь у каждого в голове теснятся мысли, вот как у Кости сейчас. Если бы все это прозвучало вслух... Хорошо, что нельзя услышать, о чем молча думает человек. Вокруг толпы стоят солдаты с ружьями...

Офицер спросил о чем-то у Колесова. Тот дернулся, отшатнулся. Губы его шевелились, но слов разобрать нельзя было.

— Громче! — заорал офицер и подал знак своим подручным. Сверкнул на солнце гибкий шомпол, со свистом опустился на плечи крестьянина.

— Не знаю ничего... Ни в чем... Христом богом... Христом богом...

Колесов упал. Его продолжали хлестать шомполами, пинали сапогами. Жутко, на голос кричали бабы. Не добившись ничего от Колесова, каратели выстроили всех стоявших на площади в ряд и, отсчитывая каждого десятого, выводили на помост. Мужчины, женщины, подросток — все равно. Только несколько богатых семей в счет не ставили. За них просили староста и священник, что был здесь же, возле помоста. Сжав зубы, ждал Костя, пока чужая рука не оттолкнула его в сторону: он был по счету только седьмым... Из Костиной семьи не попал никто. Вытаскивали соседей, родственников, близких. Обычно Костя еще издали кланялся, шапку перед ними снимал, а здесь их чуть не донатаг раздевали при всех и шомполами... Вопросы задавались одни и те же: где находится отряд разбойников под командой Игнашки Гомозова, почему, куда скрылся из села целый десяток семей, кто предупредил? Люди молчали. Иной, особенно из тех, кто поговаривал, что не худо бы «пощипать кое-кого» и рад был бы выслужиться перед карателями, но сказать было нечего: никто ничего не знал. Слышали, ночью телеги скрипели, так ведь праздник. А кому было о чем рассказать, те молчали. Видно, Игнат Гомозов подбирал надежных помощников.

Сочилась кровь из рассеченных шомполами ран. Вопли истязаемых, крики и плач женщин, ругань карателей... Горькое горе села Поречного стоном поднималось в белесое жаркое небо. А на земле из совсем уже небольшой кучки людей продолжали отсчитывать десятого. Солдат с очумелым лицом, отсчитывая жертвы, приближался к Груне. Костя напрягся. Сейчас кинется, будь что будет... Нет, миновало девчонку. Впрочем, не на девчонку, а скорее на старуху с серым лицом и запавшими лихорадочными глазами была похожа Груня, узнавшая на деле, какую диктовку диктовал своему сынку ее хозяин...

В большой горнице Поклоновых на столе, тесно уставленном полными мисками и блюдами, подтаял и раскис жирный студень, заветрилась и высохла жареная курятина. К еде никто не притронулся, гости, для которых все готовилось, обошли дом. К Максюту отправились обедать офицеры. И награда, на которую надеялся Поклонов, когда посылал свой донос, уж наверняка обошла его. Не будет никакой награды. Как бы еще к ответу не притянули...

Ненужные больше кушанья надо бы убрать, но хозяйка не подступиться в горницу. Там бушует хозяин. Он мечется между стен, как мечется вдоль короткой проволоки злой, охрипший от рычания пес. Ахинфий Петрович пытается дознаться у Федьки, кому он выдал секрет письма со списком, кто сообщил людям, чтоб они еще до утра скрылись из села.

Федька, подпирая спиной стену, смотрел на отца мутными от страха кругляшками глаз и сказать ничего не мог. Губа у него уже была рассечена, под глазом багровел кровоподтек. Отец, прижимая к животу больную правую руку, хорошо действовал левой. Но оплывший желтизной, все еще сильный левый кулак мало помогал делу. Федька не мог бы ничего сказать, если бы даже его молотили четыре кулака, а не один. Он сам не мог уразуметь случившегося чуда. Ведь не спал же, не дремал, не слезал с седла, пока не доехал до места, до самого воинского начальника. В пути всего и встретилось, что парень какой-то у мостика, не разглядел его, да еще по дороге мужик ехал навстречу. Нет, никто не мог прочитать...

Новая зуботычина прерывает размышления Федьки. Он опять клянется, божится, что ни в чем не виновен, а короткая тупая мыслишка все тычется в поисках ответа, опять и опять проходя пройденным кругом: «Как же так, когда ехал с письмом — спать не спал, дремать не дремал, в руки никому письма не давал, кроме военного начальника, офицера. Дома, когда отец диктовал, тоже никто не мог услышать... Стоп!» Мутные кругляшки озарились внезапной догадкой. Особым смыслом вдруг исполнился слышанный утром разговор рябой Насти с батрачкой Грунькой. «Да там и была, у речки, только припоздала», — будто вновь слышит Федька растерянный Грунькин голос и видит ее опасливо косящийся взгляд. Некому больше, она!

— Грунька! — выпаливает он в лицо отцу. — Она подслушала! — и в счастливом изнеможении садится на лавку. Теперь все ясно. Теперь допрашивать, бить, колошматить будут не его, Федьку, а стерву Груньку. Ее хотя бы и шомполами, раз заслужила, а он, Федька, ни в чем не виноват.

Старый Акинфий Федькиной догадке не поверил: «От себя отвести хочет, подлюга. Куда этой сопливке, ей и не сообразить». Однако выслушал сына внимательно и решил, что проверить не лишнее.

Позвали Груню. Хозяин молча и даже с некоторым любопытством глядел на девчонку и наконец велел ей принести холодного квасу из погреба. Только и всего. А Федьку между тем быстренько послал запереть за ней дверь погреба снаружи. В ту же минуту было послано за матерью Груни.

Катерина как раз решила подкопать немного картошки для похлебки. В доме со вчерашнего было не топлено, не варено. Решила вынуть одну-другую картофелину из-под нескольких кустов, не нарушая корней, а остальные картошечки пусть еще посидят, порастут. Но в горестном забытии вытащила целый куст, отряхнула корешки от рыхлой земли и обобрала с них все картофелины: крупные, поменьше, еще поменьше, с горох. Другой куст вытащила, третий и остановилась. Что же это она делает? Знать, разум отшибли эти солдаты, хоть ее самое и не тронули... Попыталась закопать обратно картофельную мелочь. Да где же, разве станет расти, когда корни оборваны... Катерина в сердцах сплюнула, обругала себя и вовсе прекратила работу. Разве она богачка, эдак разбрасываться добром?

На зов посланного Поклоновым мальчишки-кучера побежала прямо с огорода. Самому Акинфию Петровичу понадобилась срочно, как не побежать.

Хозяин встретил солдатку приветливо, даже сесть велел и спросил не без ласки в голосе, понравился ли Катерине гостинец.

— Какой гостинец, батюшка Акинфий Петрович?

Старик весь подобрался, в ласково прищуренных глазах появился хищный блеск. Вот сейчас он все узнает. Его придумка про гостинец все выявит.

— Как это какой? Аль она его не захватила, гостинец-то, когда к тебе шла?

— Да кто, батюшка? Ежели дочка, так она и дома не была сколь времени. Сегодня только и увидела ее на дороге, до гостинцев ли было?

Лицо хозяина мгновенно изменилось. Перед Катериной стоял грузный человек, хищно подавший вперед голову-морду со злобным оскалом и сверлящими глазами.

— Говоришь, не приходила домой Грунька?

Внезапный страх обдал Катерину, бросил с лавки на пол, на колени.

— Батюшка, благодетель, Акинфий Петрович, ежели думаешь Груня чего унесла, дак бога ради не ду-

май. Она, доченька, отродясь чужой пылинки, волоса не унесла. И домой она не ходила, вот истинный господь, не вру. С места не встать. А ежели у вас пропало чего, так я искать подсоблю, небось, завалялось где, найдется. А Груня — дочка сроду не возьмет.

Поклонов не слушал ее причитаний. Успокоился, даже обрадовался. Кажется, найдена виновница его позора. Теперь он разматывает весь клубок до конца. Слава богу, не Федя растрепал про отцовскую тайну... Пренебрежительно бросил Катерине:

— Чего, «подсоблю». Что пропало, то не найдется, а найдется — так без тебя. Ступай-ко.

— Дочка где же? Хоть повидать бы?

— Ступай, ступай! Дочка! При деле дочка. Ступай, знай, отсюда. Раз она домой не приходила, так и разговору нет. Ну?!

Федька, все это время молча сидевший в углу, поднялся и угрожающе пошел на Катерину. Женщина, испуганно пятась, отступила за порог. Но тревога пересиливала страх. Теперь Катерина определенно чувствовала, что ее доченьке, ее ягодиночке, будет худо, и никак не хотела уходить со двора.

— Груня, Грунюшка! — закричала пронзительно.

— Чего орешь? За делом твоя Груня. Соскучилась, так домой нынче же ее отошлю... — это добродушно ворчал хозяин, вышедший вслед за Катериной во двор. И кто бы мог подумать, что этот пожилой богатый мужик, прижимающий к шелковой рубашке перевязанную правую руку, только что казался Катерине таким оскаленным и страшным... «Видно, правда, разум отшибло», — вздохнула Катерина и, еще раз заверив хозяина в том, что Груня не только никакого гостинца не приносила, но и сама ноги на порог не накладывала, медленно побрела домой.

— Тыфу, горластая, черт, — деловито сплюнул Поклонов, когда Катерина скрылась со двора. Всех оповестить захотела, что она здесь. — И кивнул Федьке: — Давай-ка эту, с квасом, в горницу, живо!

— Долгонько же, девка, за квасом ходишь. Что, аль сильно жарко, прохладиться захотела?

Груню знобило. От холода — ноги настыли на ледящих камнях погребного пола, от страха. Сидя в погребе, тщетно пытаясь плотнее укрыть колени худой юбчонкой и согреться, она с тоской ругала себя, зачем вернулась в этот подлый, ненавистный дом, зачем не убежала к маме. Так ведь думалось: если убежит, хозяева сразу догадаются, еще солдатам-карателям докажут. А так никому и в голову не придет, что она слышала эту проклятую диктовку... Федька днем и ухом не повел на ее с Настей разговор... Грунины зубы начали выбивать дробь, а рукам, держащим запотевший с холода кувшин с квасом, стало горячо.

— Прохладилась? Тебя спрашивают, ай нет? Поставь кувшин, разобьешь, падла! Где была вчера вечером?

— На гулянье. Меня тетя Матрена сама отпустила.

— Отпустила на закате, а в хороводы когда пришла?

— Солнце уже зашло давно, уж и коров подоили и управились, тогда и отпустила.

— Я тебя не про солнце. Говори, где была, почему поздно на речку пришла?

«Слышал Федька! Теперь пропадать...»

— К маме заходила. Проведать.

Дрожит Грунин голос, дрожит вся Груня. Что теперь будет?

— Врешь, подлюга! Не была у матери. Сейчас только Катерина здесь божилась, что ты не приходила. Говори и отпираться не вздумай, кто тебя научил

подслушивать? Кому понесла, что в доме слышала? Убью, гадину. Мучить буду, пока не скажешь, ну?

Ой, как больно голове. Русая, цвета прошлогодней соломы Грунина коса крепко намотана на поклоновский кулак. Трещат волосы, трещит голова. Ох, спина! Это Федька сзади, сапогом.

— Никто не научал. Ничего не слышала. Ой! Никто не научал. Никому не передавала. Ой, мамочка! — Вокруг села каратели. Не убежать Косте. Если она скажет, пропадет Костя, убьют, замучают Костю. Нет, она не скажет. — Ой, мамочка! Ой, не бейте!

Закрывают двойные рамы, заложены ставни, запорты изнутри двери.

Все тише Грунины крики. Она уж и стонать не может. Она уж даже не понимает, чего от нее требуют. Только одно желание еще явственно: скорее умереть, перестать чувствовать боль, что остро вливается в сердце, дурнотой заливая сознание.

Глава V

Сквозь маленькое оконце и щели вокруг неплотно прикрытой двери сарая льется желтоватый свет слишком медленно угасающего дня. Костя с ненавистью смотрит на танцующие в полосах света пылинки. Когда хочешь, чтоб день тянулся подольше, он — раз, и пролетел, а когда не надо — тянется, тянется. Тяжелая зеленая муха назойливо прожужжала около самого лица. Костя сердито отмахнул ее ладонью.

Отец велел спать до темноты. Но разве уснешь после всего, что сегодня было?

Когда отец позвал его сюда, в сарай, Костя пытался догадаться зачем.

«Может, батя скажет спрятать что, закопать в сарае или еще чего-нибудь велит сделать», — думал он, шагая за отцом. Но того, что услышал, предугадать не мог. Отец велел ехать в партизанский отряд, к самому Игнату Гомозову.

Объяснял, как найти отряд. Учил, что соврать, чтобы самому уцелеть и врагов на партизанский след не навести в случае, если его, Костю, переймут по дороге. Говорил обыкновенным голосом, будто посылал сына к соседу по хозяйскому делу. Только глаза у отца были такие, словно он целый день работал на молотбе и их сильно запорошило хлебной пылью...

...Рассказать, как лютуют каратели в Поречном, сколько их находится в селе. Может, у отряда хватит силы ударить по ним прямо здесь, в селе. А может, засаду на дороге сделают, Гомозову виднее. И про тех, кто ночью успел уйти от карателей, сообщить. Все эти отцовы наставления Костя выслушал внимательно и сразу запомнил накрепко.

Взглянув в жадно глядящее на него лицо сына, отец вздохнул.

— Радуюсь? А ведь не игрушки, смекай. Тебя бы не послал, кабы самому можно. Но нельзя мне. Хватиться могут по коновальскому делу или еще как. Не найдут — мать изведут, тебя. Да в расчет взять и то, что пока на нас не думают — еще не раз пригодиться сможем. Так-то вот, — говорил отец, будто оправдываясь перед Костей. — А на тебя у кого какой спрос? Никто искать не станет. Но самому-то ухо остро надо... Поберегайся...

— Понимаю, батя. Враз и поеду. Кого седлать скажете?

— Ты, видать, не слушал меня! Нешто, паря, сейчас даже вздумать можно верхи выехать из села?

Пойдешь пеши. И не раньше, как хорошо стемнеет. Выбраться надо, чтобы ни один пес не взлаял, трава не шелохнулась. Не ровен час поймают, так конец. Сейчас ложись и до полной темноты спи. Если не пожалуют к нам за это время, успеешь, выплывешь. Потом всю ночь идти придется и чтоб не смориться. Ежели сморишься, отдохнуть присядешь — как раз и уснешь, не успеешь до утра добраться. Понял? Ну то-то. Спи. Как стемнеет, я кликну.

Вот и лежит теперь Костя, ждет темноты. Хоть жмурься, хоть не жмурься, глаза сами открываются. Кажется, сто лет пролежал, а свет в оконце и в щелях вокруг двери только чуть пожелтел. Когда еще совсем погаснет...

Костя задумался о предстоящем путешествии. Наконец-то он увидит партизан, с которыми сам капитан Могильников справиться не может. А он, Костя, придет туда как свой. Сразу скажет: ведите меня к командиру, у меня важные вести. А командир выйдет и узнает его. «Здравствуй, — скажет, — паря гармонист»... И тогда Костя расскажет дядьке Игнату про все... И про Поклоновых, гадов. Пусть партизаны приедут, их казнят!

Тут Костины размышления потекли по другому руслу: «А что если еще сегодня поджечь двор Поклоновых? Поджечь, и ходу?» Подумал и засомневался: «Нет, так все равно плохо. Люди подумают: каратели подожгли, жалеть будут подлецов. А надо так, чтоб все село узнало, какие они есть».

Костя подтянул колени к подбородку и задумался. Внезапное и острое воспоминание подсказало, что делать.

Года два тому назад — Костя ясно вспомнил — какие-то парни вымазали дегтем ворота девушке Усте Лесных. Разозлились на нее за что-то и вздумали вот так навлечь худую славу. Устя целый день скоблила и топором стесывала деготь, но пятна все проступали. Ночью она повесилась. Костина мама тогда сильно проклинала тех парней, которые дегтярной мазилкой убили девушку Устю. Говорила, что им-то первым и гореть в геенне огненной за грех великий. Но где там эта геенна! Главное, деготь не сразу соскоблишь. Дегтем прямо на воротах Поклоновых Костя и напишет про подлость, какую они сделали. Грамотные прочитают, так всему селу станет известно. Убить-то этим, правда, не убьешь. Старый черт не повесится. А хоть бы и повесился вместе со своим Федькой, так туда им и дорога, душегубам!

Ни спать, ни лежать больше нельзя. Надо горшок припасти какой-нибудь ненужный, чтоб мать не хватилась, сделать из палочки с тряпкой мазилку, да такую, чтоб не мазать, а писать было сподручно. И пора собираться, а то свет в маленьком оконце из желтого сделался уже красновато-сумеречным. Закат. Небось, отец скоро кликнет.

Первым опомнился старый Поклонов: девчонка, распростертая на полу, больше не стонала.

«Кончили, — металось в сознании старшего Поклонова. — Добро бы в лесу, закопали бы или в болото бросили, и концы. Или бы где на улице — на карателей свалить можно. Это бы не в диковину. А в своем доме, среди бела дня — это беда. Как-то прятать надо, сидеть нечего». И с новой, откуда-то взявшейся силой размахисто перекрестился.

Федька, увидев это, со страхом уставился на Груню и стал пятиться от того места, где она лежала.

Груня, в своем обморочном забытии все равно продолжавшая чувствовать боль, шевельнулась, бессознательно пытаясь придать телу более удобное положение. Ужас исказил Федькино лицо: мертвая пошевелилась!

Старик не испугался ничуть. С неожиданной для него прытью подбежал, наклонился над ее лицом.

— Жива, слава тебе, господи! — и с размаху вылил остатки кваса из кувшина ей на голову. Груня судорожно вздрогнула, на миг приоткрыла глаза, жадно слизнула попавшую на губы холодную сладковатую влагу.

Поклонов, наблюдавший за ней, остался очень доволен. Аккуратно поставил кувшин на стол, одернул на себе рубашу и вдруг закричал изо всех сил, совсем ошарашив и без того обезумевшего Федьку:

— Караул! Воровка! Держи, бей воровку, бей. Вот покажу тебе, как воровать!

Он стоял, удобно опершись о стол и кричал громко и часто, будто и впрямь ловил кого-то, с кем-то боролся. Потом, не переставая кричать: «Бей воровку, бей», — бросился одной левой вынимать внутренние ставни, снимать крючки с дверей. Сын, начиная понимать хитрость родителя и восхищаясь ею, быстро помог ему.

— Убью, воровку, лиходейку! Ишь ты, хозяйские деньги ее приманили! Федька, отыми деньги-то. Деньги отыми. Деньги! Держи ее! Держи ее!

Наконец Поклонов решил, что можно передохнуть. Теперь лады! И в доме и на улице слышно: хозяин поймал воровку-батрачку и учит. Из-за своего-то кровного — это любой поймет — как не погорячиться. Ну и поучил. Так не до смерти же!

— Узнаешь у меня, как деньги воровать! — выкрикнул в последний раз на всякий случай и вытер рукавом вспотевший лоб. — Ну вот и хватит. Теперь можно людей звать. Нет, еще вот деньги приготовить, чтоб все видели. Велел Федьке стать лицом к двери, а сам ловко достал из тайника несколько зеленых бумажек, зажал за самый кончик в потном кулаке. Толкнул ногой дверь.

Поклоновская стряпуха Ефимья прикладывала к телу Груни тряпки, смоченные в кислом молоке, чтоб жар вытягивало. И все качала головой, разговаривая то сама с собою, то обращая к Груне какие-то слова, на которые та не отвечала.

Украсть у хозяина деньги — на экий грех пошла девчонка. Но и ее, бедную, как разделали! Небось, все внутри отбили. Выживет ли еще после этого? Хоть и грешна, но ведь не разумна еще...

Молоко не помогло. К ночи Груня заметалась, начала бредить, стонать. Стряпуха стояла возле лежанки, сложив руки на животе под фартуком, жалостливо смотрела на Груню и разговаривала с мальчишкой-кучеренком, который укладывался спать на кухонной лавке. Все лето он спал под поветью, но сегодня очень много страшного навидался за день, попросился в дом. Стряпуха разрешила ему. Она раньше всех в доме просыпается, авось, успеет выпроводить парнишку, хозяева и не увидят, что в доме спал.

— Вишь, мается девка, — говорила она, обращаясь к кучеренку. — А придет в память, опять за нее примутся. Забьют, беспрременно забьют. — Слеза покатила по рыхлой стряпухиной щеке. — Матери что ли, пойти сказать, — продолжала женщина, — пусть бы домой забрала. Раз деньги свои обратно отняли, какой с ей больше спрос, отпустили бы душу с миром.

— Матери-то хорошо бы, мать бы забрала, — как эхо, повторил кучеренок со вздохом. У него самого матери не было, и ему, случись беда, милосердия ждать было неоткуда.

Наконец, вытерев фартуком слезы и высморкав-

шись, стряпуха решительно сказала: «Будь что будет! Сама отведу ее. Только ты помалкивай. Слышишь?»

Когда в доме все затихло, стряпуха полезла на лежанку.

— Донюшка, очнись-ка, милая, открой глазки, это я. — Прохладной ладонью гладила Грунин лоб, тихонько тормошила. — Очнись, мила дочь, домой собираться надо, к маме. — Груня невнятно вскрикивала, отталкивала ее руки, не понимая, кто перед нею, чего от нее хотят.

— Эка беда с тобой, — вздохнула стряпуха, — знать, идти придется, сюда звать Катерину...

Неслышно вышла во двор и пошла, крадучись, будто уносила из дома не известие о расправе над девчонкой, а хозяйское добро. В темноте двора глухо ворчал пес. Его что-то беспокоило.

Стряпуха прицикнула на него, но, едва переступив порог калитки, замерла на месте. С уличной стороны у самых ворот, почти неразличимо прижавшись к ним, стоял человек.

— Ктой-то здесь? — сдавленно спросила стряпуха. Человек еще теснее прижался к воротам, стараясь как бы слиться с ними. Потом вдруг рванулся, бросил что-то на землю и помчался вдоль улицы.

— А-а-а-й, — заверещала, уже позабыв о страхе перед хозяевами, стряпуха. То, что бросил стоявший у ворот, было живым, двигалось! Оно подкатилось прямо ей под ноги, больно стукнуло и облило чем-то густым и липким. — Ай-а-й!

На крик никто не вышел. Слишком много в эти сутки было криков по селу.

«Оно» больше не шевелилось. Остро запахло дегтем. Превозмогая страх, Ефимья наклонилась и рукой нащупала... обыкновенный глиняный горшок с отбитым краем. Из него вытекали остатки дегтя...

Костя бежал от поклоновских ворот, что было сил. Слышал только свое шумное дыхание и стук пяток по дороге. Но вот стали слышны еще какие-то звуки, будто чей-то разговор. Костя резко остановился. Бежать обратно? Но громкий разговор слышен уж совсем близко, за углом... Костя с ходу упал в густые лопухи под чьим-то забором и затаился. Кто бы это мог быть так поздно? Кто бы ни был — показаться на глаза сейчас здесь, невдалеке от вымазанных дегтем ворот, ни перед кем нельзя...

Отец, небось, думает, что Костя далеко от Поречного, и знать не знает, что он лежит в лопухах и по глупой своей неосторожности может попасть в беду, не исполнив главного, зачем послан.

Из-за угла вышли трое мужчин. Один остановился совсем близко от Кости. Зашелестела трава.

«Черт!» — мысленно выругался Костя. Над отставшим подтрунивали спутники. Голоса были незнакомые. Слышалось позвякивание шпор, бряцнула перехваченная поудобнее винтовка. «Каратели! — с ужасом понял Костя. — Если заметят сейчас — все! Не бывать ему у Игната Гомозова в отряде, не узнают партизаны, как их ждет село Поречное...»

Отставший торопливо заторопал, догоняя остальных. Голоса стали удаляться.

Костя, осторожно крадучись вдоль забора, выбрался к огородам, затем — к речке. Разделся в кустах. Темная вода охватила холодом его разгоряченное тело. Подгребая одной рукой, а в другой высоко поднимая узелок с одеждой, стремительно поплыл к противоположному берегу.

В середине ночи сонное оцепенение стало налипать на веки, повисать на ногах пудовыми гирями. Но наказ отца и собственное тревожное нетерпение подгоняли вперед, и он шагал, не останавливаясь.

К утру дошел до опушки бора, о котором говорил отец. Сонная хмарь стала рассеиваться, как тот туман, что поднимался с низинок и клочьями, прядями плыл в воздухе, все выше и выше, пока совсем не растаивал.

Костя с любопытством оглядывался вокруг. Вот так, на восходе солнца ему редко приходилось бывать в настоящем большом бору. Этот бор — высокий и чистый. Только поверху сосны распластали свои широкие кроны, а здесь, среди прямых желтых стволов, пустовато, просторно. В редком боровом подлеске, в прижавшихся к хвойному подстилу травянистых кустиках черники, костяники, еще густится сумрак, но в прогалины между неплотно сомкнувшимися кронами уже врываются сияющие потоки света. Пробиваясь сквозь хвойные иглы, они дробятся на стрелчатые лучи и колеблются, как твердые, туго натянутые от земли к небу струны.

Лес наполнен уже по-осеннему негромким птичьим пересвистом, шелестом крыльев, каким-то цоканьем, стрекотаньем и еще непонятными звуками. Кажется, это играют те солнечные струны.

Любуясь красотой, которая ему открылась, вдыхая вкусный запах хвои и грибов, Костя шел все так же ходко, но сам становился спокойнее. Огонь, что жег ему душу вчера весь день и подгонял ночью, как-то поутих в ясном покое этого осеннего утра.

Чем глубже в лес, тем сырее, чаще стали появляться трепещущие в безветрии осинки, алеющий крупными лаковыми каплями ягод шиповник, пожухлая крушина. Из-за ствола толстой сосны вышел и преградил ему дорогу охотник с двустволкой в руке. Несколько мгновений оба молча смотрели друг на друга. Костя успел рассмотреть по-военному статную фигуру охотника, смоляные усы, завитые на концах колечками.

— Тебя куда несет? — грубо спросил усатый.

— А тебе чё?

Усатый не спеша поднял ружье.

— А ну, повертай назад.

— Дак лес-то твой, чё ли?

Охотник молчал.

— Твой, чё ли, лес, спрашиваю?..

Костя злился на неожиданную преграду, но и напролом пойти не мог: охотник ружья не опускал. Вдруг мелькнула догадка, показалось все просто и понятно.

— Погоди, не пугай, — заговорил теперь Костя уверенно. — Я ведь, небось, к вам и иду-то.

— К кому это, к нам?

— Не знаешь? Зачем тогда дорогу загораживаешь?

— А ты что за спрос? Не велю, и не пойдешь. Ходят, дичь пугают. Повертай!

— Мне спешно надо, — тихо, но с упорством проговорил Костя, исподлобья глядя на охотника.

— Куда ж тебе спешно?

«Прикидывается или вправду не знает ничего?» — думает Костя. Решив, что вернее всего будет обойти упряма, сворачивает в сторону и только потом кричит в ответ:

— На кудыкину гору-у!

Через несколько шагов убеждается, что туда, куда свернул, идти нельзя. Там нет никакой дороги. Молодой сосенник так густо переплел лапы, что сквозь него продерешься разве только с топором. Да и куда продираться? В темь, в паутину? Отец говорил — все по тропке иди, тропка выведет...

Пришлось возвращаться, обходить охотника с другой стороны. Но здесь очень скоро под ногами пошла сырина, зачавкало, и обманно ярко зазеленела слишком свежая для этого времени года травка, не

смятая ни единым следочком. Болото. Костя понял, что иного пути, чем тропка, которой шел раньше, нету. И, значит, человек, охраняющий ее, точно не охотник, а дозорный. Но как ему объяснить, что Костя свой? Прийти и так прямо брякнуть: меня, мол, отец послал в партизанский отряд! А если он дозорный, да только не от партизан, а еще от кого-нибудь? Сразу попасться можно, а тем паче отца подвести. Что делать? Костя тревожно огляделся. Эх, была не была. Больше не скрываясь, нарочно хрустя сучьями, Костя пошел прямо на дозорного.

— Опять ты?

— Пропусти, меня, дядь. Мне от отца попадет, ежели долго мешкать буду. Отец-то мой коновал. Лечил недавно телку у знакомого корневского мужика Игната Васильевича. — Костя внимательно следил за лицом дозорного, но так и не понял: насторожился ли тот при имени Игната Васильевича или ему только показалось. — Теперь послал меня проведать, не надо ли чего, как телка, а я и побежал через бор напрямиком. Так-то в Корнево куда ближе.

— Хитро чего-то плетешь, паря. Но коновала вроде знаю. Такой высокий, тонкий, из себя белый, на левой руке двух пальцев не хватает, ага?

— Да вы что? Целы у него руки и ноги. Все пальцы. И сам никакой не высокий да худой, а такой, — Костя показал руками возле своих плеч, — только много шире. И не белый. А еще говорит, знаю...

Дозорного почему-то не смутил Костин упрек. Наоборот, он усмехнулся и продолжал выпрашивать дальше.

— Ну, а Игнат ваш Василич чей же по фамилии? У меня в Корневе многие, почитай, дружки, а такого что-то не помню.

«Свой! — думает Костя. — Свой. Выпытывает прежде, чем в отряд пропустить. Таиться нечего!»

— Гомозов он, Игнат Васильевич, председатель совета Пореченского, вот кто!

— И-и, хватился, паря, — все с той же усмешкой — не поймешь злой или веселой, — проговорил охотник. — Председателей нонче нету. Были, а теперь нигде нет, и Гомозова никакого в Корневе нет.

Нет, недобрая усмешка на губах усатого. А глаза остро так смотрят, прямо Косте в душу. Врар! На какое-то мгновение все застывает в Косте. «Пропал... И, главное, про отца сказал беляку и про дядьку Игната...»

— Врешь! Врешь, сучья морда, — кричит Костя отчаянно, обеими руками схватясь за ружье дозорного. — Есть дядька Игнат, врешь ты!

В первый момент Косте почти удается вывернуть оружие из рук не ожидавшего нападения охотника. Но в следующую секунду, отброшенный сильной рукой, он шмякается на землю, вернее, на толстый подстил из опавшей хвои, а «охотник», снова крепко держа свою двустволку, улыбается ему:

— А ты здоров, молодец!

Далеко впереди, между сосен, показалась фигура еще одного человека. Дозорный легонько подтолкнул Костю:

— Лупи давай туда, как раз председателя найдешь, — и махнул тому, дальнему, рукой: принимай, мол.

Нет, все вышло совсем не так, как представлял себе Костя, когда думал о встрече с партизанами и их командиром.

Первое, что он увидел на поляне, куда привел его второй дозорный, были... могилы. Холмики из свеженасыпанной, чуть заветрившейся земли. Рядом копали еще свежую яму. Костя видел, как из глуби-

ны две лопаты по очереди выбрасывали на поверхность желто-серую землю, глину с песком. Молодой парень с выбившимися из-под фуражки кольцами кудрей стоял над ямой и без видимого смысла отодвигал от края подальше выкопанную землю. Услышав шаги, парень вскинулся, схватился за лопату, собирался ею драться, но, узнав дозорного, отвернулся и принялся опять за свое дело.

Гомозова Костя увидел сидящим на завалине лесной избушки — омшаника. Прикрыв глаза и сосредоточенно нахмурив брови, тот подставлял бледное лицо теплым лучам солнца. Голова его была обмотана повязкой из холстины, кое-где в засохших бурых пятнах.

Командир открыл глаза и взглянул на шедших к нему молодого дозорного и Костю так, будто их приход совсем не касался его.

— Из Поречного парнишка, Игнат Василич, коновала Байкова сын.

— Вижу. Здравствуй, Костя. С чем хорошим к нам?..

Всю ночь торопливо шагая, Костя думал, как выполнит поручение отца. Как лихой командир взмахнет саблей перед строем конников и взвоятся кони, летя на помощь Поречному. Теперь, стоя перед дядькой Игнатом, он только выдохнул:

— Беда у нас, дядя Игнат.

Потом стал просто рассказывать, как час за часом развертывались события в Поречном, стараясь ничего не упустить.

Гомозов слушал, и брови его страдальчески сходились над широко поставленными желтыми глазами, лицо морщилось, как от сильной боли.

Рассказ Кости перебил подошедший молодой парень. Тот самый, что стоял над могилой.

— За попом я поеду, Игнат Василич.

— Иль очумел? — Гомозов глядел на парня снизу вверх, но так, что тот потупился, переступая с ноги на ногу. Потом, распалая сам себя, парень закричал, забирая все выше:

— Чего очумел? Такая последняя воля батина, чтоб с попом, по-честному хоронили! Должон, нет я похоронить батю как следоват? А не сюда попа, так батю домой повезу. Пусть тама отпоет. — Он остервенело сдернул шапку и кинул ее оземь. — Поеду!

— Надень шапку, всем-то пустоту не показывай, — спокойно сказал Гомозов. — Пойдем-ка со мной, если сам забыл или не смыслишь. — Он поднялся, хотя видно было, что ему нелегко ходить с пораненной головой. Костя — за ними. После яркого солнечного света показалось, что в избушке совсем темно. В нос ударил тяжелый запах трудного человеческого дыхания и нечистых ран.

Приглядевшись, Костя увидел человек восемь раненых, лежащих на земляных нарах. На привет Гомозова только один, в середине нар, ответил кивком. Остальные молча смотрели на командира. Иные плохо соображали, кто перед ними.

— Ну чё, ребята, — нарочито бодрым голосом не то спросил, не то сказал Гомозов, — держимся? Крепитесь, давайте. С часу на час фельдшера ждем из Корнева. Свой мужик, не выдаст. За ним поехали, лекарства привезут. Авось, скоро все поднимется беляков бить. Видал лазарет? — обратился Гомозов к парню, когда они вышли из землянки. — Или про них думать не желаешь? А ведь увозить их отсюда никак нельзя. В пути помрут! А ты — попал! Да поп твой этой же ночью эскадрон карателей приведет сюда. В село повезешь — сам рядом с батей в землю ляжешь. Не знаешь, как озверело кулачье да богатеи? Готовы в крови весь народ утопить. Понял? — Гомозов наклонился к парню, напряженно глядел на

него своими желтыми глазами и говорил тихо, как будто поверял сокровенное, то, что ему доподлинно известно, а ни парень, ни Костя, стоящий возле, знать еще не могли.

Но не помогут им ни оружие иностранное, ни офицерье с карателями, ни белочехи. Ничего не спасет, потому что народ поднимается и скоро поднимется весь, до одного человека. Вот парнишка пришел, — кивнул на Костю, — у них вчера каратели лютовали. Думаешь, за это в ноги кланяются? За вилы берутся да за косы после этого. Отряд наш пополнится. Прибудут люди хоть из той же Поречки, из других сел да деревень. И не наш один отряд действует. Соберемся с силами, так и без иностранного оружия к чертовой матери погоним белую сволочь. Духу не оставим. Вот тогда и можно будет воздать по чести всем защитникам народным. И живым и кто не дожил. А пока ничего нельзя. Пусть простит батя твой, вечная ему память.

Парень ушел, Гомозов, тяжело ступая, вернулся к завалинке и снова опустился на нее, показав сесть рядом и Косте.

— Отцу передай, сейчас не можно помочь Поречному. Вчера был бой, с настоящим войсковым отрядом сражались. Здорово потрепали нас. Надо вновь собраться с силами. За то, что вы людеи от смерти спасли, спасибо твоему отцу и тебе спасибо. Если узнаете, куда скрылся Арсентий, кузнец, передайте ему: очень нам нужен. Оружия, скажи, мало, а он пики ковать мастер.

Гомозов умолк. Молчал и Костя. Горе отряда — стонущие раненые в избушке, ряд молчаливых могил на поляне — тяжелым грузом легло на его сердце, а разуму все еще было трудно схватить, что эти люди, такие родные, совсем как пореченские мужики, и есть те самые лихие, грозные партизаны, которых боятся богатеи и даже белые войска вместе с белочехами. Наконец сказал осекающимся от волнения голосом:

— Меня возьмите к себе, дядя Игнат.

— Тебя-то? — переспросил командир после паузы. — Да ты и так наш. Чего тебя брать?

— В отряд, значит, а не так, что наш — и все. Вам люди нужны. А я бы не отстал, дядя Игнат, а?

— Не отстал-то бы, вернс. Видишь, как пригодился, молодец. Тебе сколько годов-то? Пятнадцатый? Четырнадцать, значит. Рослый, однако, не по летам. Да... — Гомозов опять умолк, на этот раз надолго. Казалось, он и забыл о Костиной просьбе. Но нет, снова продолжил, будто и не прерывал разговора: — Так вот, видишь, какое дело, ты ведь, и дома живя, можешь нам сильно пригодиться. Как сейчас вышло — кто бы людей упредил, если бы не ты? То-то. Нам в селах свои уши-глаза вот как нужны. Разведчики. Согласен, что ли, разведчиком быть?

— Со... Со-о-гласен, — протянул Костя неуверенно, соображая, всерьез ли ему дается такое звание, или командир его за маленького считает и морочит, лишь бы в отряд не взять.

Отсылая Костю поесть и отдохнуть с дороги, командир сказал:

— Поклонову его душегубства не спустим. Силы не хватит сейчас ударить по врагам, так попробуем хитростью. Может, еще и ты, разведчик, сгодишься...

Когда Костя, отдохнув, отправился домой, его проводил давешний «охотник». А на самом деле это был Петр Савостьянович Петраков, дослужившийся в царских войсках до звания унтер-офицера, а теперь партизан, правая рука командира отряда. Косте он велел звать себя дядей Пётрой.

До этого они поговорили втроем: Игнат Васильевич, Петраков и Костя, — кое о чем условились.

На прощание дядя Пётра спросил:

— Хорошо меня запомнил? Смотри, запоминай хорошенько. Вот хоть по усам. А то одежда мало ли какая будет. И не спутай: приеду — про офицеров стану спрашивать, их называть буду карасями, а если про окуней-красноперок спрошу, значит, разговор о солдатах пошел. Не забудешь? Остальное, как договорились... Ну, прощай, паря. И себя, гляди, береги. Чтоб цел был и на мостике сидел. А не застану, как раз черту в зубы попаду. Понял?

— Да куда я денусь. Там буду.

— Отцу-то, Егору Михалычу, поклон передай. Скажешь, как я его расписал, что худой, белый да без пальцев.

— Скажу — смеяться будет. Проще-ва-айте-е!

Следующим утром Костя сидел, свесив ноги, на мостике перед въездом в Поречное и удил рыбу. На кукане трепыхалось только два чебачка, но рыбак не спешил переходить на более уловистое место. Он и на поплавок не обращал внимания. Тот подергался-подергался и, наконец, совсем нырнул, а рыболов все не догадывался выдернуть добычу. Он не мог отвести взгляда от берега. Еще два дня назад там стоял дом кузнеца и хорошо обстроенное подворье. Чуть пониже к реке — кузница. Теперь на месте дома курится грудка головешек да торчит обгорелая печь. Ветерок доносит едкий запах гари...

Костя то смотрел на пожарище, то ерзал, оглядывался, не покажется ли кто на дороге, ведущей в Поречное. Показалась телега, но ехала, наоборот, из Поречного. Несколько женщин в черных платках и два мужика сидели в ней. Это уезжали родственники, приезжавшие из Дяткова на похороны Мирона Колесова и его старой матери. Навстречу телеге в село прошла женщина. За спиной у нее курчавилась прихваченная веревкой огромная, как стог, охалка спелого гороха.

Все не то...

Потом бойко зазвенели бубенцы и, взметая облако пыли, стала приближаться бричка, запряженная сытыми конями. Блеснули на солнце золотые погоны. Костя весь сжался, втянул голову в плечи, поправил на кукане свой жалкий улов. Лучше всего было бы прыгнуть под мост и не маячить на глазах у офицера. Но ему приказано никуда не отлучаться...

Тройка замедлила бег и, поравнявшись с Костей, приостановилась.

— Эй, рыбак, хорошо ли ловится?

Костя вздрогнул, услышав знакомый голос, и встал. На тройке ехали кучер в сермяге и два офицера. Один из них, статный поручик в добротном мундире и блестящих погонах, топорщил в улыбке знакомые черные усы, завитые на концах колечками. От изумления Костя не мог выговорить ни слова.

— Хорошо ли ловится, спрашиваю?

— Эх, и ловко! — от души воскликнул Костя, имея в виду необычайное превращение своего знакомого. Но тут же спохватился и зачастил: — Нет! То есть вовсе худо! Карася золотого ни одного не осталось. В реке, значит! А окуни-красноперки все чисто убрались еще вчера вечером. Можете смело ехать!

— Чего вякаешь? — сурово прикрикнул офицер и оглянулся. Поблизости никого не было. Офицер наклонился, будто чтоб рассмотреть пойманных Костей рыбок, и сказал очень тихо: — Услышал бы тебя сейчас кто чужой, всем нам был бы конец. Соображаешь, нет, что говоришь? Про самого что скажешь? Отвечай по форме.

— Налим под своей корягой сидит, даже уса не кажет, ваше благородие! — громко отчеканил Костя.

Казалось бы, это совсем не ответ на заданный вопрос, но офицер улыбнулся и одобрительно хмыкнул:

— Ну-ну! — Потом спросил, указывая на берег: — А это чье же погорелое?

— Арсентия-кузнеца усадьба.

Они помолчали. На дороге показался какой-то человек. Офицер, с трудом отведя взгляд от пожарища, выпрямился на сиденье и громко, с пренебрежением в голосе спросил:

— Эй, ты, к Поклонову Акинфию Петровичу как прямее проехать?

— Да вот, ваше благородие: сейчас поедете прямо на взгорок, потом свернете налево, тут и будет. Самый большой дом. А ворота вчера только покрасили. Смотрите, не замажьте!

— Болтай!.. Поехали!

Кучер тронул лошадей. Костя посидел еще немного, взял прутик с двумя чебачками и швырнул в реку.

— Дочушка?

— Ничего, мама.

— Сказала вроде что-то?

— Ничего. Больно...

И опять молчание. Позвякивают спицы в руках Катерины, доносится с улицы голос младшей дочки, загоняющей козу.

— Мам... Не воровала я. Не верь им...

— Что ты, Грунюшка! И зачем я только отдавала тебя в этот проклятый дом? Ведь они злодеи, душегубы! Кабы знато было... Пропади же они пропадом, разрази же их громом, и дом и скотину... — Голос матери стихает. Она продолжает посылать проклятия ненавистным мучителям, но шепотом, чтоб не будить дочку, которая, сказав два слова, так устала, что опять, кажется, начала засыпать. Сама Катерина тоже уже две ночи почти без сна. Первую провела на улице под чужим забором, а вторую хоть и у себя в хатенке, а глаз сомкнуть не могла.

Было так. Когда поклоновская стряпка Ефимья, отдышавшись от страха после того, как Костя кинул ей под ноги горшок с дегтем, все-таки прибежала к Катерине сказать про Груню, Катерина подхватила сразу же идти к Поклоновым забирать дочку домой. Стряпуха строго приказывала не делать этого. «Ночью девчонке все равно никто не сделает никакого вреда. Спят все, — говорила она. — А придешь, тебя и спросят: откуда, мол, узнала. За меня примутся. Ты уж лучше утром...»

Мать, проводивши ее, не утерпела, все-таки отправилась вслед. Однако стучаться в калитку не решилась, а уселась неподалеку, напротив, на сухую травку под забором. Всю ночь вглядывалась, вслушивалась, вздрагивала от каждого скрипа, от стука лошадиного копыта, боялась пропустить минуту, какую, не знала сама. А когда рассвело, увидела то, чего ночью увидеть не могла: ворота Поклоновых, будто здесь жила бессовестная девка, были вымазаны дегтем. Да не просто попятнаны: дегтем были написаны какие-то слова!

Катерина быстрехонько отошла подальше, чтоб не быть первой в столь скандальном деле.

Вскоре на улице показался старик Алексеев, сосед Поклоновых. Увидел — бегом вернулся домой. Выскочили алексеевские бабы. Шел мимо Кольчуганов Аникей по прозвищу Скула, вел куда-то лошадь, тоже остановился. Собрались кучкой около ворот, удивлялись, прицокивали языками, ахали. Катерина осмелела, подошла поближе. Старик Алексеев прочитал, что было написано.

— Не может этого быть! — громко возразил Ску-

ла. — Сроду не поверю. Это все ж таки надо подлецом быть, чтобы нарочно их звать...

— Дак, может, и поклеп возведен, а может, правда, кто ё знат. Ну, написано точно про это. Тут уж невелика грамота надобна прочитать. Вишь, здесь выведено: «Гад, привел солда». Надо бы на конце еще «твердо» поставить. Вышло бы: «Гад, привел солдат». А здесь вместо «твердо», вишь, книзу потек пошел.

— Пошли-ка и мы, деда, пока целы. Солдаты-то вот они, недалече.

Скула повел дальше свою лошадь, а старик засеменил рядом с ним, продолжая начатый разговор.

Бабы остались. Тарачились на ворота. Ахали перед открывшейся подлостью Поклонова.

На шум из калитки выскочил Федька. Зыркнул туда, куда смотрели все. В каком-то недоумении провел рукой по черным полосам, пальцы вымазались дегтем. Ни на кого не глядя, вернулся во двор, а через мгновение выскочил снова с оглоблей в руках. Бабы отбрызнули в разные стороны. Вслед им низко над землей просвистела оглобля.

Страшно было Катерине входить в этот двор, но страх за дочку был сильнее. Она вошла. Возле крыльца стояли сам Поклонов, его жена и все работники. Обсуждали случившееся.

Хозяин зловеще уставился на Катерину.

— Дак ведь это я, Акинфий Петрович, — неожиданно живо, но со страхом в голосе затараторила стряпуха Ефимья, — я, небось, и спугнула идола-то ночью...

Хозяин резко повернулся к стряпухе. Благодарная ей Катерина и догадаться не могла, что та отвлекла хозяина только потому, что боялась, как бы она, Катерина, нечаянно не сболтнула про ночной стряпухин приход.

— ...Небось, его и спугнула, только не разобрала, чего он делал у ворот. Сразу было не смекнуть. Ночью проснулась, слышу, чтой-то пес заурчал. Думаю, посмотреть надоть, кто там, с добром или с худом. Я за двор-то выглянула, а там здоровенный мужичище к воротам так и прилип!

Стряпуха сама увлеклась своим рассказом. Страх в ее голосе больше не было, наоборот, она вошла в роль и как бы разыгрывала то, что произошло ночью.

— К воротам-то, говорю, так и прилип... Я как топну на него: «Ты, мол, чего, идол, делаешь?!» Он тогда горшок-то с дегтем ка-ак бросит в меня, мало не убил, да и ну бежать. Туды побежал, вниз к кузнице. Кабы мне-то вдогад, я бы весь дом подняла. Ну, так хоть спугнула его, отогнала и то ладно...

— Слышь, отец, к кузнице побежал, — подхватила хозяйка. — Сам кузнец, варначище, и напакостил, больше некому. Что ж ты стоишь? Бечь надо к офицерам. Пусть поймают, раз порядки приехали наводить. Я бы его, врага, сама на кусочки разодрала.

— Кузнец, говоришь?

Лицо старого Поклонова странно изменилось. Катерине, как и накануне, показалось, что оно внезапно обернулось ощеренной звериной мордой, и, странно, в глазах этого зверя она заметила страх.

Теперь, когда все это осталось позади, когда Катерина едва не на руках принесла дочку и уж день, и ночь, и еще полдня бессонно сидит дома у постели стонущей в жару Груни, шепотом посылая проклятия на голову ее мучителей, все видится ей недавнее пережитое: и оглобля в руках Федьки, и оскаленная морда его отца, и короткая, как удар, надпись дегтем на воротах: «Гад, привел солда...»

Груня уснула. Теперь можно и отойти от нее, приняться за дела, которые скопились за эти лихие двое

суток. Но сделать этого Катерине не пришлось: нежданно-негаданно в дом пожаловала гостья — все та же поклоновская стряпуха Ефимья. На плечах шаль, под шалью спрятан узелок с гостинцами. Развязывает узелок, а сама болтает, болтает.

— Нашего-то хозяина с собой припросили офицера. Посадили рядом в бричку и повезли, — сыплет скороговоркой Ефимья. — Пра слово, повезли хозяйина. Да не энти, которые здесь с солдатами лютовали. Энти-то еще вечор уехали. А сегодня, гляжу, еще какие-то едут. Два офицера, с кучером, на тройке, да сворачивают прямо к нашему двору. Хозяин как увидал, так было весь побелел. Не то испугался, не то что. А как они въехали да стали его нахваливать, так он прямо тут и растаять готов. Особенно один нахваливал. Из себя видный такой, высокий, и усы эдак завитые на концах колечками. Сама-то наша грибков им нести велит, и яичницу жарить, и того, и сего, а они даже за стол садиться не стали. Уехали, и его с собой. Ну, угощение-то осталось, я похватила кое-чего. На-ка вот, приberi, тут сметанка в горшочке, окорока кусочек — может, она чего съест.

— Может, это и съест... А то ничего не хочет. — Катерина со вздохом взяла узелок. Не радовал ее ворованный гостинец из проклятого дома.

Ефимья покачивала головой, сочувственно вздыхала:

— Вишь, как оно. Не зря говорится: ешь, пока рот свеж, а завянет, ни на что не глянет...

Ефимьиных гостинцев Груня есть не стала. Но попозже все-таки запросила еды, да такой, какой сроду в доме Терентьевых не водилось.

— Мам, меду...

— Чего, чего? — переспросила, думая, что ослышалась, Катерина.

— Ме-еду... Хоть бы разочек попробовать, какой... Все говорят: мед, мед...

— Дочушка! Схожу. У кого ни у кого выпрошу.

Чтоб не подсадовали на нее, что много просит, пошла мать за медом для дочки не с чашкой, не с миской. Ложку деревянную взяла. К кому пойти? К соседям — такая же голь перекатная, как сама Катерина... Постояла, подумала и пошла с ложкой в руках к аккуратному, с белыми занавесками дому коновала Байкова.

Она не ошиблась. Хозяйка байковского дома выслушала ее с вниманием и участием, всплакнула над ее горемычной судьбой. А сын Агафьи Федоровны, тот, как увидел Катерину, так и не отошел. Пока она рассказывала, он то бледнел, то краснел до слез в глазах, то вскакивал с лавки, будто его самого несправедливо позорили да били. Потом, не в силах больше слушать, крикнул:

— Врут они все про воровство. Не за это они ее...

— Знаешь, что ли? — спросила мать.

— Откуда знаю? Только не возьмет Груня...

Костя вызвался быстренько, пока тетка Катерина у них посидит, сбежать, отнести Груне кружечку меду, которую налила мать.

— Груня, Грунь, слышишь, что ли, это я, Костя. Меду принес...

Какие черные круги под глазами на белом-белом Грунином лице, какие синяки у висков, каким остереньким стал подбородок...

— Слышишь, Грунь, ты меду просила. Накось, лизни маленько...

Груня с усилием подняла веки. Взгляд ее не выразил удивления при виде Кости. Лизнула ложку с медом и закривилась:

— Щипучий он... не хочу...

Потом полежала с закрытыми глазами. Что-то важное она должна была ему сказать? Вспомнила!

— Ты не думай, я им ничего... Они ничего не пытались...

Глава VI

Дорога петляет среди сжатых полей; то и дело кидается в сторону, обегает невидимое препятствие, то опять выравнивается, а по бокам все одно и то же: поля, межи, снова поля. То чернеет поднятая под зябь земля, то слабой еще зеленью заливает полосу озимь. Иногда к самой дороге выбегут два-три деревца, несколько кустиков. Колок не колок, а летом — все тень. Сейчас тень не нужна, не жарко. Косте хорошо ехать одному на своем Танцоре, думать про разное.

Солнце скатывалось на край неба, когда он подъехал к большому березовому колку. Дорога тут круто изгибается, обегает рощицу и уж потом, никуда не сворачивая, напрямик бежит в Поречное. Костя придержал коня.

Вот здесь, говорят, нашли убитым старого Поклонова вечером того дня, когда за ним заезжали «офицеры». И записку: «По приговору революционного суда...».

Значит, здесь и был суд. И казнь здесь. Костя задумался, глядя на березы, принявшие от заката теплый цвет топленого молока, на небо сквозь них, все рябенькое, почерканное мелкими штрихами верхушечных веток и редкими дрожащими крапинками не успевших облететь листочков.

Косте явственно представился тихий, теплый полдень. Сюда со стороны Поречного подъезжает тройка, в бричке дядя Пётра с товарищем, оба в золотых погонах, «кучер» и напыженный от гордости Поклонов. Останавливаются на затененном повороте, на краю лесочка, сходят с брички. Дядя Пётра читает приговор и потом вынимает саблю...

Внезапно непонятный ужас охватил Костю. Он не хотел представлять, что было дальше. Резко дернул поводом так, что уздечка рванула губы коню, толкнулся о слишком близко стоящую березку. Та качнулась и сыпанула на Костю семенами. Но пока они, легонькие, достигали земли, его на этом месте уже не было. Костя погонял коня, чтобы скорей ускакать подальше. Он не смел оглянуться, как будто в роще все еще оставалось то пугающее, о чем даже думать было страшно.

Костя тоскливо вздохнул. Но тут же рассердился на себя: пожалел бешеного волка! А он людей жалел? Колесова? Груню сам чуть не до смерти! Гад! За Груню их всех так же бы надо!

Ожесточенно сплюнул и сердито оглянулся на рощу, оставшуюся позади. Березы покачивали безлиственными макушками, темными на фоне рдеющего заката.

Потом они вместе со Степкой, которого Костя встретил на улице, шли к Костиному дому, ведя за собой Танцора. У Кости на языке так и вертелся вопрос, что нового случилось в селе, пока его дома не было. Но не спрашивал: боялся услышать страшное о Груне. Вдруг ему, когда он был у нее в последний раз, только показалось, что ей лучше стало, вдруг...

Но, по-видимому, ничего худого не случилось, Степа бы сразу сказал. А то болтает о том о сем.

Внезапно Степа резко останавливается. Он вспомнил о чем-то очень важном.

— Ты, Костя, завтра дома будешь или сразу уедешь?

— Так сказал же, завтра поутру выеду. Как пораньше.

— Кабы мне с тобой можно было. Я б лучше с тобой уехал. Завтра ж партизан казнить будут. Еще смотреть заставят. Не хочу я.

— Каких партизан? Кто казнить?

— Так ты ничего не знаешь? От я дурной! Споймали ж таки троих. Гляди, не самых ли главных. А я-то — трень-брень про всякое, а про такое сразу не рассказал. Думал, про это уже все знают...

— Так я ж на заимке был.

— Ну, так слушай. Подмел я сегодня утром в сборне. Все честь честью, убрался, выхожу, чтоб, значит, домой идти. А тут солдаты, ведут кого-то, связанных. А народу на улице — ни души, как перемерли все. Боятся же солдат, научены. Ну, и я себе, назад пятки да в сборню, на крыльцо. Не скумекал того, что и они, может, туда же прутся. Гляжу, из переулочка выходит тетка Матрена Поклонова... Из церкви, что ли, шла, в черном платке. Идет себе, ничего, только зырк — узнала кого-то. «Живой, живой!» — это она закричала, да как кинется прямо к солдатам. «Как же вы, — кричит, — ваше благородие, мужа-то моего бросили, а сами живы остались?»

Те маленько приостановились. Я даже бояться перестал, подошел поближе послушать. А она со старшим у солдат, с унтером, разбирается. Зачем, говорит, вы их связали, ведь это офицеры. Я, говорит, точно свидетельствую, вот этот усатый лично у нас был. Тут, говорит, какая-то ошибка. А сама усатому: «Сейчас вас отпустят, и вы пожалуйста ко мне, расскажете, как чего было»...

Но унтер отпускать усатого не стал. Пришли к сборне, этих, связанных, сразу в холодную. Тетка Матрена тогда на унтера. «Вы знаете, — говорит, — кто я такая! Поклоновых богатство по всей губернии знают, а может, и дальше!» Ну, унтер и давай ей рассказывать, а я здесь же стою, слышу. «Никакой, — говорит, — это не офицер, а самый что ни на есть партизан. А коли он у вас в доме был и мужа увез, так на тот свет и привез».

Значит, партизаны на лесничество налетели. Какие-то бумаги на порубщиков-штрафников, что ли, забрали. А солдаты с унтером невдалеке проезжали, услышали. Завязался бой. Солдаты-то все при оружии, а партизаны — кто с чем. Ну и вышло: кто из партизан убежал, кого намертво уложили, а этого усатого — он начальником у них был — еще с двумя удалось живыми взять... Ты бы видел, Коська, что тетка Матрена выделять начала. На унтера кидается: «Отоприте, — кричит, — я его сама задушу. Решай его сразу, при мне, — кричит, — а то я самому большому начальнику пожалуюсь, что ты разбойникам мирволишь. Я, — говорит, — куда хошь пойду. У меня казны хватит!» Унтер, видать, маленько ее забоялся. Тут уж народ собираться начал, а тетка Матрена...

— Какая она тетка! Душегубица, не лучше своего мужа, — перебил Косю.

— Я тебе рассказываю, как было. Утихомирилась она на том, что партизан отсюда никуда гнать не будут, а послали в волость за офицером, не захочет ли, мол, он чего выпытать у пойманных, раз это вон какие птицы. А тогда уж либо дальше их погонят, либо прямо здесь казнят, чтоб все видали. Наверняка, что здесь кончат.

— Дядя Пётра! — сорвалось с Костиных губ.

— Кто это Пётра?

— Это поговорка у меня в последнее время такая сделалась. Чуть что, я сразу: «Ох ты, дядя Пётра!» Костя зашагал дальше, молча, угрюмо глядя себе под ноги.

Степа проводил Костю до самого двора, и здесь, когда поставили Танцора в конюшню, Костя с непривычной робостью обратился к Степе:

— Что хочу спросить у тебя, Степа... Степ, дай ключи от сборни.

— Ключ-ключ-чи?! — Степка лоперхнулся. — Ты в разуме?

Костя молча смотрел на него в упор, и Степа, будто глухому, повторил:

— Ты в разуме? Там же часовой...

— Ну и что, часовой. Были бы ключи.

— А-га-а... О! — Похоже, Степа даже обрадовался тому, что вспомнил. — О, так ключи ж унтер взял, а ты у меня спрашиваешь. Я ж тебе сразу сказал: у унтера они. Откуда ж у меня?

— У вас запасный дома был. Помнишь, мы однава открывали, когда твой батка куда-то с ключами уехал.

— И тем ключом ты бы что сделал? Часовой же с ружьем, дура! Игрушки тебе? Знаешь, что за это было бы? Какой нашелся, за чужого дядю... — Степа даже отодвинулся от Кости, отсел подальше на метенном полу сарая.

Костя растерялся. С того момента, как он услышал про арестованных, у него была только одна мысль: как их освободить? Как? То, что кому-то, например, Степе, надо еще доказывать, что это нужно, Косте и в голову не приходило.

— Думаешь, мне не жалко? — снова затянул Степа. — Я тебе сам говорил, куда бы нибудь деться, чтобы утром смотреть не заставили на казнь. Тогда, после дяди Мирона, три ночи спать не мог, аж кричал.

— Говоришь, «за чужого дядю». Но это же партизаны, они за бедных. Мир хижинам, война дворцам — забыл? Ленина же слова! — пытался Костя втолковать Степке такое простое и понятное, чего тот почему-то никак не понимал.

— А кто им велел Поклонова убивать?

— Через него каратели в село приходили. Он позвал.

— Ключа запасного давно нет, а хоша бы и тут был, — Степка показал на раскрытую ладонь, — и то бы не дал. Кабы ж там часового не было. А так... Они, солдаты, такую выручку покажут... Ты думаешь, мне не жалко этих дядек? Мне всех жалко. Я еще с Украины перепуганный. А сегодня аж молился, чтоб их здесь не казнили, увезли куда, хоть в волю. Ох, и страшно, Коська!

Это был все тот же Степка, что и раньше. Так же, как и раньше, в минуты волнения лицо его побледнело и сжалось в кулачок, и на нем, как крапинки на сорочьем яйце, густо обозначались такие знакомые конопушки. Глаза обостренно и быстро перебежали с предмета на предмет. Глаза Степы, о которых Костя не раз, смеясь, говорил, что они бегают, как исполошенные мышата... И все-таки перед Костей сидел совсем чужой парень. Лишь обличье Степкино. Теперь Костя думал только об одном: как бы не давать бывшему другу горячих и поскорее спроводить.

— Эх-ха, что-то сп-ать захотелось, — старательно зевая, сказал Костя. — Да ну их всех. Они, мужики, сами об себе не думали, а мы что — лацаны. Сей-час завалюсь спать, а завтра, чем свет, на заимку. И пропади они — и солдаты и партизаны.

Степка ушел. Костя с ненавистью смотрел ему вслед. «Хоть бы увезли, говорит. Хоть бы увезли и

там где-то измывались, что хотели делали над людьми, лишь бы он, перепуганный Степка, не видел. У-у, жаба!»

Но время идет, надо что-то делать. Срочно сообщить в отряд? А что, если партизан ночью увезут? Или дяди Пётра уже живого нет? Как же ехать в отряд, ничего не узнавши?

— Сынок, ты далеко? Горшок с кашей давно из печи вынутый, стынет.

— Я погуляю маленько, мама.

Пошел, гармонь через плечо. Надеюсь, с нею скорее пристанет кто-нибудь на улице, остановиться можно, покалякать, послушать...

На улице народу оказалось мало. Костя поймал удивленный взгляд встретившейся женщины, брошенный на его гармонь — не ко времени музыка. Впереди мелькнула знакомая фигура: Гараська Самарцев переходил улицу. Костя прибавил шагу, чтобы догнать, но заколебался и остановился в нерешительности: а ну как и Гараська заговорит так же, как Степка? Холодным, недобрим взглядом проводив товарища, Костя пошел дальше, напрямик к сборне.

Сколько раз позже, во времена более спокойные и счастливые, люди гораздо более взрослые, чем Костя, так же в трудные минуты своей жизни недобро и холодно отталкивали самых близких, тех, кто мог быть верным до самой смерти! Как осудить Костю, которому первая измена заслонила глаза?

В близком соседстве от сборни — дом целовальника. Широкое, зашарканное крыльцо выходит прямо на улицу. Костя уже прошел было мимо, как его окликнули. Обернулся — Ваньша! Бережно, боясь поскользнуться на ступеньках крыльца, он тащил полное ведро квашеной капусты.

— Костя! Это-ты, паря! Я тебя сколь не видал!

Ваньша широко улыбался, маленькие его глазки светились, он смешно тряс в воздухе ведром, не зная, то ли поставить его на землю, чтобы поздороваться с Костей, то ли нести дальше. Рассол сплэснулся Ваньше на штаны, остро пахнуло крепким духом свежепроквашенной капусты.

— Здорово! Куда это ты тащишь?

— Да солдаты стали у Сысовых. Капусты, вишь, им надо, а хозяева свою еще не рубили.

— Какие солдаты? — простодушно удивился Костя. — Я и не знал, что в селе у нас опять солдаты...

Ваньша, на этот раз прочно поставив ведро у ног, обстоятельно повторил то, что уже рассказал Степан. Он утром в окно увидел, как встретилась с конвоем Матрена Поклонова, и выскочил послушать. К тому, что уже Костя знал, Ваньша все-таки добавил кое-что: днем унтер с двумя солдатами еще раз приходил в сборню. И с ними был Федька Поклонов.

— Ох, и били они тех партизанов, ох, и били. Федька ка-ак развернется, ка-ак вдарит! Ну и здоров паря, что те бык Еремка! Уж его унтер еле оттащил. «А то, — говорит, — прикончишь, а еще офицер не приехал. До утра, — говорит, — обожди». Теперь-то уж и офицер прискакал. Конь под ним, знашь-ка, огненный — весь как есть рыжий, грива светлая, ну те, вся в косы заплетенная. У них стал офицер, у Поклоновых же.

Ваньшины глазки блестели одинаковым восторгом, когда он расписывал, как Федька мордовал дядю Пётра, и когда объяснял, как заплетена грива у офицерского коня. Костя слушал с глухой тоской, с трудом удерживаясь от того, чтобы не показать узкоголовому Ваньше свою собственную силу. Как можно равнодушнее протянул:

— Надо же, сколько делов! А я ничего не слышал.



Дай себе, думаю, похожу, давно ребят не видал. Взял вот гармошку...

— Слышь, Костя, обожди ты меня маленько. Я капусту снесу, а то каб не рассерчали, мигом вернусь, потом покажи ты мне играть. Вон ведь еще когда сулил поучить, когда еще я чинил ее.

Дом Сысоевых — первый от сборни. Вот рядом сборненское крыльцо, на нем часовой стоит, на винтовку, как на палку, опирается. Пока Ваньша со своим ведром скрывается в сысоевском доме, Костя ждет во дворе. Здесь около десятка лошадей на привязи. Пожилой солдат вместе со стариком Сысоевым носит им из амбара овес. Конюшня не закрыта — там тоже видны кони — у Сысоевых не столько.

Костя напряженно соображает: «Если смотаться к Игнату Васильевичу да к утру вернуться с подмогой, сколько этой подмоги надо? Целое войско. Ссл-

дат вон сколько. Да еще с офицером у Поклонных, небось, стоят. Не отбить будет дядю Пётра. Да еще, пожалуй, опоздаешь. Кто знает, когда это начнется... Могут пропасть. Пропасть могут. Пропасть».

Из дома выходит Ваньша, и за ним в распахнутую дверь вырываются пар, клубы табачного дыма, гомон многих мужских голосов.

— Давай здесь сядем, на лавочке, — предлагает Костя, выйдя за сысоевские ворота. — А то дома тебе заделье найдут, поиграть не дадут. Во, гляди, мехи растянешь, что слышишь? — Ры-ы-ы. А ты теперь прижми пальцами вот эти пуговики, клавишами называются, видишь?

Ваньшины пальцы послушно и ловко ложатся на нужные клавиши.

— Теперь слышишь разницу?

— Ты мне только укажи, котору когда толкать, я

не забуду,— говорит он.— Руки они, знаешь-ка, сами запомнят.— Застенчиво улыбаясь, Ваньша оглаживает гармонь.

А темнота вокруг сгущается. Часовой уже смутно виден на крыльце. «Пропасть могут. Пропасть...»

Снова и снова Костя вглядывается в темный сборный дом. Сколько раз бывал здесь, ночевать оставался со Степкой. А то, завозясь, бывало, начнут играючи запира́ть друг друга в холодную. Там когда-то еще окно было, но его уж давно заложили. Окошко небольшое есть сзади дома, с северной стороны. Если потихоньку это окошко высадить, влезть — так опять в большую половину сборни попадешь. Из нее надо сначала выйти в сени, через них — в холодную. А на обеих-то дверях со стороны сеней замки повешены. Опять ничего не выходит.

— Так, так, играй, Ваньша, пошибче. Привыкнешь, тогда сам будешь подбирать, на каких ладах играть веселую, на каких — печальную. Играй.— Перед глазами у Кости снова знакомая-презнакомая северная стена сборни, с маленьким окошком, пустырь за ней, заросший летом жирными лопухами и осотом. Под стеной — бревно с отопревшей корой, где сидели со Степаном последний раз, перед тем как на Украину ушли.

Бревно... В памяти ясно высветилось: когда сидели на бревне со Степкой, спинами прижимались к каменной, всегда немного холодящей стене фундамента, а затылками — к нижним венцам бревенчатой кладки. Волосы на затылках часто пачкались древесной трухой, она и за шиворот сыпалась. Дом был старый, венцы насквозь изъедены червем и сильно подгнили. А за это беспокойное время кто их, небось, чинил? А что, если... Что, если...

— Слушай-ка, Ваньша. Я домой пойду. Мамка велела кое-чего поделать, а я убежал. Ты не бойсь, играй, я те гармошку оставляю.

Костя мчится что есть духу к своему двору.

Нож, ломик короткий — это можно под рубаху спрятать. Топор вот еще может пригодиться, только топориче большое. Снять с топорича.

— Костя! Ну что за наказанье! То тебя дома нет, то не дозовешься. Скотине вода не напояна, мочи моей нету. Слышь, Костя, ведь я видела, ты во двор прошел!

Костя затаился в чулане — мама поищет, поищет да и перестанет.

Вот он снова у сборни, за северной ее стеной. Часовой шагает перед домом.

Но, чу! — кто-то не таясь, с громким хрустом ломает высокие стебли высохшего осота. На мгновение Косте кажется, сердце перестает биться. Он прикикает к земле. Совсем близко влажное дыхание, собачий запах. Да это Черныш — ничья, всем мальчишкам знакомая собака!

— Черныш, Чернышка! Прочь пошел, — шипит Костя.

Черныш прошумел сухим бурьяном и гавкнул на кого-то уже с другой стороны дома, может, и на часового...

Громко раздаются жесткие, несообразные звуки: это Ваньша мучает безответную Костину гармошку. Играй, Ваньша, играй, миленький, погромче, Косте пора приниматься за дело.

Вот знакомое бревно с отопревшей корой. Над ним, над фундаментом, Костя легко нащупывает рукой три гнилых венца. Труху из них можно выковыривать прямо пальцами. А если подвигать, не поддадутся ли целиком? Топор в щель — между первым и вторым венцом, под топор — ломик. Э-эх! Вся тяжесть Костиного тела, вся сила его мышц — на конец ломака. Но прогнила-то лишь небольшая

часть бревна, дальше крепко, вот и не поддается. Что, как и проковырять не удастся? Косте, по телу которого струйками сбегал пот, становится знобко от этой мысли.

Ножом, потом топором выкрашиваются заметные на ощупь кусочки. И корытце проковырено уже довольно глубоко, а все — мало. Еще кусочек, еще, еще. С размаху, обеими руками, почти забыв об осторожности, ударяет Костя острием топора в мякоть бревна, и... руки проваливаются в пустоту. Проковырял! Несколько мгновений он сидит и, улыбаясь в темноту, оглаживает руками неровные края дыры, как будто для того только сюда и пришел, чтоб ее проделать. Потом продолжает работать.

Когда отверстие делается достаточно широким, Костя засовывает за опояску свои инструменты и в последний раз оглядывается вокруг. Звезда дрожит на темном небе, внизу таинственно и враждебно шелестит сухой бурьян. «Ну!» — командует сам себе Костя и осторожно просовывает в отверстие ноги, потом втягивается под пол весь.

Выпрямиться здесь нельзя, стоять можно только на четвереньках. Пахнет застарелой сыростью и прелью. Костя ладонью попал в какую-то слизь. Тьфу! Темнота обжимает его со всех сторон. Кажется, что он не в просторном помещении под полом большого дома, а в узкой трубе: взгляд, как ни поворачивай голову, упирается в плотную темноту.

Осторожно, упираясь коленями и ладонями рук в прохладную сыроватую землю, он ползет, то и дело щупая, не вывалились ли из-за пояса инструменты, и стучаясь головой то о бревно перемета, то о доски. Рубаха несколько раз зацеплялась за что-то острое, слышно было, как рвется ситец, на спине горели царапины.

Наконец он дополз до угла. Теперь над его головой должна быть холодная. Костя прислушался. Никаких звуков ухо не уловило. Посидел немного, не двигаясь, — где-то близко от него заскреблась мышь. Еще послушал: тихо. Косте стало страшно: а вдруг дядю Пётру с товарищами убили? Почему никакого даже шороха оттуда не слышно? А вдруг ему самому тоже отсюда никогда не выйти? Навсегда останется в этой темноте, как в могиле?

Он тихонько тюкает ломиком по доскам над головой. Никакого отзвука. Еще тюкнул, два раза подряд, передохнул и опять два раза. Похоже, по половицам кто-то заходил, они заскрипели.

— Мужики! — громко сказал Костя. — Наставьте ухо сюда — стук ломиком, — вот сюда!

— Кто там? — донеслось глухо.

— Это я, Костя Байков. За вами пришел. Как-нибудь бы половицы поднять.

Молчание, потом глухой говор, смысла не понять.

— Вы углядите, какая половица послабже, и стукнете. Тут и поднимать стану. побыстрее надо.

Опять глухой говор, и наконец стук немного в стороне от того места, где сидит Костя.

Костя на ощупь находит толстый, шершавый гвоздь, рядом другой. Поддел — нож гнется, ломиком в темноте, согнувшись, никак нельзя. Пригодился топор. Нажал всем телом — гвоздь отогнулся. Упер полотно топора в острие гвоздя — тот, скрипя, с натугой стал понемногу проталкиваться кверху, пока острие не спряталось в доске.

— Зацепите хоть пальцами за шляпку гвоздя, а мне больше никак нельзя...

— У тебя нож есть? — донеслось в ответ.

— Есть, а что?

— Просунул бы в щель, у нас руки связаны.

Костя нашаривает место, где стыкаются половицы,

и в эту почти незаметную щель с усилием проталкивает лезвие ножа, прорезая годами спрессовавшуюся грязь. Деревянная рукоятка ножа, отличная рукоятка, которую на спор с ребятами сам ладил и украшал резным узором, в эту щель, как ни расширяй ее — никак не пролезает. С досадой прижал лезвие ногой, чтобы не отскочило, и рубанул — стукнул ломиком по обуху топора, наставленного острием на нож, у самой ручки... Потом он слушал, как кряхтели, перекачиваясь по полу тела, долго и натужно возились. Узникам пришлось босыми ногами на ощупь нашаривать нож, в темноте разрезать друг на друге веревки.

Дело сразу двинулось. Доска над Костиной головой зашевелилась, Костя, еще поднатужась, уперся в нее снизу плечами и поддал наверх, а потом в расширившуюся щель вытолкнул ломик. Им сразу же подважили половицу. Шесть сильных рук работали торопливо и споро, смертельная опасность подгоняла их.

Потом они сидели, скрючившись под полом, все четверо, делали короткую передышку.

— Держи, паря, струмент, а то по нему до тебя добраться недолго, — сказал незнакомый голос, и Костя снова засунул хорошо поработавшие топор, ломик и лезвие за опояску.

Дядя Петраков молчал. Он был сильнее других избит, с трудом дышал, с трудом сидел. А впереди был еще долгий и опасный путь.

Гуськом вслед за Костей они выбрались к тому месту, где в стене была проделана дыра, и откуда, как обещание свободы, доносился дразнящий свежей прохладой кисловато-терпкий запах увядших трав.

Мать досадовала. Да что ж такое с парнем? Вчера не помог ничего по хозяйству, убежал куда-то и сегодня — надо скотину поить, а он спит. Сроду таким неслухом не был. Заглянула в Костину комнатку. Сын не спал. Сидя на лавке, старательно чинил свою рубаху. Неумело, большими стежками стягивал выношенный ситчик суровой ниткой, такой толстой, что она только сильнее прорывала ветхую ткань.

— Это где ж тебе так помогло, а? Да разве на вас напасешься, ежели эдак рубахи рвать?

Костя низко наклонил голову над своей работой и молчал.

— Ну и чини сам, когда так! Получше запомнишь, что беречь надо одежду!

Отметила рассерженным взглядом непривычный беспорядок: штаны на Косте, залепленные на коленках глинистой грязью, ломик, почему-то лежащий у дверей, топор без топорща, нож с отломанной ручкой, и, размышляя над тем, что бы все это значило, вышла во двор — управляться со скотиной.

Мимо двора шла от колодца соседка тетка Марья с полными ведрами на коромысле и окликнула ее.

— Агаш! Здравствуй-ка! Слыхала, чего говорят? Новость-то слыхала, что ль? Партизаны-то, какие были в сборне, в холодной избе заперты, — они сбежали!

— Да ты что?!

— Верно! И хитро эдак. Мне сейчас рассказали. Пришел, слышь, утром за ними какой-то посланный солдат от офицера. Приходит — перед сборней часовой стоит, при ружье, все честь честью, дверзамки целы. Открывают сени: тихо, все хорошо, открывают холодную, — а там никого. Пусто. Одни веревки перерезанные валяются. Птицы-то из клетки под полом ушли. Половицу выломали. А на волю-то вышли с другой стороны дома, где пустырь, там в стене нижние венцы продолблены. И часовой, глухомань, ничего не слыхал. И еще говорят, что бревна-то долблены снаружи. Помогал им, слышь, кто-то.

— Все может быть... — с трудом проговорила Костина мать.

— Что ты, Агаша, как сбледнела? Худо тебе? — Тетка Марья сдернула с плеча коромысло. — Агаш?

— Обойдется, кума. С вечера что-то вот здесь, под грудью, схватило. Не продыхнуть. Ладно еще Костя домой приехал. То водой меня попоит, то дверь отворит — дышать вовсе не давало, душно было мне. — Агафья Федоровна очень похоже показывала, как ей вчера было. — Так до полуночи он все со мной, сынок, отваживался, спасибо ему, не отходил. Все возле меня. Теперь-то уж лучше. Надо быть, пройдет.

Тетка Марья пообещала зайти, проведать да по хозяйству помочь, а мать, спотыкаясь, пошла в дом. И все ей казалось, что под ноги попадают те предметы — топор без топорща, ломик, лезвие ножа, странным образом за ночь изорванная рубаха.

— Сынок... Сынок, давай рубаху я сама зачину, уберу. Ты чистую надень. И штаны оттрепли, люди-то увидят — срам, что подумают... — и умолкла, ожидая, что скажет сын. Но он не говорил ничего, набычился, по бокам рта заметны стали упрямые бугорки.

Мать больше не в силах таиться, заговорила часто-часто, с отчаянием, любовью и страхом за сына:

— И езжай, бога ради, из села побыстрее, сей же час, вертайся на заимку! Хлеб возьми черствый, какой есть. А это, — она показала на инструменты, — я сама спрячу, никто не найдет. Слышишь? А если встретишь кого, гсвори, «мать, мол, болела вчорась, я, мол, от нее не отходил никуда».

Костя порывисто взглянул на мать с удивлением и благодарностью.

Не успел собраться в отъезд, как прибежал Степка. Зашептал взволнованной скороговоркой:

— Слыхал про партизан?

— Ага.

— Офицер теперь кричит: «Из-под земли их найду!» Солдат по дворам послал. Федька грозит застрелить, как узнает, кто пособил им уйти. Тут не нашего с тобой ума нашлись люди, не то, что ты — «ключи», «ключи»...

— Да я просто так спросил вчера. Нам бы сроду и не суметь этакое сделать. Твоя была правда. Теперь уж, Степка, — тут Костя серьезно взглянул Степе в глаза, — теперь ты хоть никому не болтай про вчерашний разговор. А то еще потянут тебя, подумают, ты тем мужикам помогал, какие партизан выпускали, раз у тебя ключи...

— Что ты?! Никому не скажу!

(Окончание следует.)



**Игорь
Ринк**



Трубка друга

Полки эсэс под барабаны
Из утреннего полумрака
На нас, покачиваясь пьяно,
Пошли психической атакой.

Мы подпустили их поближе,
Чтоб открывать огонь вернее,
И вот медведем немец рыжий
Возник пред нашей траншеей.

Он, видно, был во взводе старшим,
От крика и от шнапса потный,
При всех крестах под грохот марша
Он лез на мушку беззаботно.

И не заметил я в запале,
Как он гранатой размахнулся,
А мы с тобою опоздали
Всего на два удара пульса...

Все разлетелось от удара,
И вдруг свинцовым стало тепло,
И только трубка — твой подарок —
Каким-то чудом уцелела.

Наверно, из судьбы матросской
Та трубка выделки старинной.
Посеребренная полоска
На мундштуке посередине.

Да надпись бисером по кругу,
Как в старой дедовской примете,
Мол, если куришь трубку друга,
То будешь долго жить на свете...

Пусть правит мир землей огромной,
Но нет для памяти отбоя,
Я трубку закурю и вспомню,
Что мы не встретимся с тобою.

И сквозь года неотвратимо
Который раз увижу снова
За голубым табачным дымом
Лицо врага, еще живого...

Вагон тяжелораненых

Артиллерийской подготовкой
В виски стучала тишина,
Но рядом не было винтовки,
Была атака не слышна.

Губами шевеля в тумане,
О чем-то говорит сосед,
Как будто на киноэкране
Кино идет, а звука нет.

Санэшелон идет за Волгу.
Мой забинтованный сосед
Мне написал, что ехать долго
И на веселье видов нет.

В окне мелькали деревеньки,
Огни всплывали вдалеке,
Я надписи читал на стенке
И на вагонном потолке.

Здесь раненый боец когда-то
Из Польши ехал без руки,
Старинному дружку-солдату
Поклон писали земляки.

И в карандашной паутине
На стершихся досках стены
Написано: «Сестрица Нина,
В вас полвагона влюблены!»

□ □ □

**Иосиф
Ржавский**



Политрук

Взрываясь в небе обгорелом,
Снаряды жесткий воздух жгли,
Когда под вражеским прицелом
Мы, окопавшись, залегли.
И думал я, ничто на свете
Нас от земли не оторвет,

Но политрук навстречу смерти
Поднялся, крикнул нам: «Вперед!»
И он упал... И посмотреть я
В его глаза в последний раз
Не смог. А он своею смертью
Меня от верной смерти спас.
И если в жизни мне порою
Дорога к цели нелегка,
Я вспоминаю поле боя
И моего политрука.

Звезды

Я не знаю, может, это небыль,
Но твердила бабка мне всегда,
Что с моим рождением на небе
Загорелась новая звезда.
Думал я — вот подрасту немного,
Отыщу ее когда-нибудь.
Но прошла военная дорога
Через сердце, словно Млечный Путь.
Как бы звезды ни были высоко,
Звезды эти, не смыкая глаз,
Смотрят, словно те, кто раньше срока
На земле израненной погас.
А когда сквозь голубую роздымь
Пронесется в небе пулей свет,
Это значит — умирают звезды,
Люди — нет.

Поверка

Наша жизнь не скроена по мерке.
Слишком трудно было нам порой.
Помню тех ребят, кто на поверке
В час победы в наш не встанет строй.
Кто шагал в боях к заветной цели
Вместе с нами, но дойти не смог,
Кто погиб и в земляной постели
Спит среди курганов и дорог.
И с тех пор, по воинской привычке,
Где бы ни был я в урочный час,
Слышу — старшина на перекличке
Поименно называет нас.



В ночи сияли надписи отвесно,
Вокзал заполнил людской поток.
Здесь каждому заранее известно,
Где кассы, ресторан и кипятком.

Опять брожу по старому перрону,
И к горлу подступает горький ком.
В кромешной мгле по одному лишь звону
Я знал, куда бежать за кипятком.

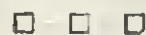
Мать

Как два крыла, взмахнули ставни,
Луч солнца вспыхнул на окне,
О чем-то близком и недавнем
Напомнив в это утро мне.

Я вспоминаю у порога,
Как были годы нележки.
На запыленную дорогу
Глядела мать из-под руки.

И уходить не захотела,
Ей не страшна была гроза.
Покуда здесь не проглядела
Свои бессонные глаза.

И вот к щекам моим горячим
Мать прикоснулась, чуть дыша.
И что не видно было зрячим,
Ее увидела душа.



Александр

Лесин



Ну, что ж, давай закурим по одной
Наедине с собой и тишиной,
Наедине вот с этим полем ровным,
Овеянным прозрачной синевою.
Присядь под иву и раскрой тетрадь —
Тут для стихов такая благодать!
Спеши и ты пейзажам среднерусским,
Как говорится, должное воздать.
Но что мне делать с памятью моей?
Не выключишь. Она меня сильней.
Она меня сейчас возьмет за горло,
И вновь сдавайся беспощадной, ей.
Она права. Забыть не сможешь ты,
Не сможешь резкой подвести черты
Всему, что было здесь, на поле этом, —
От прошлого не прячутся в кусты.
Сейчас в глазах померкнет синева,
Набухнет кровью сочная трава, —
И ты себя в сплошном огне увидишь...
Куда — от памяти! Она права.
Мы победили. Окна в мир открой!
Да, победили. Страшную ценой!
Во мне незаживающая рана —
Трагедия под Зайцевой горой.
Двенадцать тысяч нас пришло сюда.
В воронках до сих пор стоит вода.
Молчит вода, но я молчать не вправе —
Мне эту боль нести через года.

Павло
Мовчан



Воспоминание

Да, вновь сквозь след росла ромашка.
И пахла ярких ложек гроздь.
И вновь в кустах лепила пташка
гнездо, округлое, как горсть.
Исход зимы — он был законным,
законным лета был исток —
лишь в стужу на стекле оконном
под пальцем зачернел цветок.
И следом на парче блестящей,
на замороженном окне
вдруг рыцарь возникал, летящий
на белом, в яблоках, коне.
И меч свой обоюдоострый
над тем цветком он возвышал
и головы лишал так просто,
как будто имени лишал.
Звенело стремя звонким ладом
по глади белого стекла.
И резвый конь под детским взглядом
перелетал пустырь стола.
Кспытом в землю постучится —
родник проклюнется, сверкнув;
из чучела воскреснет птица,
чтоб промочить свой старый клюв.
И добрый рыцарь в светлом гневе
раздвинет обступивший лед,
и все во мне, как бы на древе,
зашелестит и зацветет.
И это будет продолжаться,
пока мороз не вступит в плоть,
и рыцарь мой, устав сражаться,
его не сможет побороть.
И в ложке ложку обнаружу,
в стекле — обычное стекло.
Ромашки вытопчут, но душу
ничуть не потревожит зло.
Лишь чучело, томясь от жажды,
летает ночью на окно.
Да ведь и то найду однажды,
что молью съедено оно.

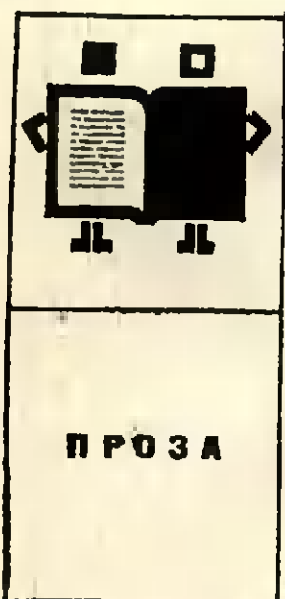


Автобиографическая глина

Простой кувшин от скифского огня,
нашедший плавность в древнем едком дыме,
взамен воды губами молодыми
ловил лишь пыль сентябрьского дня.
Какая уж торговля напоследок:
гончар почти раздаривал товар.
День, желтый, как лиса, и так и эдак
в кувшин свой нос совать не уставал.
Купив кувшин, не мог решить одно я:
не то мне лучше посадить в него,
как маковое, зернышко ночное,
не то — об землю, только и всего.
Но так как день и звучен был и зорек,
гудел, как бас от тонкого смычка,
я влез в кувшин, куда ни шум, ни шорох,
и затянул в нем песенку сверчка.
Когда ж набухли все ночные зерна,
то глина глазированного дна,
смотрю, врастает в плоть мою упорно,
и эту песню шепчет мне она.
И, как пчела, постигшая прекрасно
весь смысл цветов среди общих с ними дел,
я понял вдруг, как целесообразно
слиянье однородных душ и тел.
И пульс огня я ощутил вдруг тоже
в себе самом, как жар из-под золы,
и остроту орнамента на коже,
доставшегося глине от стрелы.
Так что ж, разбей кувшин — но вечно пламя!
И прежней формы все его дары,
вот разве что не стрелами — ножами
клеймо свое проставят гончары.

Осеннее

Осенние ливни слетают на луг у излучки реки.
Из нитей дождя пауки свою паутину сплетают.
Звеня, точно сеть из металла, за мной потянулась она
в сыр-бор. А в бору обитала неслыханная тишина.
Я ей наслаждался всю осень,
ныряя, как дерзкий пловец,
в большое спокойствие сосен.
И то ли лавровый венец,
терновую то ли корону
срывал. И далекому звону
внимал, словно грустная ветвь
в сбегающих каплях калины,
не зная, что держит ответ
за жизнь мою — нить паутины.
Злой зыбью дышала листва.
Калина, как якорь, блестела.
Так пахло, что ныло все тело,
что кругом пошла голова.
И, словно бурав древесину,
сознание пронзило всю плоть,
и вспомнил былую картину:
пчела устремилась на плод,
прорвав на лету паутину.
Что ж медленно, влажно, несмело
опять паутина звенела!..
Ах, если б обшарить леса
да ягоды с гроздьев калины
на тонкую нить паутины
все перенизывать! Но — слеза!
Но — ливень, купающий ветки, безмолвных дерев
костяки!
Но — капля, которую в сетке раскачивают пауки!
И, в этом глумленье почуяв, я, полон неведомых сил,
рванул паутину, и — чудо! — начавшийся ливень застыл!
Перевел Ю. РЯШЕНЦЕВ.



Рисунки Г. Пондопуло.

РЫЖИЙ ЧЕРТ

I

Серым якутским рассветом почтовый вертолет, захвативший меня из геологической партии, подлетал к крошечному селению из шести дворов, сиротливо жмущихся друг к другу среди буреломной тайги. Здесь мне предстояло получить продукты, встретить нового рабочего, скучавшего в поселке уже целую неделю, и рейсовым самолетом переправиться вместе с ним в партию.

Маленький «Антон» на лыжах уже поджидал меня внизу, на взлетной площадке; возле самолета замерла, наблюдая за нами, черная человеческая фигура.

Вертолет пошел на посадку и скоро повис над ровной снежной площадкой.

— Спустись по лестнице: снегу намело! — прокричал мне из кабины пилот.

Я закинул за плечи тощий рюкзак, распахнул дверцу и — запоздалое мальчишество! — прыгнул в воющий, словно мерзлыми ивовыми прутьями стегнувший по лицу вихрь.

Сугробы на площадке были выше колен, и опасался пилот не напрасно. Вертолет некоторое время еще повисел в воздухе, как бы удивляясь озорству здорового детины, потом с ревом стал набирать высоту.

Ко мне подбежал пилот «Антон», молодой парень в унтах, летном костюме и сдвинутом на затылок кожаном шлеме. Его брови и ресницы были в мохнатом инее.

— Послушай, это не телега. Сколько тебя можно ждать? — раздраженно спросил он.

Я с сомнением посмотрел на старый, облезлый «Антон». Он был похож на неказистую, в высшей степени измученную птицу, бессильно распластавшую по снегу крылья.

— Здесь ведь тебе не аэродром, а только кое-как приспособленная взлетная полоса. Честное слово, обратно на базу хотел лететь! — кипятился пилот.

— Ну, не переживай, старина, — сказал я. — Ведь я все-таки прилетел!

Странно, но столь сомнительный аргумент вроде бы несколько успокоил парня. Он пошел к машине, бросив на ходу короткое:

— Давай в темпе.

В полевых условиях Севера ненавидят бумажную волокиту. Оформление документов у якута-завскладом заняло всего лишь несколько минут.

— Можешь получать, — сказал он. — Помочь тебе погрузить?

— Спасибо, помощник есть, — поблагодарил я. — Новичок в юрте для приезжих остановился?

— А, это ваш... — догадался якут и чему-то улыбнулся. — Там, там остановился.

К юрте для приезжих я шел с любопытством и даже с волнением. Мне, как и всем в партии, далеко не безразлично было узнать, что за человек новичок. Здесь тайга; живем мы в одном-единственном тесном бараке; человек в экспедиции проявляется быстро, и важно, чтобы новичок в отряде оказался добрым товарищем, надежным другом.

Я остановился у крайней бревенчатой юрты с плоской крышей и пнул ногою обледенелую дверь.

За ночь горница успела остыть. Мороз узорами разрисовал моховые швы между венцов. На верхних нарах в сморщенном спальном мешке что-то кряхтело и посапывало.

Я подошел к нарам и хлопнул ладонью по спальному мешку.

— Эй, приятель! Так можно заснуть и не проснуться. Здесь не Южный берег Крыма. Отдых кончился.

Спальный мешок сморщился еще больше, и из разреза показалась голова с копной ярко-рыжих

волос. Потом вынырнуло совсем еще мальчишеское веснушчатое лицо. Веснушки были крупные, с горошину, четкие, будто нарочно подрисованные, и такие частые, что от них рябило в глазах. Затем распахнулись огромные, в пол-лица, зеленые кошачьи глаза и радостно уставились на меня.

— Наконец-то и про меня вспомнили!

— Мать честная, в кого ж ты такой конопатый? — невольно вырвалось у меня.

— А я и сам не знаю,—ничуть не обидевшись, даже весело ответил паренек, обнажая белоснежные, вкривь и вкось растущие зубы.— Мать и отец темные, а я рыжий.— Добавил, вроде бы похваставшись:— У меня не только морда, но и все тело конопатое... Тебе сколько лет?

— Тридцать.

Паренек продолжительно свистнул. Потом сказал:

— Пора на свалку. Небось, тоскливо жить в столь почетном возрасте?

— Хватит травить. Самолет ждет.

Проворно выскользнув из спального мешка, он оделся, проломил пальцем лед в железной кружке и почистил зубы, потом выбежал на улицу и умылся снегом. Все эти процедуры сопровождались дурашливым ржанием и повизгиванием от холода.

Затем он подошел ко мне и протянул рыжую от веснушек руку.

— Меня нарекли Жоркой.

Я назвал себя.

— Ну, я готов.

— Ты сначала поешь, малыш. Только побыстрее.

— А, да! Забыл.

Уплетая за обе щеки колбасу и булку, запивая горячим кофе, который был в моем термосе, Жорка успел рассказать всю свою жизнь: что этой весной окончил школу, что с четвертого класса мечтал о путешествиях и что мечта эта сбылась всего неделю назад, когда он покинул отчий дом в Москве. А уезжать было ой как не просто, потому что «вся родня — на дыбы, мамаша даже в милицию бегала».

Позавтракав, Жорка облачился в бараний полушубок, нахлобучил ушанку, и мы вышли на улицу.

К продовольственному складу я шел по узкой свежей стежке, а Жорка бежал сбоку, чтобы удобнее было со мною разговаривать. В разговоре он перескакивал с пятого на десятое. Вдобавок он говорил громко, очень быстро, захлеб, и речь его походила на длинные пулеметные очереди.

— По натуре я романтик,—строчил он.— Жить не могу без разных приключений. Родня будто сговори-лась: в институт, в институт! А я твердо решил несколько лет поехать по белому свету. Ты солдатом был? В каких частях?

— В воздушнодесантных.

— Здорово повезло! А сколько у вас в партии рабочие зарабатывают? Ты только не подумай, что я жмот, мне на деньги — тьфу, век бы не было. Это для родных. Буду все им отсылать, чтобы поняли: я не мальчишка, я взрослый мужчина.

Возле ящиков, установленных штабелями под открытым небом (в маленьких поселках на Севере не строят складов, воры среди местных жителей — музейная редкость), нас дожидалась гривастая якутская кобылка, запряженная в сани. Она была вся белая от изморози.

Расторопный якут-завскадом уже начал грузить. Втроем мы быстро и весело накидали полные сани смерзшихся скрипучих ящиков. Скоро очередь дошла до молока. Зимой повсюду на Севере молоко хра-

нится на улице в виде отформованных белых льдин; хозяйка топором откалывает от льдины куски и несет в избу. Такой способ хранения очень удивил Жорку. Потный, несмотря на сильный мороз, припудренный инеем, он страшно торопился грузить, потому что я обмолвился, что летчик не хотел ждать. Взяв из штабеля сразу две кругляшки молока, Жора побежал к саням. Верхняя отформованная льдина выскользнула из рук и зашибла ему ногу. Он сел на снег, сморщился от боли и вдруг неожиданно расхохотался.

— Ты что, спятил, малыш?

— Умора, держите меня!.. — заикаясь от хохота, застрочил Жорка.— Молоком ногу зашиб!

Заиндевшая кобылка, повизгивая по снегу коваными полозьями, ходко затрусила к взлетной площадке. Жорка шел за санями и, погоняя лошадь концами вожжей, кричал:

— А ну, шустрая, игривая, поддай жарку!

Пилот ходил у машины, беспокойно поглядывая на часы. Жорка еще издали помахал ему вожжами. Одну руку он протянул для приветствия, другой дружелюбно, как старого знакомого, хлопнул летчика по плечу.

— Летим, старик?

Пилота явно покорило от такого панибратства. Он сказал:

— Вытри губы.

— Испачканы?

— Да, в молоке.

— Но я сегодня не пил... — начал было с простодушным удивлением Жорка и замолчал.

Он посмотрел на самолет и воздержался от достойного ответа, очевидно, предположив, что его могут не посадить.

Мы залезли внутрь и сели на ящиках. Пилот запустил двигатель. Самолет задрожал, будто в лихорадке, потом взревел и помчался по полю с такой прытью, какой я никак от него не ожидал.

— Сковородка, кастрюля со свалки, а гляди, поднялся,—наигранно-удивленно проговорил Жорка. Это сказывалась обида на пилота.

Земля удалялась ощутимыми рывками. Скоро тайга с такой высоты стала похожа на мелкий кустарник, а заснеженный Вилкой казался не шире оленьей тропы.

Жорка затих, позабыл обиду, прильнув к иллюминатору; я последовал его примеру. Мы сидели на правом борту, и самолет вдруг накренился направо.

— Сядьте посредине,—заглянув с сиденья в багажное отделение, приказал пилот.

— У нас есть шансы свернуть себе шеи? — полюбопытствовал Жорка.

Пилот не удостоил его ответом. Он сказал, обращаясь ко мне:

— Самолет перегружен. Сейчас каждый килограмм имеет значение.

Мы подчинились. Некоторое время Жорка сидел спокойно, потом заерзал на ящиках: находиться в полете далеко от иллюминатора было обидно. Поразмыслив, он придумал развлечение: воровато глядя на кабину пилота, быстро перебежал к борту и снова сажился на прежнее место. Самолет давал крен. Три-четыре раза это сходило с рук, затем пилот заметил Жоркины шутки и показал ему пудовый кулак. Жорка поднял руки, будто уперся ладонями в невидимую стену.

— Спокойно, спокойно, без грубой физической силы.

— Сатана,—то ли в шутку, то ли серьезно сказал пилот.

Пожалуй, он был прав.



Неожиданно на полном ходу распахнулась дверца. В багажное отделение с ревом ворвалась мощная струя студеного воздуха и сбила на затылок мою ушанку. На страшной глубине проплывали игрушечные юрты якутской деревни.

— Ничего себе, какие номера драндулет откалывает! — восторженно воскликнул Жорка.

Я попробовал захлопнуть дверцу.

— Замок сломан, — пояснил пилот. — Там есть веревочка, привяжи посильнее.

— Позвольте узнать, может, у вас и винт веревочкой привязан? — съехидничал Жорка.

— Последние дни доживает машина, — как бы оправдываясь, сказал мне пилот, когда я закрепил дверцу. — В конце месяца спишут... старая уже. Четыре года на ней летаю, полюбил, как человека, не знаю, как расставаться буду...

После этих слов Жорка не подтрунивал над пилотом.

II

За иллюминатором полыхал короткий и яркий северный день. Солнечный диск был тверд, слюдянист и красен. Вокруг солнца струилось прокаленное морозом марево. На земле все краски были яркие, густы и пронзительны.

Четыре цвета царили внизу: зелень тайги, ослепительная, бьющая в глаза белизна снега, огненная рыжеватость скал и смоляная чернота теней. Небо светилось ласковее, тоньше; хорошо различались звезды и острый, как бритва, месяц.

Полтора часа полета над цветастой землей — и под крылом самолета поплыли ставшие родными за год места: непокорно, буграми и острыми пирами-

дами смерзшийся по краям Виллой, громады скал-берегов, ошетилившихся зубчатыми вершинами, копры буровых вышек и наш неказистый бревенчатый барак с вечным, словно застывшим столбом дыма из печной трубы. Когда на улице разбойничает мороз под шестьдесят градусов и ломается твердая, как камень, одежда, кажется, что нет на свете ничего милее и желаннее нашей хижины.

Скалы и река вздыбились — самолет описал дугу и пошел на посадку. Белая река все ближе, ближе. Удар! Жорка свалился с ящика на дюралевый пол. Иллюминатор запорошило снегом. Потом затухающие толчки, и самолет наконец остановился.

Непривычная после сильного рокота двигателя оглушительная тишина. Лишь кричит белая куропатка, напуганная появлением чудовищной, так громко ревущей в полете птицы.

Был воскресный день, и нас встречало все население партии, двадцать человек. От барака к самолету скользила маленькая оленья упряжка в две нарты.

Я спрыгнул на снег. Ко мне подошел начальник партии, человек средних лет с широкой, лопатой, бородою, смоляными прядями падающей на грудь. Он вопросительно посмотрел на меня, пожимая руку.

— Порядок, Константин Сергеевич, задание выполнено.

— Спасибо.

— Приветствую доблестных покорителей Севера! — раздалось позади. — Здравствуй, ребята!

Ребята, то есть бородатые мужики (самому младшему было тридцать лет), уставились на оратора. В дверном проеме самолета стоял Жорка.

— Будем знакомы: меня зовут Георгием, кому угодно, зовите запросто, Жоркой, — говорил Жорка. Похоже было, что он собирался произнести речь.

— Кого ты привез?.. — упавшим голосом спросил меня начальник партии.

— Дьявола рогатого, сатану, черта рыжего — не разобрал еще, — ответил я.

Жорка вылез из самолета и пожал всем руки. Потом посмотрел на горы, что дыбились по берегам, скользнул взглядом по незамерзающему порогу, видневшемуся вдалеке облаком пара, и заявил:

— Местечко ничего себе, нравится... — Глаза его остановились на бараке, прилепившемся одним боком к скале. — А в этой хижине дяди Тома мне, очевидно, предстоит коротать ночи? Напоминает скотный двор. Но и я прилетел не на курорт отдыхать... Что ж, идемте.

С этими словами он направился к бараку и, поравнявшись со мною, подмигнул и улыбнулся во всю свою веснушчатую рожу, как бы спрашивая: «Вроде бы ничего загнул, а?»

— Ну и трепло! — сказал я.

— Треп и красноречие — две разные вещи, молодой человек, — объяснил Жорка. — Кстати, ты довольно косноязычный малый. «Трепло» и «кончай травить» — вот и весь твой словарный запас.

Раздался дружный смех.

— Ай да рыжий! — одобрил кто-то из рабочих.

Я припечатал унтом пониже Жоркиной спины — он пробежал вперед, однако на ногах удержался. Обернувшись, небрежно бросил:

— Большой, а без гармошки.

И опять все заржали.

Внутренность нашего бревенчатого барака Жорка рассматривал с любопытством и насмешкой. Внимательно оглядев все, сказал:

— Я в восторге от этой собачьей конуры, ребята!

В геологических партиях и труднодоступных районах не до комфорта, и слова Жорки были недалеки от истины: голые бревенчатые стены с сучками и зарубинами, нары из необтесанных жердей, лиственниц, грубые, наспех сделанные стол и лавки. Два оконца, разумеется, без занавесок (сказывалось отсутствие женщин), громадная шкура медведя, убитого мною этим летом, валялась на полу и служила не украшением, а половиком.

Жорка пожелал спать на нарах, пустующих рядом с моим ложем, расстелил спальный мешок, уселся на нем с ногами и начал строчить разные истории, от чего сдержанные, немногословные рабочие, обо всем уже давно переговорившие друг с другом, покатывались со смеху.

Константин Сергеевич сообщил нам новость, переданную утром по радию из соседней партии: глухой ночью на крышу жилого барака забрался медведь-шатун, со страшным ревом свернул печную трубу, начал было разбирать крышу. Насмерть перепуганные рабочие, выскочив с ружьями на улицу, палили жаканами по разбойнику, но он ушел в тайгу. Утром снарядились в погоню по следу, но обнаружили застывшие кровавые пятна и подумали: раненый «хозяин» хитер, коварен и жесток.

— Страсти-мордасти! — весело сказал Жорка. — Напиши я о такой шутке моей бедной мамаше, которая падает в обморок при виде мыши, что бы с ней случилось?! А что, далеко от нас эта партия?

— Километров шестьдесят-семьдесят.

— Черт возьми, есть надежда, что он и нас посетит?

— Возможно.

Потом мы обедали. Жорка выставил на стол все содержимое своего рюкзака. Чего только не припасла в дорогу сыну бедная мамаша! И яички, и домашние пирожки, и вареную курицу, и апельсины, и конфеты, и печенье...

— Налетайте, граждане, — пригласил хозяин лакомств.

— Ишь, раскошелился, — неодобрительно покачал головою Федорыч, пожилой буровик. — Припрячь, припрячь, паря, самому потом сгодится.

— Верно, — согласился кто-то. — Разве что конфеты оставь, побалуемся.

— Че я, жмот, что ли? Если сейчас все не слопае-те, пойду и оленям скормлю. Ей-ей!

Нам пришлось подчиниться, потому что он действительно хотел выполнить свою угрозу.

После обеда Жорка сконфуженно попросил разрешения покататься на оленях. Просил он так, будто мы наверняка откажем, а когда получил разрешение, обрадовался, как дитя.

Я снял со стены маут¹, мы оделись и вышли на улицу.

Стояли уже глухие сумерки, хотя часы показывали всего три часа дня. Солнце исчезло; о нем напоминала лишь неширокая малиновая полоска на западе. Наверху калеными металлическими осколками дрожали звезды. Землю уже освещала лупоглазая луна.

Залитые лунным светом, на поляне паслись олени. Пугливые важенки подняли головы и уставились на нас. Я метнул маут, поймав за рога самого крупного, широкогрудого самца. Он крутнул головою, намереваясь вырваться, но я быстро подбежал к нему и пригнул к земле рога. Теперь он будет послушным, как котенок.

— А где нарты? — задыхаясь от волнения, спросил Жорка.

— Берхом не хочешь?

— Разве на оленях ездят верхом?..

Вместо ответа я вскочил на оленя, и он рысцой пробежал по поляне круг.

— Садись, малыш. И крепче держись.

Жорка вспрыгнул на животное с кошачьим проворством и завопил то ли от страха, то ли подбадривая себя. Олень вскинул рогатую голову и понес. Скоро беспокойный всадник подпрыгивал внизу, на Вилюе.

— Далеко не заезжай! — крикнул я. — Здесь не улица Горького, мишка задрать может!

Перед тем как лечь, когда все, кроме меня и Жорки, уснуло, он запалил керосиновую лампу и раскрыл свой огромный чемодан. Добрую половину чемодана занимали маленькие красочные томики в твердых и мягких переплетах.

— Что за книги? — спросил я.

— Стихи.

— Дай что-нибудь глянуть.

— Только, пожалуйста, не трепли, — бережно передавая мне томик Пушкина, попросил Жорка. — На растрепанную книгу мне смотреть так же больно, как и на избитого человека.

Он выбрал нужные стихи, осторожно перекладывая книги, и при этом лицо его было непривычно серьезным, почти торжественным.

— Ты так любишь стихи, малыш?

— Станный, как же можно не любить поэзии? Эта любовь — главный признак, отличающий нас от животных. Для меня, например, не существует человека, если он скажет, что стихи пишутся для забавы. Заболоцкий тебе нравится?

Я заерзал в спальном мешке: имя Заболоцкого я слышал, но никогда не читал его стихов.

— Мне Пушкин и Лермонтов по-настоящему нравятся, — вывернулся я.

— Школярский ответ. Разумеется, что Пушкин и Лермонтов не могут не нравиться. А из советских?

¹ Маут — аркан для ловли оленей.



— Может, спать будем? А то разбудим всех,— предложил я: современную поэзию я знал лишь по школе.

— А я очень многих наших поэтов люблю и читаю,— мечтательно сказал Жорка.— Светлов, Рыленков, Мартынов, Евтушенко... Все они такие разные, интересные.

— Маршак мне нравится,— сказал я, чтобы не ударить лицом в грязь перед мальчишкой.

— Очевидно, его переводы с английского? — оживился Жорка.— Бернса?

В это время на мое счастье проснулся пожилой Федорыч.

— Давайте же спать!

И мы замолчали.

Некоторое время мы тихо шелестели страницами, потом Жорка зашептал:

— В моем возрасте люди пишут стихи от невежества, ибо читают мало. Если бы читали побольше настоящих стихов, сразу бы поняли, что стоят их жалкие опусы... Но я все-таки пробую царапать. Только ты никому не говори. Идет?

— Идет. Почитай что-нибудь свое.

Жорка некоторое время молчал, потом начал громким шепотом:

— Уж вечер близится к концу,
Зажглись огни в соседнем здании,
А я на лавочке сижу,
Назначив здесь свидание.

Он запнулся, а я ляпнул:

— Здорово получается. Как у Блока. Давай дальше.

— Господи, какую ты глупость говоришь! — всплеснул руками Жорка.— Черт!.. Уже жалею, что выболтал тебе про свои стихи. Будто святую тайну раскрыл...

...Глухой ночью меня разбудил какой-то шум. Я открыл глаза и долго не мог понять, что это за шум. Будто кто-то ходил по крыше барака. Потом донеслось глухое рычание.

— Медведь! — раздался истошный крик.

Поднялась паника. В темноте я наткнулся на чьи-то тела, падал, никак не мог добраться до ружья, висевшего на стене. Наконец ружье у меня в руках, и я выскочил на улицу.

В ярком блеске луны с пологой крыши барака спускалось на ту сторону что-то темное, длинноногое... Вскинув ружье, я быстро обежал барак, хотел уже было нажать на спусковой крючок.

Верно, добрый ангел удержал меня от страшной ошибки: передо мною маячила вся заиндеветшая на морозе улыбающаяся Жоркина рожа.

Перепуганные вооруженные люди со всех сторон окружили пленника.

— Че вы, че вы, пошутить ведь хотел... — застрочил Жорка.

Сначала было глухое молчание. Потом раздался голос Константина Сергеевича:

— Ну вот что, любезный: еще одна подобная шутка — выгоню из партии к чертовой матери!

Понемногу разошлись; я и Жорка остались одни.

— В печную трубу рычал... У меня здорово это получается... Думал, будете очень смеяться... — промямлил он.

Я молчал.

— Если кому рассказать, ведь со смеху помрут!..

Я поднял глаза к небу.

— Боже, какой кретин!

Утром за завтраком он попросил извинения:

— Я никак не ожидал, что наведу такой переполох. Так что вы не сердитесь, пожалуйста. — И вдруг приснул в кулак.

Все тоже улыбнулись: простили.

III

Жорку назначили в мою смену младшим буровым рабочим. Узнав, что я буровой мастер и его непосредственный начальник, он неизвестно почему расхохотался. Я рад, что он в моей смене: веселее будет! Но рад ли Федорыч, мой старший рабочий? Больше всего на свете он любит покой. Любит и споро потрудиться, но терпеть не может суеты в работе. Иногда он бывает ворчлив и оттого тяжел.

— Федорыч, — например, говорю я. — При подъеме штанги удобнее отворачивать вот так. — И показываю, как лучше и быстрее это делать.

Но он продолжает работать ключом по-своему, да еще ни за что ни про что начинает отчитывать меня:

— Ты мне не указывай. Я больше твоего на свете-то пожил.

Меня так и подмывает заметить, что возраст здесь ни при чем. Но я молчу. Прощаю ему все недостатки, лишь вспомню о том, что рассказывал боевой товарищ Федорыча, Водников, технорук экспедиции, как-то приехавший к нам в партию. Бежавшего из плена Федорыча настигла погоня. Это было в Белоруссии, в дремучем лесу. Нет, фашисты не травили его собаками, не кололи штыками. Они сделали в земле узкий и глубокий проем и по шею закопали пленника. Вежливо распрощались на плохом русском языке и ушли. Двое суток простоял врытый в землю Федорыч. Вокруг ползали гадюки, в изобилии водившиеся в этих местах. На рассвете появился медведь. Он остолбенело поглядел на человеческую голову, торчащую из земли, повернулся и побежал. Испугался. Смертника случайно обнаружили партизаны. Бойца, споткнувшегося в потемках о голову чуть теплого Федорыча, звали Водниковым...

В партии две буровые. На буровых работаем в три смены; нынче нам в утро. Кроме буровиков, на работе с нами неотлучно начальник партии и тракторист. У Константина Сергеевича золотые руки: он и керн сортирует за техников, которых все никак не пришлют, и станок помогает ремонтировать. Он начал путешествовать давно, лет двадцать назад, сразу после университета, и изъездил вдоль и поперек весь Союз. Бродяжья жизнь не только не тяготит его, но он и не представляет для себя другой жизни. С людьми начальник партии крут, но справедлив.

У тракториста основная работа, когда буровые переезжают на новые места. Адская работа у тракториста и начальника партии. С утра до ночи. Вот и сегодня они вышли с утренней сменой.

На Вилюе темно и еще холоднее, чем наверху, возле барака. Слева и справа шумит едва различимая тайга. Идем друг за другом по узкой стежке, протоптанной посреди замерзшей реки. Впереди Константин Сергеевич с яркой «летучей мышью». Жорка за мною, последний. Он беспечно насвистывает модную песенку.

— Будь хоть сейчас серьезным, — оборачиваясь, говорю я. — Ведь впервые в жизни на работу идешь.

— Чтоб мне провалиться на этом месте, я сейчас серьезный, даже волнуюсь, — сообщает Жорка. — Только внешне такой...

Впереди идущий начальник партии остановился, и за ним, как звенья одной цепи, остановились остальные. Он поднял над головой «летучую мышь», и яркий свет выхватил из темноты три штабеля ящиков с керном. На этом месте летом мы бурили скважину.

— Трактор к штабелям не пройдет: валуны. Ящики придется перенести на дорогу, за ними на днях прилетят, — сказал Константин Сергеевич.

Прыгать по обледелым валунам, скрытым под снегом, да еще тащить на себе тяжеленный ящик — занятие не из приятных. Но делать надо.

Жорка первым направился к штабелям. Мы понимающе переглянулись. Неужели первый блин комом?

Я обогнал его, добрался до штабеля и начал перекладывать ящики.

— Зачем? — спросил Жорка.

— Внизу полегче есть, я знаю, — неосторожно пояснил я.

— Ну-ка. — Он довольно грубо оттолкнул меня от штабеля и, ухватившись за первый попавшийся ящик, с великим трудом взвалил на плечо. Закряхтев, выпрямился. Потом, шатаясь, нащупывая ногою ровные места, пошел вниз к реке.

Когда на обратном пути он поравнялся со мною, сказал вроде бы со злостью:

— Это я только с виду тонкий, звонкий и прозрачный. На самом деле любому из вас холку намылю!

Перетаскали ящики, и снова в дорогу.

За поворотом реки показался копер буровой вышки и тепляк — наспех сложенный бревенчатый дом. От цепочки идущих людей отделилась смена и тракторист — четыре человека. А мы лезем наверх по крутой стежке, ползущей на огромный голец. Там, на вершине, наша буровая. Подъем утомителен, порою опасен; часто садимся на снег, переводим дух, унимая сильные толчки сердца.

— Так каждый день будем забираться? — глядя вниз на все уменьшающийся копер буровой вышки, спросил меня Жорка.

— Да. Пока не пробуем скважину. А что — тяжело?

— Что ты, чудаки! Здорово!..

Наконец мы на вершине и торопимся к буровой. В тепляке, пока Федорыч разогревает и запускает двигатель, а Константин Сергеевич рассматривает керн, я объясняю Жорке азы колонкового бурения. Потом перечисляю его обязанности:

— Топить «буржуйку». Дров в тайге навалом. Раз. Охлаждать снегом «бегунок». Двигатель мы прозвали так потому, что, если плохо приболтишь его к полу, он может сорваться и покатиться на маховиках. Это два. И при подъеме принимать штанги. Три. Все. Ясно, каштановый?

— Так сложно, что медведя можно научить.

И началась работа. Жорка, беспрестанно хлопая дверью тепляка, наготовил на всю смену дров, натаскал полные ведра сыпучего снега. Я давя на рычаг, врезаюсь победитовой коронкой в вечную мерзлоту, краем глаза слежу за Жоркой: как бы чего-нибудь не натворил. Он носится как угорелый, пунцовые щеки уже успел измазать мазутом, зеленые глаза горят, словно у кошки. Он не «показывает себя» с лучшей стороны, нет, нутром чую: азартная любовь к труду в крови у таких чертей.

— Ну как, нравится? — спрашиваю я во время обеда.

— Как тебе сказать... Хотелось бы, чтобы шевелились не только руки и ноги, но и мозговые извилины.

Оставалось свободных полчаса, и Жорка потащил меня из полутемного тепляка на свет, на мороз. Я подошел к Константину Сергеевичу, который о чем-то говорил с Федорычем. Жорка направился к обрыву.

— Осваивается паренек? — спросил Константин Сергеевич.

— По-моему, уже освоился, — ответил я.

— Работящий, сразу видно, — подтвердил немногословный Федорыч.

И мы посмотрели на Жорку. Как раз в это время с ним случилось что-то странное: он вдруг гикнул, подпрыгнул козлом и опрометью помчался в тепляк. Через секунду он вновь появился на улице. В руках он держал большой лист фанеры. Подбежал к обрыву и сел на этот лист.

— Стой! — в один голос закричали мы: катиться с такой высоты по узкой тропе, рискуя разбиться о частые стволы лиственниц, было безумием.

— Ах-ха-ха!.. — раздалось в ответ бесовски-озорное, задорное. — Пишите письма!

Мы подбежали к обрыву и с замиранием сердца следили за сумасшедшим спуском. Вот «санки» прыгнули с природного трамплина. Вот они ударились о ствол дерева и закружились вместе с Жоркой. Еще один трамплин. Еще один удар. И Жорка вылетел на Вилюй.

Встает, берет в руки фанеру и идет к гольцу.

Когда он поднялся на вершину, мы уже были на буровой. Константин Сергеевич выговаривал Жорке в тепляке.

— Че вы, че вы так беспокоитесь? — искренне удивился Жорка. — Ведь я бы на тот свет отправился, а не вы.

— А я бы под суд из-за тебя пошел, — вздохнув, объяснил начальник партии.

— Ну?.. Неужели такой закон есть? Не знал.

— Теперь знай.

Короток зимний северный день. Едва обед прошел, а за окном уже стемнело, и в квадратном отверстии крыши цветными гроздьями вспыхнули звезды. И совсем скоро, выбежав на улицу, заметишь далеко-далеко внизу на Вилуюе качающийся огонек — то смена идет, и головной освещает дорогу «летучей мышью».

— А че дома вечерами делать? — спрашивает Жорка, когда мы, скинув промасленные ватники и облачившись в бараньи полушубки, подходим к обрыву.

— Книжки читать, транзистор слушать. Вечерами здесь отличная танцевальная музыка ловится.

— А танцевать с медведицей?

Начинается спуск. Жорка идет впереди и нетерпеливо оглядывается на нас. С какой бы радостью сейчас он скатился еще разок!

Потом он сел и немного проехал таким манером. Обрадованно прокричал:

— Константин Сергеевич! Можно я так спускаться буду? Скорость небольшая, потому что сразу двойное торможение: ногами, руками и пятой точкой!

Начальник партии ничего не ответил, и Жорка воспринял такую реакцию как знак согласия.

...Бывало, слова за смену не вымолвишь с молчаливым Федорычем. Бесповоротно нарушил Жорка наш покой.

IV

В дикие январские морозы, когда плевков, не долетая земли, превращается в ледяную горошину, к нам прибыл корреспондент столичной газеты. Он намеревался написать очерк о передовой партии экспедиции и сделать снимок лучшего буровика.

Корреспондент оказался молодым, чрезвычайно тощим и длинноногим парнем в очках. Лопатки его выпирали, как две скобы, а пиджак висел, словно на вешалке.

— Из Освенцима? — поинтересовался Жорка. — Какой препарат испытывали на тебе фашистские изверги?

За эти вопросы он получил от меня подзатыльник.

Всю неделю корреспондент ходил с нами на буровую, рассматривал станок, двигатель, штанги, коронки и все записывал в свой блокнот.

— Запиши: это кувалдометр, — объяснял Жорка, показывая ему пудовую кувалду.

Или небрежно, с видом знатока давал непрошеное интервью, выстукивая тупым носом катанка по дощатому полу буровой:

— Житуха наша, сам видишь, суровая. К маме сбежит тот, у кого кишка тонка. Экзотика?! — восклицал он, хотя корреспондент и не думал ничего спрашивать. — Боже мой, этого добра хоть отбавляй: в обнимку с медведями спим, якутский волк наш товарищ. Летом топи так и кишат крокодилами, бегемотами. Здесь рта не разевай, сожрут с потрохами.

Все добросовестно изучив, корреспондент перестал ходить на буровую и теперь целыми днями сидел в бараке, ожидая вертолета, писал. Ему оставалось лишь сделать фотографию передового рабочего, но мы все никак не могли собрать общего собрания, чтобы выдвинуть кандидатуру: одни спят, другие на работе. Наконец в воскресенье собрались. Люди мялись, тянули, потом начали выдвигать чуть ли не каждого по очереди и единодушно голосовать «за». Чехарда эта наконец надоела Константину Сергеевичу, он поднялся и сказал:

— А я предлагаю Георгия. Парень он грамотный, буровую технику освоил быстро, работает хотя всего два месяца, но хорошо, старательно.

С ходу проголосовали «за».

Конечно, были рабочие опытнее, достойнее. Я понял хитрость, что ли, начальника партии: Жорка, возможно, остепенится, увидев свой портрет в центральной газете.

Но здесь случилось непредвиденное.

— Че-че-че? Меня?!. Ни за что! Хоть живьем режьте, хоть в проруби утопите! — страшно покраснев, выпустил Жорка длинную пулеметную очередь.

— Георгий... — начал было Константин Сергеевич.

— Кто я вам, балерина? — Поясняя свои слова, он поднял ногу в огромном сибирском катанке. Глаза заблестели, увлажнились, того и гляди слезы покажутся...

Вот тебе и раз! Предполагал ли я раньше, что сатана может быть такой скромницей?

Выручил Федорыч. Он встал, рубанул воздух шершавой, заскорузлой ладонью, сердито сказал:

— Кобенишься, значит. Ясно. Общество к тебе всем сердцем, а ты, значит, к нему задом: плюю я, мол, на вас. Э-эх, паря. Срам!

— Ну уж, вы наговорите... — испугался Жорка. — «Задом»! Что ж я, гадина какая-нибудь?

— Выходит, так, — сурово молвил Федорыч.

— Раз такое дело... — неуверенно согласилась будущая известность.

Корреспондент вытащил из кожаного футляра фотоаппарат, я накинул на Жоркины плечи полушубок и вытолкнул его на улицу.

Решили не смущать Жорку, сидеть в бараке. Не было их довольно долго. Первым вошел корреспондент. Он сказал, засовывая в футляр фотоаппарат:

— Ну его... Что я, мальчик в конце концов? Только нацелюсь, соберусь щелкнуть, а он язык показывает.

Пришлось пойти на хитрость. Я вышел на улицу и, выговаривая Жорке за глупые шутки, подвел его к окну барака. Корреспондент спокойно сделал несколько снимков через раскрытую форточку.

На следующий день корреспондент улетал. Вертолет должен был прибыть к вечеру.

— Пойду последний раз тайгой полюбуюсь, — сказал корреспондент, оделся и вышел.

Эту неделю на работу нам надо было выходить в вечер. Я разглядывал потолок, лежа на нарах, не мог придумать себе занятия. Жорка читал томик Светлова.

Вдруг он быстро соскочил с нар и стал одеваться, вроде бы беспечно насвистывая. В его насвистывании было что-то натянутое, неестественное: Жорка как бы торопился показать беспечность. Подобным образом он вел себя всегда, когда замышлял очередную выходку.

Одевшись, он поднял с пола большеголовую, со страшным оскалом клыков медвежью шкуру и потащил ее к выходу.

— Ну-ка, братец, положи на место, — сказал я.

— Че положи, че положи? — мгновенно и очень естественно обозлился Жорка. — Шкура вся в пыли, в мазуте. Почистить надо. Грязью, понимаешь, заросли и в ус не дуют. Завшиветь хотите?

— Не такая уж она грязная, — заметил я.

Больше Жорка ничего не сказал и вытащил шкуру на мороз.

Некоторое время он действительно ее выбивал, потом удары затихли. Как назло, я задремал и дремал с полчаса, а когда выбежал из барака, на улице не было ни Жорки, ни шкуры.

Я вернулся в горницу, и, предчувствуя недоброе, стал одеваться. Но пойти на Жоркины поиски не успел: дверь распахнулась, и в горнице появились корреспондент и Жорка. Жорка тащил на плечах медвежью шкуру. Они молча разделись. Потом Жорка сказал:

— Ну, не дуйся. Сразу я не сообразил...

— А я и не дуюсь, — вздохнув, перебил корреспондент. — Разве можно дуться на ненормального? — Он вдруг рассмехался. — Пошел ты к черту!..

А случилось следующее. Корреспондент не спеша шагал по оленьей тропе, пробитой в глубоких снегах по берегу Вилюя. Над головою носились куропатки, озоруя, кувыркались в воздухе, радуясь яркому солнечному дню. Удивительного цвета было зимнее якутское небо: алое по горизонту и густо-сиреневое в вышине. Такого пестрого дневного неба никогда еще не видел корреспондент.

Внезапно послышалось рычание. Корреспондент вздрогнул и остановился. Из-за обледенелого валуна высунулась огромная медвежья голова с распахнутой пастью.

Корреспондент несколько секунд стоял с вытаращенными глазами, потом вскрикнул и припустил к бараку.

— Че ты, че ты, не узнал? Это ж я, Жорка!.. — закричал медведь человеческим голосом.

...Когда прилетел вертолет, корреспондента вышли провожать все, кто был в бараке.

— Ты не обижайся на Жорку, — попросил я. — Таким уж уродился.

Жорка стоял в стороне и виновато шмыгал носом.

— Даю тебе честное слово, что у меня нет ни капли обиды, — ответил корреспондент. — Представь, я даже рад, что познакомился с таким пареньком.

V

В середине февраля налетел с юга мягкий ветер и прогнал злую стужу к Ледовитому океану. Ветра не было долго, несколько заледенелых месяцев, и мы скучали о нем, а сейчас радостно глотали тугие сгустки воздуха, слушали разбойничий посвист. Хотя мороз еще и щиплет, дерет лицо и блещут цветными иглами снега, но первый, едва уловимый вздох весны, как утренний вздох ребенка, во всем: нет уж стилого скрипа лиственниц, солнце подни-

мается выше, в полдень отрывается от вершины гольца, и в криках куропаток не слышно тоски и жалобы на страшные холода. Невесть откуда появились мелкие птицы: то ли из-под сугробов пробились, почуяв весну, то ли это ранние гости с юга.

К лету нашу партию перебросят на Курильские острова. Жорка, узнав такую новость, от радости места себе не находит.

— Каюсь: именно на Курилы я летом от вас сбежать хотел, — признался он мне. — А теперь и сбежать незачем!

Я тоже радуюсь, словно мальчишка. На четвертый десяток перевалило, но тянет, влечет дорога, как и в семнадцать лет... Да здравствует дорога!

...Мы работали в ночную смену. На копре с ролика соскочил стальной трос. Надо было лезть на вершину громадного треножья и ломиком поправить трос. Такое случалось довольно часто. Обычно Жорка проворно и не без удовольствия забирался на высоту и ловко проделывал эту работу. Сейчас, к весне, ветер сдул снег с деревянной лестницы, на переключинах виднелся голый лед, и поправить трос решил я. Но едва запалил факел, смоченный в солярке, и ступил на первую скользкую переключину, Жорка грубо стащил меня на землю. Взял из моих рук факел, ломик и сурово сказал:

— Это обязанность младшего рабочего. Забыл?

— Только осторожнее: наледь, — предупредил я.

Факел в Жоркиной руке пополз наверх. Огонь рвался на ветру, голубыми гудящими брызгами летел в разные стороны, освещая в ночи то кусок лестницы, то замасленную ушанку. Наконец Жорка возле ролика, на высоте трехэтажного дома. Вытащил из-за пояса ломик и стал срудовать им. Я потянул трос — он мягко заскользил по ролику.

— Порядок, малыш! Слезай.

Вместо ответа Жорка забрался на маленький шаткий помост, укрепленный на самой вершине. Балансируя, поднялся во весь рост. Потом отбил чечетку. Огненным факелом он размахивал из стороны в сторону, удерживая равновесие.

Я и Федорыч молчали, затаив дыхание: одернешь — он откровеннее будет показывать свою удаль.

Сначала от тяжести с треском разлетелся на отдельные доски шаткий помост. Потом вниз упал горящий факел. Он врезался в сугроб, погас и зашипел.

На светящемся от звезд небе я разглядел Жоркин силуэт: он висел, ухватившись руками за обледенелый металлический кронштейн.

— Держись, малыш! — закричал я и быстро начал подниматься на помощь.

Успел добраться лишь до середины копра — Жорка сорвался вниз. Он упал на пологую крышу тепляка, вскочил было в горячке на ноги и вновь повалился.

Некоторое время он лежал без сознания. Я похлопал его по лицу. Он очнулся и громко закричал. Потом опять впал в забытие. Из рта на снег хлынула кровь.

— Понесем?.. — дрожащим голосом предложил Федорыч.

— Что?.. Нет, нет, нести его нельзя. Побегу за оленями.

Я готов был разреветься, почти физически ощущая страдания Жорки.

До нашего барака от буровой считалось три километра, и я бежал эти километры из последних сил. На ходу скинул телогрейку и швырнул ее в сугроб. Потом на снег полетела ушанка.

Узнав о несчастье, всполошилась вся партия. Константин Сергеевич связался по радиации с большим поселком, лежащим ниже по Вилюю, в тридцати ки-



лометрах. Когда я запряг пару крепких самцов в нарту и забежал в горницу за медвежьей шкурой, чтобы Жорке было мягче лежать, в приемнике запищала морзянка: «Вас поняли. Ждите санитарный вертолет».

Я сел на нарту и погнал оленей.

Жорка кричал. Я и Федорыч осторожно перенесли его с крыши тепляка на нарту и тронули оленей. Они пошли шагом, чуя, что у людей стряслась беда.

— Как же это, как же это?.. — без конца повторял Федорыч.

Когда мы были на середине пути, впереди показались яркие огни. Их было семнадцать. Это навстречу нам спешило все население партии, и каждый держал в руке тряпочный факел, смоченный в солярке. Факельное шествие молча расчленилось, уступая нам дорогу. И так же молча сомкнулось, двинулось за нартой. Люди далеко тянули руки с факелами, освещая путь оленям.

Чтобы не тревожить лишний раз Жорку, мы распрягли нарту и втащили ее в горницу вместе с Жоркой.

Через несколько минут он открыл глаза, морщась, оглядел нас и с хрипотой выдавил:

— Только бы не калекой.. Уж лучше...

Я не отрываясь глядел на осунувшееся, побелевшее лицо. Частые веснушки проступили яснее, четче, и выбившийся из-под ушанки чуб полыхал кровью.

Кто-то открыл дверь, сказал:

— Вертолет показался. Надо бы сигнал дать, проскочит еще.

Зажглись девятнадцать факелов. Я выплеснул два ведра солярки на снег и запалил — огонь вспыхнул сплошной длинной стеною, заметался на ветру.

Вертолет летел низко, над самыми сопками. В землю упирался мощный столб света от прожектора. Если бы не рокот мотора, этот яркий толстый столб, движущийся по тайге, можно было бы принять за привидение.

Вертолет покругил над нами, ослепив глаза прожектором, и опустился на соседней поляне. Взметнувшийся снежный ураган разом задул наши факелы.

Из машины вышел человек с чемоданчиком в руке. На чемоданчике красным по белому был нарисован большой крест.

Доктор быстро осмотрел больного и коротко приказал нам рублеными фразами:

— В машину. С нартами. Осторожнее.

Как-то все забыли спросить доктора о самом главном: что с Жоркой? Вспомнили об этом лишь тогда, когда вертолет оторвался от земли и унес нашего Жорку в яркое звездное северное небо...

VI

Прошла одна неделя без Жорки, другая, и все поняли, что каждому чего-то не хватает.

Тосковали по Жорке, по его ослепительной кривозубой улыбке, рыжей копне волос, веснушкам, звонкому смеху. Тосковали уже пожилые люди, издерганные жизнью, с трудной судьбою, для которых в понятие «счастье» прежде всего входило понятие «покой». Но зачем им покой без Жорки?..

О тоске своей никто открыто не говорил друг другу. Но стоило увидеть что-нибудь интересное, например, отощавшего к весне таежного волка, однажды появившегося возле барака, или громадную белую сову, присевшую отдохнуть на копер буровой вышки, кто-нибудь непременно с сожалением восклицал:

— Эх, жалко, Жорка не видит!..

К празднику двадцать третьего февраля из Якутской экспедиции нам прислали подарок: два небольших ящика с апельсинами и яблоками. Свежие фрукты на Севере зимою — редкость, диковина, и мы переправили драгоценные плоды в больницу Жорке.

Наконец пришло первое письмо. Мы перечитывали его раз пять; никто не смеялся, хотя письмо местами было смешное.

«Дорогие граждане, — писал Жорка, — большое спасибо за фрукты от меня и от всей палаты. Мы ели их целых три дня.

Я чувствую себя хорошо. Разъелся, морда круглая, кирпича просит. Вот только осрамился до последней степени: медсестры и нянечки здесь — молоденькие девчонки, и они подают мне утку. Сначала я терпел до тех пор, пока не оскандалился ночью, а после этого обнаглел и стал просить. Ужасно как стыдно! Стараюсь просить, когда невтерпёж.

Вы спросите: почему я сам не могу сбегать? В том-то вся и заковыка: одна моя нога в гипсе и привязана к потолку, а кроме того, ребро еще в правом боку сломано. Сейчас и то и другое срастается, все никак не срастутся, проклятые.

Выпишут, если все будет в порядке, в середине марта. Ужас как долго, со скуки можно свихнуться!

Письма из дома, пожалуйста, переправляйте мне. Случайно не напишите родителям, что я в больнице: это я скрываю от них.

Без вас тоскливо. Жорка».

Было от Жорки еще два-три подобных письма. И вот наконец мы получили коротенькую желанную записку: «Выздоровел. Выпишут 17-го. Тридцать километров для меня не проблема, вечером буду дома».

Мы решили доставить его с шиком, на северном такси — на оленях. Послали меня — за каюра.

Из партии я выехал ночью и к утру был в поселке. Остановившись возле двухэтажного деревянного здания больницы, я, не снимая карабина, с разбойничьим кинжалом в чехле вошел в приемную.

Успел в самый раз: Жорка, уже одетый, закидывал за плечо котомку из старой, пожелтевшей наволочки.

— За мной? На оленях?! — догадался он и, похудевший, жилистый (врал в письме, что растолстел), прыгнул на меня, сдавил тонкими руками шею.

— Малыш, мой малыш... — сказал я, прихлопывая ладонью по худой спине. — Ты видел свою газету?

Жорка живо спрыгнул на пол.

— Какую газету?

— Ну как же...

Я вытащил из кармана московскую газету. С первой полосы глядел Жорка.

— Уй ты! Пропустил!

— Тут еще о тебе целых три столбца.

— Ругает?

— Нет. Только хорошее пишет. Незлопамятный парень.

— Надо письмишко ему кинуть: мол, не таи обиды, пошутил...

Из палаты вышла женщина в докторском колпаке. Она потрепала Жорку по рыжим вихрам и, умоляюще глядя на меня, сказала:

— Заберите, заберите вы этого беса! Вечно что-нибудь придумывал, ни минуты спокойно не лежал. Ужас, а не ребенок!

— Не обессудьте уж... Горбатого могила исправит, — виновато сказал Жорка.

— Поезжай, поезжай, ты очень хороший парнишка, — совершенно неожиданно для Жорки похвалила женщина.

Мы простились и скоро были в дороге.

Весна в тайге! Правда, еще не бегут с веселым перезвоном ручьи, а на Вилые не зияют черные полыньи. Но навсегда уже отступили шестидесятиградусные морозы, полиняли, сморщились сугробы, и стволы сосен наги, без блестящего ледяного панциря, сочатся, исходят смолою. Ветер душит. пахуч, хмель-

ной от хвои, березового сока, и его пьешь с наслаждением, как пьешь родниковую воду. В голову лезет разная чертовщина, и неловко перед самим собою за лихие мальчишеские желания: хочется, например, расцеловать широкую оленью морду или рысью прыгнуть с нарты на плывущий мимо ствол дерева.

Светает рано. Солнечные лучи мягки и ласковы и заметно греют щеки. Все чаще с юга наплывают беспроектные, разбухшие от сырости тучи, и из них мокрыми хлопьями летит и летит снег. Такое ненастье любо сердцу северного жителя.

Жорка походил на застоявшегося жеребенка, которого всю зиму держали в стойле, а по весне вдруг выпустили на луг. Добрую половину пути он бежал за нартой, припадая на сломанную ногу, хватал раскрытым ртом тяжелый, как вода, воздух.

— Болит нога, малыш? — спросил я.

— Не, почти совсем не болит. И хромота, говорят, пройдет. Только первое время к перемене погоды болеть будет. Как у старика.

...На следующее утро выходим на работу. В утро идет вся бригада, три смены. И еще, как всегда, Константин Сергеевич и тракторист.

Мы переносим буровую на новую точку. Новая скважина будет снова на высоком берегу Вилы, и опять, к великой радости Жорки, нам предстоит карабкаться каждый день наверх.

— Доверяем тебе самую ответственную работу, — сказал Константин Сергеевич Жорке. — Будешь добывать из-под снега мох и подогревать его. Он служит прокладкой между венцами.

Константин Сергеевич, конечно, загнул: работа эта одна из самых простых и легких. А сказано такое было для того, чтобы Жорка не таскал с больной ногой тяжелые бревна.

Хитрость начальника партии удалась: Жорка действительно поверил, что добыча мха для прокладки — самая ответственная работа. И забегал как угорелый с лопатой и ведрами, припадая на сломанную ногу.

День, как всегда, промелькнул незаметно. Вот уже и Венера вспыхнула ярким голубовато-красным огнем.

Мы подходим к обрыву. Гора ничуть не ниже и не меньше, чем та, с которой так лихо катился Жорка.

Жорка забежал вперед и сел на кромку.

— Ты опять за старое, Жора...

— Че вы, че вы, че вы? — застрочил Жорка. — Ведь так гораздо удобнее и совершенно безопасно. А сами из-за какого-то странного принципа не хотите сесть и поехать!

И оттолкнулся и заскользил вниз, оставляя за собою широкую борозду.

Я почесал затылок, сел на кромку обрыва и поехал вниз. Немного проехав таким образом, я затормозил ногами и обернулся. Все замерли на обрыве, глядя на меня.

— Немая сцена, похлестче, чем в «Ревизоре»! — расхохотался внизу Жорка. Он уперся ногой в ствол дерева и с интересом наблюдал за нами.

— Малыш прав: так удобнее, братцы, — согласился я. — Основное, совершенно не чувствуешь напряжения в ногах.

Потом с горы покатались Константин Сергеевич, тучный Федорыч, а глядя на них, и все остальные.

Жорка заливался веселым смехом.

— Ай-яй-яй! — строчил он. — И не стыдно ли вам? Ведь взрослые люди!..



Леонид
Завальнюк



Песня

Светила ночь карманным фонарем,
Гремела даль литыми якорями.
И бредила далекими морями
Та песня, что в дорогу мы берем.
Она брала тростинку камыша
И выдувала из нее напевы
Спокойные, как шепот белой пены,
И чистые, как осени душа.
И старый клен, грустя о чем бог весть,
Ей откликался голосом знакомым.
И становился путь простым законом,
Извечным, как желание пить и есть.

Точные слова

Что ты делаешь, вооружась весами?
Брось ты их. Мне жаль твоих хлопот.
Точные слова приходят сами.
Их рождает поступь, а не пот.
Так вставай и походи по лесу,
По траве, по теплоту железу
Старого пустынного моста.
Вспомни позабытые места,
Чем ты жил, чем счастлив был на речке,
Освещенной отблеском зари,
Где кувшинок желтых канарейки
Частые пускают пузыри.
Сизый надломившийся закат
Землю всю веснушками закапал...
Прислоненный к дереву закатом,
Неба край покоен и покат.
Сани, сено, солнце на лугу,
Сосны на песчаном отголоске!
Полям восковой голоколоски
Дней забытых разогни дугу.
И раздастся долгожданный звук
И прольется точными словами.
И пойдут они, как облака, над головами
Всех твоих разъятий и разлук.
Вот они. Бери их и пиши,
Прошлого с грядущим совмещая,
Всех столетий дали освещая
Светом вспоминающей души!

Первый класс

Вдруг сон накличется:
С высокой каланчи,
Что заблудилась в детских днях коротких,
Летят, летят конфетные коробки
И в маковых накрапах калачи.
Лови их.
Линий стершихся полет,
Лавиной летнею пузырящихся ливней,
Кораблики намокшие прольет
С разводами косых лиловых линий.
И выйдет ученица.
У доски
Застынет молча и лицом смутится.
Что должен сделать ты:
Взлететь иль опуститься,
Чтоб отдалиться от смешной тоски?
Ты в первом классе. Но твоя тетрадь
Вся в грустных кляксах — след беды
прогорклою.

И ты шагаешь, что тебе терять,
По теплым лужам с мусорною коркой.
Смеется небо,
Лето щурит глаз,
Усмешку пряча в бороде зеленой.
Конечно, взрослость — это третий класс,
А в первом классе глупо быть влюбленным!
Промчатся годы. Много, много лет,
Событиями набитых до отказа.
И ты поймешь, что взрослость — это бред
И что любовь зависит не от класса.
Та фея, что краснела у доски,
Так и осталась навсегда с тобою.
Все изменилось. Но состав тоски
Все тот же: дождь и небо голубое,
За каланчой нехоженые тропки,
Дверь незнакомая, что страшно отворить...
Летят, летят конфетные коробки,
Которых в детстве некому дарить!

Вечер

Ветер желтых шорохов в саду
Чуть колеблет паутины нити.
Солнце по-осеннему в зените,
Низко наклоненное к пруду.
В этот час я заново учусь,
Без остатка растворясь в просторе,
Жизни понимание простое
Без нужды не отнимать у чувств.
Словно бы настройщик и рояль,
Ты и этот день перед снегами.
Край судьбы и отчие края —
Все слилось в нерасторжимой гамме.
И неслышным голосом поет
То, что ты не знал в себе доселе —
Мирное, как птичий перелет,
Зрелых лет спокойное веселье.



В селе далеком, за куском воды,
Покрытой пленкой палевого цвета,
За светло-сизым полем эспарцета,
За мельницею сгнившей,
Большие двери уронившей
В холодный пруд,
До сей поры, как самосеянные травы,
Мечты мои беспечные живут.
И я порой к ним в гости прихожу
И удивляясь, как они пригожи,

Все думаю — где клочок земли добыть
Поблизости от места проживания!
Я бы посеял эти детские желанья,
Чтоб ничего на свете не забыть...
И, может, мельницу я б тоже перенес,
Чтоб так же эта дверь в воде лежала.
Чтоб где-то люди шли
И девочка бежала,
Волнуя сердца кровью
И трогая до слез!



Костер во мраке ветви распростер.
Охотники усталые и злые
Развязывают пестрые узлы,
Хлеб достают и много всякой снеди,
Чтоб выпить для согрева, закусить,
Махорки на газету натрусить
И кончить день в неторопливо тающей
беседе.

Блистают ружей темные стволы,
Чирки мерцают мертвыми глазами.
И, чуть подняв его над голосами,
Ночь закрывает короб непроглядной мглы.
Теперь ты можешь встать и в стенку
постучаться:

В незамкнутом пространстве — как в дому.
Но вот возник какой-то странный вихрь
в дыму,

И, глядь, уж первые лучи сочатся
По влажным бревнам, как по сердцу
твоему.

Вот так, бывало, в тишине лесной
Встречал рассвет я позднюю весной,
И навсегда в глаза мои впиталась
Дотлевшей ночи тихая усталость
И радость первой птицы над сосной.

Напоминание самому себе

Никем не сочиненный видеть мир
Без всяких призм и праздных остраний!
Не прибегая к костылям сравнений,
Умом копаться в нем,
Живым гореть огнем,
Не поливая душу керосином.
Любить пуга, дань отдавать осинам,
Ценить бывшее и скорбеть о нем.
Мечтать о счастье честном и простом,
Платить долги до срока, полным весом,
И на судьбу, грозящую перстом,
Смотреть спокойно,
С детским интересом!

Мосты

Синий свет ложится на панели,
Близится суровая зима.
И летят морозные фланели,
Ворсом задевая за дома.
Тени глубоки, как под глазами,
Чуть скрипит, качаясь, небосвод,—
Это молодыми голосами
Вьюги возвещают свой приход.
Будет снег и много, много света,
Будет ночь бездонной высоты,
И тулуп надев, служитель лета
Разведет последние мосты.

В разных мы останемся пределах.
Между нами темени река.
Только где-то в рощах поределых
Бродят три-четыре огонька.



То, что помню,— со мной,
Что забыто, осталось за гранью.
Но пустыми ночами,
Когда мысли сойдутся в кольцо,
Выплывают заботы,
Забытые окна в герани,
Две черешни в саду
И невнятное чье-то лицо.
Что-то пелось,
Куда-то вдвоем мы бежали.
Что-то с нами случалось,
Дождями стучала весна.
Но укромность была неживой,
И дожди не сближали,
Словно всюду незримо
Меж нами стояла стена.
...Так вдоль этой стены
И ушел я по узкой тропинке,
Ни о чем не жалеющий
По незрелости лет.
Только божья коровка
По тонкой зеленой травинке
Вдруг сквозь стену прошла
И упала,
И долго летела вослед.



Как под водой плывет огромный кедр
топляк,

Слегка не поспевая за водою,
Так под моей отрадой и бедою
Плывут поля и старый пыльный шлях.

Им не угнаться за бегущей судьбой,
Они медлительны в своем движении
плавном.

И, уступая жизни в чем-то самом главном,
Я из последних сил тащу их за собой.

Обещания

Я знаю, в обещаньях правды нету.
Что может нищий мне пообещать!
Что не умру!
Что я не кану в Лету!
Не по карману это нам с тобой,
Бесценный друг мой, человек хороший.
Придет зима и заметет порошей
И серый лист и клевер голубой.
Но я люблю в посулах чистый пыл,
Не знающий ни дна, ни обнищанья.
Люблю рожденный глубоко в крови
Больной и горький возглас обещанья.
В нем есть любовь.
А уж любовь сильна.
Она не выдаст, нет, она не выдаст!
Давно я эту правду приобрел навыворот,
И ныне вот по мерке мне она.
Не требую обещанного, нет.
Я — прах, бредущий по дороге тленной.
И все ж прекрасен мир!
И все ж велик поэт,
Бессмертье обещающий вселенной!

Белла Ахмадулина



Не писать о грозе

Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу —
не воспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!

Разве я ей сегодня судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада! —
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада?

Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех,
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму
быть немой очевидцем природы,
не добавив ни слова к тому,
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль стола?
Это отдых, награда за муку,
когда темною тяжестью лба
упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.
И рука моя пишет и пишет.
Навсегда разминулись — гроза
и влюбленный уродец эпитет.

Между тем удастся руке
детским жестом придвинуть тетрадку
и в любви, в беспокойстве, в тоске
все, что есть, описать по порядку.



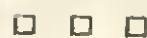
Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятие службой важной.

Прощай! Все минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри,
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.

Смотрели, как в огонь костра, —
до сна в глазах, до муки дымной,
и созерцание куста
равнялось чтенью книги дивной.

Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть, из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.



Игорь Шкляревский



Прокаркал ночью телефон.
Вдали сработала монета.
— Ну, как дела? — услышал он.
И понял вдруг, что песня спета!
Куда уйти от этой боли?
В какое детство уползти?
В каком лесу, овраге, поле
Траву целебную найти?
Потом осеннее болото,
столбы и голые кусты
тянулись долго, как зевота,
и глухо лязгали мосты.
О чем он думал в эту ночь?
С какими чувствами прощался?
В какие дали обращался?
Кого и где просил помочь?
— Зачем ты стала вдруг суровой,
зачем я должен пережить
все дважды — наяву и в слове! —
хотел у жизни он спросить.
И душу светом озарило!

И он слышал в полумгле:
— Чем больше небо подарило,
тем больше должен ты земле.



Ты помнишь запах пустырей
тревожный и однообразный!
Дурманил вянувший пырей.
Горчил безвременник прекрасный.
Разлукой пахло что ни день...
Дул ветер, душу леденящий.
Но за сто метров сквозь метель
я узнавал твой шаг летящий!
И вот выходим из кино.
Там все погибли за свободу.
А помнишь, было здесь темно,
и мы встречались в непогоду!
Тревожно пахли пустыри,
костры безлюдные горели...
Здесь от зари и до зари
теперь поют виолончели.
Пусть школа музыки ревет!
Пусть подвывает автобаза!
Пускай на лес микрорайон
идет, как легионы Красса.
Пускай глухие пустыри
у сердца весело украли...
Мы лучших дней не сберегли,
но лучших чувств не растеряли...

Наташа под дождем

Был полдень. Золотая лень
по белым крышам деревень
и перелескам разливалась...
Гроза к Пропойску приближалась.
И, как по толпам Эрмитажа,
по рощам пробежала дрожь.
Я закричал:— Рости, Наташа!—
и вытолкнул ее под дождь.
Вода редела и сверкала.
И, ослепленная грозой,
моя любимая плясала,
как за стеклянной стеной.
Но разум вдруг ожесточился,
и, воздух в легкие вобрав,
я прямо в небо обратился:
— О боже правый, я не прав.
Но как безжалостна природа!
Вот чудо, боже, посмотри.
Из самых лучших для развода
оставь хотя бы сотни три.
Пускай я жаден и жесток,
меня — под общую гребенку,
а эту девочку в сторонку...
Зачем для всех единый срок!
И, как отец, от гнева страшный,
однажды об стол кулаком —
ба-бах!— и лилии, как чашки,
подпрыгнули — ударил гром!
И я слышал вечный глас:
— Дурак, я сам жестоко мучусь,
что одинаковую участь
придумал я для всех для вас.
Но лишь предел спасает душу
от лени, дряни и нытья,
и потому вовеки я
своих законов не нарушу!

И молния закувыркалась,
но в каждой капле дождевой
Наташа пела и смеялась.
Наташа, будь моей женой!



На севере, юный и тонкий,
я скалывал с палубы лед.
А лед был зеленый и звонкий,
ударь — и лом запоет!
Светились разбитые глыбы
и в пену летели с кормы.
В них вмерзли медузы, и рыбы,
и длинные стебли травы.
Ветвились, как будто кораллы,
остатки сезонной лапши...
А наш одинокий корабль
все дальше, на север спешил.
Но за полночь лопались тросы.
Смывало напалубный груз.
И крик раздавался:— Матросы!
И ловко прихрамывал трус.
Кого-то волна накрывала,
и кровь отливала, звеня,
но воля моя не дремала.
Фортуна любила меня!



Ты спрашиваешь, как живу?
Живу свободно, чисто, ясно,
один в лесах! И потому
все уходящее прекрасно.
Июнь, пропахший земляникой,
и юный лес, и чистый плес,
вся жизнь, любимая до слез,
с ее печалью безъязыкой.
И тишина Петрова дня,
и лодки с вянущей травсю,
и бор, идущий на меня,
когда светает над водою.
И просто молодость моя,
что пела, плакала, летала,
бежала в дальние края,
о прежних далях тосковала.
Так опустевшее гнездо
на ветках ивы у криницы
хранит печальное тепло
куда-то улетевшей птицы.

Прощание с природой

И жереха бой у плотины,
и солнца слепые лавины
в лицо — сквозь дырявые кроны.
И вот опустели паромы!
Лишь конюх зевает над бездной
и воет бадья на железной
струне, а холодная смальта
змеится по краю асфальта.
Прощайте, зеленые дни,
прощайте, веселые воды,
холодные очи природы
отчаянно смотрят в мои.
Бредет по дороге старуха
и просится в землю клюкой.
Прощай! Но чем дольше разлука,
тем радостней встреча с тобой.



1870-
-1970

«НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ ИЗ РОССИИ...»

ЗВОНОК ИЗ «АСАХИ»

«Асахи» — одна из трех крупнейших газет Японии. Тираж ее дневного и вечернего выпусков — около пяти миллионов экземпляров. «Асахи» слывет органом, где хорошо организован отдел проверки и справок, в котором работает почти половина из трех тысяч сотрудников редакции. С руководителем этого отдела Масао Майя и свел меня случай. Роясь в подшивках старых японских газет (их мне давали в редакции газеты «Асахи»), я рассказал Майя о своих поисках. Он согласился помочь.

В один из дней Масао Майя позвонил мне.

— Слушайте, у меня есть для вас кое-что. — Голос Майя звучал почти торжественно. — Интервью с Лениным, которое вы ищете, у меня в руках...

— Спасибо, спасибо, Майя-сан, но я уже знаком с ним. Спасибо! Книгу Хадзимэ Иосида я достал.

— Нет, нет! Я нашел настоящее интервью с Лениным. То самое, которое вы ищете...

Вот это новость! Какое же еще «настоящее интервью с Лениным»? Был поздний вечер, но через минуту я уже сидел в машине и, выжимая из сильного мотора все, что он мог дать, мчался в сторону редакции газеты «Асахи».

В кафе по соседству с «Асахи», где мы условились встретиться, Майя еще не было. Официантка принесла обязательный для всех японских кафе и ресторанов бокал с холодной водой, положила влажную салфетку в запечатанном целлофановом пакете, чтоб я вытер руки, и раскрыла блокнотик. Но я не видел ее. Я смотрел на дверь. Наконец под традиционный возглас девушки-швейцара: «Ирассяй масэ!», который обращен и к посетителю и к офици-

антам — для первого он приглашение войти, а для вторых сигнал, что нужно встретить и усадить гостя, — в кафе появился Масао Майя.

Он был взволнован не меньше меня. Ничего не произнося, он расстелил на столике газетный лист. «Беседа с Лениным. Собственный корреспондент в Москве Рё Накахира», — прочитал я в правом верхнем углу газетной полосы. Это была «Осака Асахи» за 13 июня 1920 года.

Я не помню, какие слова благодарности я говорил Масао Майя и говорил ли их вообще. Я сразу же погрузился в чтение.

Майя сидел подле, и когда попадалась фраза, изложенная по канонам старой японской грамматики и я не вполне понимал ее, он тотчас приходил на помощь. Вышедшие из употребления иероглифы, которые я не мог разобрать, Майя крупно выписывал на бумажных салфетках и растолковывал мне их значение. Вместе с Майя — он, наверное, уже не первый раз — мы тут же, в кафе, не отрываясь, прочитали интервью «собственного корреспондента в Москве» Рё Накахира.

Прежде чем приступить к изложению беседы с Лениным, корреспондент «Осака Асахи» писал:

«...Ленин принял нас исключительно просто и сердечно, как своих старых друзей. Хотя он занимает высший пост в России, в его манере и обращении не было и намека продемонстрировать свое высокое положение».

Затем Рё Накахира рассказал о своей беседе с Лениным.

«Не дожидаясь наших вопросов, Ленин заговорил сам. Коснувшись японо-русских отношений, Ленин выразил глубокое сожаление по поводу позиции Японии, которая не проявляет готовности пойти навстречу миролюбивым шагам рабоче-крестьянского

правительства России. «Рабоче-крестьянское правительство,— отметил он,— именно потому, что оно придерживается миролюбивых принципов, пошло на признание буферного государства на Дальнем Востоке»¹.

Перейдя на другие темы, Ленин задал один за другим ряд вопросов: «1. Являются ли помещики в Японии господствующим классом? 2. Могут ли японские крестьяне свободно владеть землей? 3. Живет ли японский народ главным образом за счет внутренних ресурсов страны или Япония импортирует большое количество товаров из-за границы?»

Таким образом, Ленин дал нам ясно понять, что его глубоко интересует жизнь японского народа.

Затем Ленин задал такой интересный вопрос: «Я прочел в одной книге, что в Японии родители не бьют своих детей. Так ли это?» Мы ответили: «Исключения, конечно, бывают, но, как правило, у нас не бьют детей». Он с большим удовлетворением отметил, что один из принципов рабоче-крестьянского правительства тоже заключается в отмене телесного наказания детей.

Мы задали несколько вопросов о революции в России и о перспективах ее развития.

Кратко изложив историю русского революционного движения, Ленин сказал: «До революции русский рабочий класс и крестьянство подвергались невиданному в истории угнетению. В результате этого угнетения дух протеста народных масс все более усиливался и привел к революционному взрыву. Именно в этом и кроется причина того, что, несмотря на сравнительно слабую организованность низших слоев населения России и несмотря на низкий по сравнению с другими странами уровень грамотности, революционное движение все-таки не удалось подавить. Ныне русский рабочий класс и крестьянство имеют более чем двухгодичный опыт революции и прошли замечательную школу политической и социальной учебы. Опыт, накопленный в течение этих двух с половиной лет, вполне можно сопоставить с многовековым развитием».

Потом мы спросили: «Рабоче-крестьянская республика принципиально отказалась выплатить долги по займам царского правительства, однако она обещала по заключении мира с Эстонией выплатить ей большую сумму золотом. Чем это объяснить?»

Ленин широко улыбнулся и ответил: «Эстония благожелательно относится к рабоче-крестьянскому государству, и рабоче-крестьянское правительство в ответ на эту благожелательность дало обещание уплатить ей золотом». Затем он сказал: «Очень трудно иметь дело с имущими классами. Представители имущих классов по самой своей природе думают только об удовлетворении своей алчности к деньгам. Взять, например, Америку. Америка предложила нашему рабоче-крестьянскому государству заключить мир. Но если внимательно изучить это предложение, то, оказывается, оно носит с начала и до конца грабительский характер. Это для нас неприемлемо. Поэтому мы принципиально отказались от подписания такого мирного договора. Конечно, мы не хотим, чтобы за границей на нас смотрели как на слабое государство. Есть основания думать, что чем дольше страны Антанты будут отказываться от признания рабоче-крестьянского государства и будут пытаться осуществлять военную интервенцию в России, тем выгоднее это будет в конечном итоге для нас.

Большие перспективы открываются перед промыш-

ленностью России. Возьмем, к примеру, хотя бы энергетику. Если она будет развита до высокого уровня, мы сможем электрифицировать все отрасли хозяйства. Созидательные возможности коммунизма скоро дадут большой эффект в разрешении всех этих проблем и будет сделан такой гигантский шаг вперед, который можно сравнить с прогрессом, осуществляющимся в течение многих десятилетий».

Итак, неизвестный у нас документ, еще одна ленинская страничка, найден! Я еще и еще раз внимательно прочел запись Рё Накахира и вдруг заметил, что в манере изложения беседы было что-то необычное для японской газеты. Ну конечно же! Корреспондент писал не от собственного имени, но во множественном числе — не так, как это принято в Японии. «Не дожидаясь наших вопросов...», «Ленин дал нам ясно понять...», «Мы ответили...» — такими выражениями пестрила информация Рё Накахира.

— Значит, Накахира был не один? — вопросительно взглянул я на Майя.

— Видимо, не один, — кивнул Майя.

Я обратил внимание Майя и на то, что приведенные в интервью высказывания Ленина, его вопросы к участникам беседы и их ответы напоминали запись, которую опубликовал в «Осака Майнити» и «Токио Нити-Нити» Кацудзи Фусэ.

— Я тоже заметил это, — сказал Майя. — Постойте, постойте, а каким числом датировано интервью Фусэ, не помните?

— Отлично помню: он передал его из Москвы по телеграфу четвертого июня.

— Смотрите, — постучал Майя пальцем по газетной странице, — Накахира пишет, что беседа состоялась третьего июня. Но телеграмму из Москвы отправил шестого июня.

Сомнений почти не оставалось: корреспонденты одновременно беседовали с Лениным.

Потом, сравнив интервью с Лениным, записанное Накахира, с тем, что изложил Фусэ, я окончательно убедился в этом. Но запись Накахира донесла до нас ответы Ленина, которые опустил Фусэ. А ответы эти касались причин успеха революционного движения в России, взаимоотношений Советской России с буржуазной Эстонией, позиции рабоче-крестьянского правительства в вопросе о выплате царских долгов.

Переведенный с японского языка текст интервью Накахира я отправил в Москву, в Институт марксизма-ленинизма, и текст этот был включен в 41-й том Полного собрания сочинений В. И. Ленина².

Меня одолевали вопросы: все ли, что говорил Ленин, изложил Рё Накахира в своей записи беседы? Как корреспондент попал в Советскую Россию? На эти вопросы мог ответить только сам Накахира. Но жив ли он? Масао Майя пожал плечами: он впервые слышал имя Накахира.

К кому обратиться? Кого спросить о Рё Накахира, корреспонденте «Осака Асахи»?

Я ИЩУ РЕ НАКАХИРА

При упоминании имени Рё Накахира старые журналисты, работающие в «Асахи», долго морщили лбы, произнося нараспев: «Со дэс нэ-э-э...» — фразу, которую точно перевести на русский язык невозможно и которая произносится каждым японцем, когда тот силится что-то вспомнить или думать,

¹ Речь идет о Дальневосточной республике, существовавшей с апреля 1920 года по ноябрь 1922 года.

² Текст беседы В. И. Ленина с японским корреспондентом Рё Накахира был обнаружен также Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в издававшемся в США журнале «Soviet Russia» (№ 6 от 7 августа 1920 года).

как ответить на ваш вопрос. Один из журналистов сказал, что был вроде такой работник в «Асахи» до войны; другой высказался определенной: да, был и ездил собственным корреспондентом газеты в Европу. Но что случилось с ним, никто не знал.

Однако журналисты все же нашли конец оборвавшейся нити. В Японии существует традиция в канун Нового года посылать не только родным и друзьям, но и всем сколько-нибудь знакомым поздравительные открытки. Учреждения тоже посылают новогодние открытки всем своим нынешним и бывшим сотрудникам. Газетчикам пришла в голову мысль поискать адрес Накахира в том отделе редакции, который отправляет эти поздравления.

Традиция оказалась исключительно прочной: более тридцати лет каждое тридцатое декабря Накахира посылались поздравления, хотя он ни разу на них не ответил. Так стал мне известен адрес человека, который беседовал с Лениным.

Но в доме, куда я пришел, никто не знал о Накахира, даже старожилы. Снова обратился я за помощью к журналистам. «Попробуйте навести справки у корреспондентов из клуба печати при полицейском управлении, — посоветовали мне. — Это вернее всего».

При японском парламенте, при всех министерствах, крупных учреждениях и организациях существуют так называемые «клубы печати». Есть такой клуб и при полицейском управлении. В него входят корреспонденты, поставляющие полицейскую хронику для газет, телевидения и радио. К ним-то мне и порекомендовали обратиться. Рё Накахира, побывавший в большевистской России, видевший Ленина, наверняка находился на учете тайной полиции, рассуждали мои друзья-журналисты. Корреспонденты «клуба печати» при полицейском управлении, знакомые с работающими там чиновниками и имеющие доступ к архивам, могли бы нащупать какую-нибудь нить.

Я направился в полицейское управление. Корреспондентам отдан здесь целый этаж.

Корреспондентов газеты «Асахи» предупредили о моем приходе. Когда я вошел к ним в комнату, один из них возился с фотокамерой, другой что-то громко и нетерпеливо диктовал по телефону. Корреспонденты, аккредитованные при «клубах печати», почти не показываются в редакциях своих газет, радио и телевидения. Их рабочее место — в клубе. Отсюда сообщают они новости, сюда приезжают курьеры за отснятой фото- и кинопленкой. Помещение, которое занимали корреспонденты «Асахи», напоминало библиотеку. Вдоль стен — от пола и почти до потолка — протянуты полки. На них лежали подшивки газет, справочники, словари, папки с различными индексами — судя по всему, досье... Телефонные книги — не только с номерами токийских абонентов, но и абонентов в Осака, Киото и еще в четырех или пяти городах — возвышались стопками на столе. Здесь же несколько телефонных аппаратов. Свободный простенок занимала подробная карта Токио.

В динамике под потолком то и дело раздавался голос дежурного по управлению: в районе Бункё дорожная катастрофа... пожар в Синагава... ограбление в Синдзюку... Очередное происшествие привлекло внимание корреспондентов, и тот, что возился с фотокамерой, кинулся из комнаты. Я знал, что во дворе полицейского управления его ждет готовая к выезду автомашинка. На ее радиаторе укреплен флажок с названием редакции. С этим флагом, с дальним светом фар, хотя солнце стоит в зените, и с включенным сигналом машина, не останавливаясь у

светофоров, помчится по токийским улицам: корреспондент спешит на задание, и его машина пользуется одинаковыми с автомобилями полиции и «скорой помощи» правами.

Динамик умолк. И пока он молчал, я поторопился изложить оставшемуся корреспонденту свою просьбу. Он понял меня с полуслова. Необходимо найти человека. Человек этот — бывший журналист, возраст — примерно семьдесят лет, в 1919—1920 годах побывал в России, встречался с Лениным, фамилия — Накахира, имя — Рё. Набросав это на листке, корреспондент выдвинул ящик картотеки. Видимо, картотека ничего не дала, потому что корреспондент, порывшись, задвинул ящик. Подумал с минуту, позвонил по телефону и, извинившись, вышел из комнаты.

Вернулся он нескоро.

— Ну что? Нашли?

Корреспондент казался смущенным. Листок, который он заполнил, был испещрен пометками, значками, неразборчивыми иероглифами.

— Архив довоенной тайной полиции сохранился, но находится не здесь, — проговорил корреспондент. Он помолчал и, избегая моего взгляда, добавил: — Вам, советскому человеку, его, пожалуй, не покажут и никаких сведений не дадут.

Корреспондент был расстроен. Ему хотелось помочь мне. Я это понимал. Я стал прощаться. Корреспондент задержал мою руку в своей.

— Обещаю что-нибудь сделать для вас.

Прошла неделя. Корреспондент «Асахи» из «клуба печати» при полицейском управлении позвонил мне. Нет, о Накахира он, к сожалению, ничего не смог узнать. Но он договорился о встрече с людьми, которые, как ему кажется, сообщат мне много интересного.

— Вечером за вами приедут.

Я с трудом дождался вечера. То и дело посматривал на часы: стрелки двигались, как никогда, медленно. Наконец вот он, звонок у подъезда. Я вышел. Улицу окутывала мгла. Сеял дождик, мелкий, как пыль. Молодой человек в больших черных очках, в шляпе с низкой тульей и широкой пестрой лентой на ней, в плаще с поднятым воротником — так одеты обычно гангстеры в японских детективных фильмах — распахнул дверцу дорогого «седрика», тоже черного, с затемненными стеклами.

Сначала я пытался было следить за дорогой, но скоро понял, что запомнить ее не удастся: «седрик», не сбавляя хода, нырнул в неосвещенные переулки, выскакивал на оживленные улицы и опять резко сворачивал в щели между домами.

Бешеная езда продолжалась минут сорок. Я и не заметил, как «седрик» вдруг остановился у невысокой стены с решетчатой калиткой. Молодой человек провел меня через небольшой садик к дому.

Четыре старца, облаченные в темные кимоно с широкими рукавами, спадавшими до пола, поджав ноги, сидели на циновках у низкого столика. В неярком свете лампы, стоявшей на полу, старцы эти выглядели пришедцами из старинного романа о самураях. Я назвал себя, раздал свои визитные карточки. Степенно склоняя головы, представились и старики. Сознаюсь, я оторопел, услышав, кто они. Трое оказались участниками военного мятежа 1936 года и один — членом «Союза императорского пути»! Фамилии этих людей мне ничего не говорили, но события, с которыми они были связаны и о которых я знал по учебникам истории, живо предстали передо мной.

В 1936 году недовольное медленным продвижением японской армии в глубь Китая и недостаточно реши-

тельными репрессиями против демократического движения внутри Японии офицерство решило свергнуть правительство и захватить власть. 26 февраля в Токио группа офицеров вывела из казарм воинские части и подняла мятеж. Они застрелили министра финансов (он противился чрезмерным военным расходам), убили министра — хранителя печати, нескольких крупных чиновников. Премьер-министр избежал смерти лишь случайно: офицеры зарубили его двоюродного брата, приняв того за премьер-министра. Мятеж, однако, не удался. Но зачинщики не пострадали: наказания, которым их подвергли, были странно мягкими, и скоро участники мятежа оказались на свободе. Некоторые офицеры состояли в «Союзе императорского пути». Это их идею — установить военную диктатуру — пытались осуществить мятежники.

Я смотрел на обрюзгих, морщинистых, сгорбленных стариков. Неужели это те фанатики, которые в 1936 году, не задумываясь, пустили в ход самурайские мечи, штыки, револьверы? Да, это были они. «Но чем бывшие офицеры-мятежники, эти бывшие фашисты, могли оказаться полезными в моих поисках?» — недоумевал я.

Старьки молчали. Я тоже молчал. Решил выждать, что они сами скажут.

Но начали они с вопросов. Их интересовало... строительство социализма в СССР. Не расскажет ли господин журналист об этом? Разумеется, о многом они наслышаны — газеты, радио, книги. Но, конечно, живой рассказ человека оттуда — это совсем другое. Я даже растерялся сначала: что знают и чего не знают они, что представляет для них интерес и что неинтересно? Так я и думал: первое, о чем они меня спросили, — Сибирь. Потом господ бывших офицеров, конечно же, интересовал советский парламент, и я рассказал о работе Верховного Совета, потом — о комсомоле и о медицинском обслуживании в нашей стране, о космонавтах и о ценах на хлеб и телевизоры... А когда я кончил, один из стариков, самый, пожалуй, древний, проговорил:

— Да, вы сильны. — Он пожевал губами и, не глядя на меня, добавил: — И вряд ли Японская империя смогла бы простереть свои границы до Урала... — Он повернул ко мне голову и, хитро сощурившись, спросил: — А почему бы вам не пригласить японцев для освоения Сибири? Это было бы для вас выгодно. Проведите на карте линию от Байкала на север и предложите японцам заселить земли, которые останутся к востоку от этой линии...

Я удивленно посмотрел на старика. Он уже не казался мне таким древним.

— Япония гибнет, она вырождается, — мрачно вставил другой старик. Он было задремал и сейчас проснулся. — Что это за страна, где премьер-министр должен советоваться с парламентом! Распустили «красных»... — бормотал он, забыв, наверное, что перед ним самый настоящий «красный». — «Красные» погубили Японию, премьер-министр тоже «красный»... — Голос старика вдруг окреп, глаза раскрылись, в них забежали злые огоньки. — Мы — сила, только мы можем спасти Японию! — Длинная фраза, видимо, утомила старика, он замолк и снова погрузился в дремоту.

Тот, который предложил заселить Сибирь японцами, заговорил снова. На этот раз о том, ради чего корреспондент «Асахи» и устроил эту встречу.

— Корреспондент из «клуба печати» при полицейском управлении сообщил мне, что вы ищете Рё Накахира, — сказал он. — Так, кажется? Могу сообщить вам, что до войны я работал в тайной полиции, о тех, кто был связан с Советской Россией, мне докла-

дывали особо, и я помню его. Мы действительно наблюдали за Накахира. Его взгляды были очень опасными. Очень... Поездка в Россию, конечно, повлияла на него. В своих писаниях он и не скрывал этого. Мы не оставляли наблюдения и тогда, когда Накахира ездил корреспондентом в Берлин и Лондон. Если не ошибаюсь, в 1931 году он ушел из газеты. И, знаете, мы содействовали этому. Накахира отправился в Маньчжурию. Ему предложили там работу. В конце войны он вернулся в Токио. Потом оккупация. Мы потеряли его из виду.

Не много же могли сообщить мне состарившиеся участники мятежа, сотрудники тайной полиции. Не много...

Я поднялся, начал раскланиваться.

— Впрочем, — как бы невзначай сказал «самый древний», — попробуйте поискать в Накано...

И он назвал запомнившийся ему по профессиональной полицейской привычке район в Накано, где поселился Накахира, приехав из Маньчжурии.

Поиски дома, в котором жил Ванновский, убедили меня, что в Японии иметь адрес — это далеко не все. Но на этот раз я даже адреса не имел. Накано... Все равно, что искать в Москве человека по адресу: Замоскворечье.

В этой части Токио, заселенной беднотой, иностранцы почти не появляются. Сопровождаемый любопытными, недоуменными взглядами, я обходил рисовые и овощные лавки, табачные киоски, аптеки и опрашивал их владельцев, которые, как правило, знают своих клиентов — жителей окрестных кварталов. Расспросы ничего не дали. Никто не слышал о Накахира.

Тогда я переключился на прачечные. В Токио их так же много, как и лавок.

Сворачивая из улочки в улочку, я размышлял, что бы еще предпринять, как вдруг увидел вывеску: почта. Ну как это мне сразу не пришло в голову обратиться на почту!

Старый и тощий почтовый работник выслушал меня, подумал, покачал головой: нет, ему неизвестно это имя. Но есть смысл подождать возвращения почтальона и спросить его. Я ждал, должно быть, довольно долго, или так мне показалось. Наконец, старый почтовый работник подвел ко мне совсем еще юнца в темной форменной тужурке.

— Накахира?

— Да, Накахира, — сказал я без всякой надежды.

— Нет, — огорченно вздохнул молодой почтальон. — Если б на его имя хоть раз в месяц поступало письмо, я б фамилию запомнил. Не сможете ли приехать через несколько дней? Попытаюсь разузнать.

Когда я снова зашел на почту, молодой почтальон встретил меня с улыбкой:

— Пойдемте, я покажу, где живет Накахира.

Мы пересекли улицу, служившую здесь торговым центром. Мелкие лавочки выставили свой товар на тротуар. Рядом — маленькие кафе, ресторанчики, где можно полакомиться сырой рыбой — «суси», японским шашлыком из птицы — «якитори». Возле парикмахерской — у ее дверей на металлическом шесте вращался традиционный светящийся шар с голубыми и красными полосами — завернули за угол и углубились в кривой переулок.

— Вон тот дом, — показал почтальон. — Видите? Вон на левой стороне. Квартира № 503...

Признаюсь, сердце мое было не на месте, когда я поднимался на второй этаж по узкой железной лестнице, ведущей прямо с улицы к двери квартиры № 503.

«НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ ИЗ РОССИИ...»

Ноябрь 1917 года. Владивостокский корреспондент «Осака Асахи» Рё Накахира, хорошо понимавший по-русски, жадно ловил все, что вокруг говорили люди о революции, о Ленине, о большевистской власти, все, что сообщалось из революционного Петрограда, и ежедневно отправлял в редакцию пространные телеграммы.

«Наш корреспондент сообщает из России...» — и Накахира писал в газету, как развивалась революция и как все труднее приходилось «красной России».

А весной 1919 года молодое Советское государство со всех сторон сжали фронты белых и интервентов: с востока наступал Колчак, с юга — Деникин, с запада — Юденич и белополяки, и кое-кому в антантовских столицах стало казаться, что дни Советской власти сочтены. В газете «Осака Асахи» пришли к такому же выводу. Редакция, естественно, очень хотела иметь своего корреспондента — очевидно гибели большевиков. И в мае 1919 года Рё Накахира было предложено пробраться в Москву. Накахира понимал, конечно, как сложно, опасно путешествие японского корреспондента в столицу Советской России, обложенной войсками белых и интервентов, в том числе и японскими войсками. Но — «мы рассчитываем на вас...» Да и велико было желание журналиста увидеть страну большевиков собственными глазами!

И Накахира тронулся в путь.

Омск, куда он приехал, тонул в сухом июньском зное, по улицам маршировали колчаковские солдаты, пестрая толпа суетливых беженцев угодливо уступала дорогу офицерам в американских, английских, французских, японских мундирах.

Миновав шеренгу автомобилей колчаковских министров и иностранных послов, Накахира вошел в огромный вестибюль Управления Омской железной дороги. Здесь находилась ставка Колчака, и здесь Накахира должен был получить письменное разрешение на следование дальше, к фронту. Накануне Рё Накахира долго беседовал с офицерами японской миссии. Они предостерегали его от поездки в Советскую Россию: там тиф косит людей, а оставшихся в живых добивает голод. Еще говорили они, что народ там вот-вот поднимется против большевиков, которых ненавидит, и тогда вместе с белыми войсками, без всякого риска, Накахира сможет попасть в Москву. Но Накахира был тверд в своем решении.

Мысли, противоречившие одна другой, теснились в голове Накахира, когда он уезжал из Омска в Пермь, поближе к линии фронта, чтобы там как-нибудь перейти фронт и, сдавшись советским властям, просить содействия в поездке в Москву.

В Перми ходили еще более ужасные слухи о положении в Советской России. Хозяева гостиницы, где остановился Накахира, рассказывали, что в Петрограде все голодают и едят сырым мясом павших лошадей, что на тротуарах валяются тела умерших от истощения, что большевики грузовиками вывозят за город трупы расстрелянных. Впервые Накахира заколебался, слушая все это: в самом деле, стоит ли ехать на верную, как все ему твердят, смерть? Не вернуться ли?

Рано утром Накахира разбудил шум: вся гостиница хлопала дверьми, в коридоре слышался беспорядочный топот множества ног, раздавались истерические крики и рыдания. Накахира вскочил с кровати, полуодетый открыл дверь и увидел невообразимую панику. Что случилось? Что случилось? Никто даже не повернул голову в его сторону. Толкая друг дру-

га, постояльцы с чемоданами, корзинами, узлами сбегали по лестнице вниз.

Но что же все-таки случилось? Накахира тоже выбежал из гостиницы и сразу все понял. Улица разъяренно гудела и суматошно неслась куда-то — пешие, конные, в повозках колчаковские солдаты поспешно покидали город. Накахира вспомнил вчерашнюю пермскую газету: в ней расписывались боевые успехи армии омского правительства...

Паника была столь внушительной, что на какую-то минуту передалась и ему. Он быстро поднялся к себе в номер, бросил в чемодан вещи и — к выходу. Он уже был на лестнице, но остановился. Нет, не для того добрался он до Перми, чтоб возвращаться на восток! Только дальше, на запад, только в Москву! И медленно вернулся в номер, поставил чемодан в угол.

Из-за реки ударила артиллерия. Накахира догадался: это стреляли красные. Из города им ответили белые. Накахира показалось, что снаряды рвутся над крышей гостиницы, над самой его головой.

Он спустился в подвал.

В подвале уже было много народу — горничные, швейцары, официантки, еще какие-то люди, видимо, жильцы соседних домов. У стены против двери горела керосиновая лампа, но в шаге от лампы было все равно темно. Никто, казалось, не обращал внимания на канонаду, доносившуюся сверху. Где-то совсем недалеко разорвался снаряд — так ухнуло, что стены задрожали.

На следующий день, первого июля, Красная Армия вошла в Пермь. Накахира выглянул из окна гостиницы и понял: он уже в Советской России.

Когда он выходил из гостиницы, увидел группу красноармейцев, расположившихся на мостовой, и медленно, с неуверенностью направился к ним.

Вопрос Накахира, как пройти в комендатуру, заставил всех красноармейцев повернуть к нему головы. Накахира говорил по-русски, но с явным акцентом.

— Э, да ты, брат, китаец? — приподнялся один из красноармейцев, разглядывая Накахира.

— Японец, — сказал Накахира.

Его повели в штаб.

В штабе внимательно выслушали все, что сказал о себе Накахира. Рослый командир, видно, очень утомленный — глаза у него от недосыпания были совсем красные, громко рассмеялся, когда Накахира передал ему омские рассказы о большевистских «ужасах».

— наших врагов, капиталистов и помещиков, мы действительно уничтожаем, если они не сдаются и воюют против нас. А рабочие и крестьяне, раз они приходят от белых на нашу сторону, — это не пленные. Какие же это пленные, они наши, — чуть приподнято произнес командир. Он вырвал листок из блокнота, нацарапал карандашом, что «предъявляю сего разрешается проезд в Москву». Тут же круглолицый красноармеец прилепал на листке печать.

— Ехай!

Командир даже посоветовал, как перебраться на другой берег Камы, — белые взорвали мост.

С попутным обозом Накахира проехал от Перми километров пятьдесят и заночевал в деревне, в крестьянской избе, вместе с красноармейцами, следовавшими к фронту. Они радушно встретили его, пили с ним чай, дали сахару, воблы, яблок. Разговор затянулся допоздна. Красноармейцы толковали о крестьянской жизни при царе, хвалили большевистское правительство, которое дало им землю. Но когда Накахира вышел из избы, все же проверили содержи-

мое его чемоданчика. В нем нашли они карту, колчаковский пропуск в прифронтовой район, браунинг... Накахира немедленно отвели к командиру части. «Шпион. В расход!» — коротко бросил тот. Никакие объяснения, никакие мольбы Накахира не помогали. Командир был непреклонен: «В расход!»

Смотреть, как поведут на расстрел шпиона, сбежалась вся деревня. Так и закончилось бы здесь, в деревне под Пермью, путешествие корреспондента «Осака Асахи» в страну большевиков, если бы в последнее мгновение он не вздумал крикнуть:

— Не расстреливайте меня! Я еду к Ленину! Ленин знает газету «Асахи»! Дайте ему телеграмму, сообщите ему о моем приезде!

— Телеграмму товарищу Ленину? — удивленно и строго посмотрел командир на Накахира. Жестом остановил конвоиров. — Асахи... Асахи... А что оно, это Асахи?..

— Газета «Асахи»! Ленин ждет меня в Москве! — продолжал выкрикивать Накахира.

— Ленин, говоришь, тебя ждет? А идешь к нему с документами Колчака и револьвером. Голову морочишь! Шпион? Сознаться...

— Немедленно телеграфируйте Ленину, — уже осмелел Накахира. — Прошу немедленно телеграфировать Ленину!

Как ни наивна была уловка Накахира, но имя Ленина возымело магическое действие. Выражение лица командира, заметил Накахира, смягчилось. Но он все еще испытующе, в упор смотрел на задержанного. Потом твердо произнес:

— Вот что. Бойцы отведут тебя обратно в Пермь. Понял? Там разберутся, кто ты есть...

Накахира поднялся, запахнулся в кимоно, ткнул в уже полную пепельницу окурков, придавил его пальцем и тут же достал из пачки новую сигарету. Он зашагал по маленькой комнате от стены к стене. Я видел, как его глаза возбужденно заблестели, слышал, как окреп его голос: в нем, должно быть, пробудился Накахира девятнадцатого года. Во всяком случае, таким я его себе представил.

Это уже был не тот сторбленный, поникший японец, который открыл мне дверь, когда я нажал кнопку звонка в квартиру № 503. Тогда на застывшем, как маска, лице, перепаханном тяжелыми морщинами, жили только глаза. Они настороженно и растерянно смотрели на меня из глубоких коричневых впадин, словно ощупывали всего. «Что нужно от меня иностранцу?» — говорил его взгляд.

Не сразу прошли настороженность и удивление. Потом, когда мы разговорились, когда я рассказал, как долго разыскивал его, этот всеми забытый, весь какой-то выдохшийся, видно, давно ушедший в себя человек даже обрадовался неожиданной возможности снова, спустя почти пятьдесят лет, пережить, быть может, самое значительное, что было в его жизни.

— Итак, имя Ленина открыло мне дорогу в Москву. Какая же сила в этом человеке, раздумывал я долгими днями, пока плыл на забитом людьми пароходе из Перми в Нижний Новгород, — вспоминал Накахира. — Я должен обязательно увидеть Ленина! — решил я. — Он затянулся сигаретой, выпустил дым, замолчал. — Но прошел год, прежде чем я встретился с ним.

Об этом годе, полном лишений и опасностей, необычайных событий, самых неожиданных встреч, и рассказывал Накахира голосом, обретшим бодрость и энергию, которые трудно было предположить в этом человеке, источенном годами и, должно быть,



Рё Накахира в Советской России

бедами. Он много ездил — и все, что видел и слышал, заносил в блокноты. По возвращении в Японию эти заметки дали ему возможность написать серию репортажей, которую Накахира назвал «Путешествие в красную столицу. Рабоче-крестьянская Россия моими глазами». Эти репортажи и составили книгу «Год в красной России».

Я читал репортажи Накахира. Японский корреспондент очень точно подмечал то новое и великое, что принесла революция, хотя в первые недели пребывания в Советской России упорно старался не видеть грандиозных преобразований (об этом корреспонденты из Москвы свидетельствуют тоже). Он понимал, что от него ждут статей, очерков о близком крахе большевиков. Но как поначалу ни старался он найти приметы краха, их не было. И блокноты заполнялись совсем не теми фактами, какие хотели получить в «Осака Асахи».

«Представшая моим глазам Москва не имела ничего общего с той картиной, которую я нарисовал себе, основываясь на слухах, — сделал Накахира первую запись в блокноте. — На улицах я не нашел умерших от голода людей. Трясаясь на повозке по московской булыжной мостовой, я видел магазины, где продавали хлеб».

В Народном комиссариате иностранных дел Накахира встретили весьма холодно. Враждебная позиция Японии в отношении Советской России, содействие колчаковцев при проезде Накахира через Сибирь вызывали естественную настороженность к нему. Но

все же Накахира разрешили пробыть в Москве неделю.

До поздней ночи бродил он по улицам. Он прислушивался к тому, что говорили люди, сам вступал в беседы и наблюдал, стараясь ничего не упустить, во всем разобратся, все понять. Вот как описал он одну из своих встреч с москвичами:

«Однажды, отшагав по московским улицам километров двадцать, я устал до того, что еле волочил ноги. В каком-то переулке я увидел телегу, в которой дремал мужик. Я окликнул его. Помедлив немного, подумав, он согласился подвезти меня. Чтобы завязать разговор, я сказал:

— Бог дает нам хлеб, а большевики говорят, что бога нет.

Уже был случай, когда, начав такими словами беседу, я расположил человека к себе и услышал немало любопытного.

— Нет, я так не думаю, — ответил мужик. — Бога действительно нет. За счет бога попы живут в роскоши. Заупокойную молитву отслужат — гони трех кур. За то, чтоб обвенчаться, плати деньги. Получается, что бог-то — они сами. Я понял это совсем недавно. Большевики правду говорят. — Мужик помолчал, стегнул лошадь и продолжал: — Я читать очень люблю и читаю книжки Ленина. Дома, в деревне, отец-старик ругал меня за это, так я потихоньку от него читал. Ленин — большой человек. Ученый. В прошлом году приехал я в Москву и на митинг попал, где Ленин выступал. Он говорил, сняв шапку перед народом. Когда я увидел это, понял, что за человек Ленин».

Подобные встречи, разговоры на улицах, сбор материалов о политическом и экономическом положении Советской России в то тревожное и суровое время показались подозрительными, и Накахира арестовали. Но в тюрьму не заключили, а разрешили жить под охраной в гостинице, писать, получать газеты. Накахира даже выделили хлебный паек.

Домашний арест продолжался недолго. Эпидемия тифа, вспыхнувшая в Москве, не обошла и Накахира. Когда он оправился от болезни, но был еще слаб и истощен, его отправили в санаторий в окрестностях Москвы. Три месяца отдыхал он там. «Это меня, человека из вражеской страны, — в санаторий?..» Похоже было, Накахира и сейчас еще удивлялся великодушию большевиков. В одном из репортажей Накахира так писал об этом первом советском санатории:

«Рабоче-крестьянское правительство вовсе не нуждается работать людей, лишившихся трудоспособности из-за ранения или болезни. Правительство помогает таким людям. Санаторий, куда я попал, как раз и являлся местом, где лишившиеся трудоспособности люди лечились или отдыхали. Лечение и отдых оплачиваются правительством».

Многое поразило в санатории человека из другого мира. И то, что он разместился в конфискованном помещицком доме с роскошной мебелью, и то, что отдыхавшие в нем далеко не все члены партии большевиков. Запомнилась Накахира и молодая сестра милосердия, которая встретила его, японца, возгласом: «Вот замечательно! Теперь наш санаторий станет интернациональным!»

Этот маленький эпизод вспоминался ему потом, когда он сталкивался с проявлением в Советской России равенства всех национальностей и рас. Накахира писал:

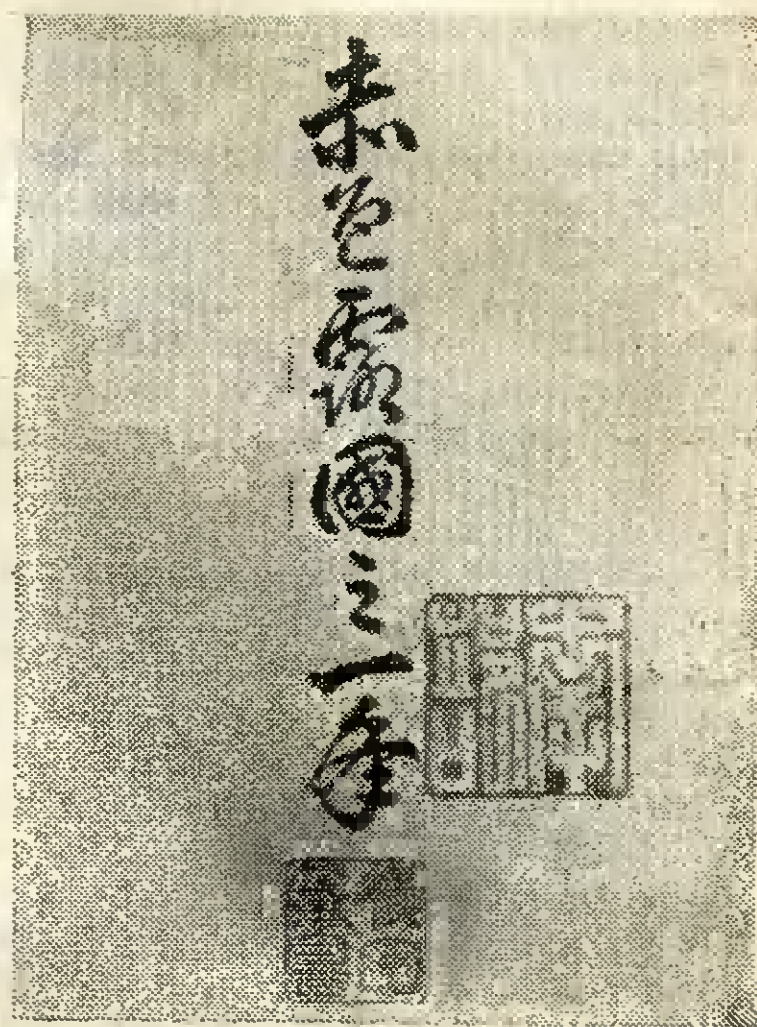
«Знаменитый лозунг Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» стал девизом рабоче-крестьянского правительства. Его видишь всюду: на обложках книг и на денежных знаках, на официальных

бланках и на стенах домов. Вместе с ним вездесущая пятиконечная звезда, которая символизирует единение пяти континентов».

Японский журналист не раз удивлялся совершенно необычным формам и методам обращения большевиков к народу. Но затем убедился, что прямой и ясный язык, каким они разговаривали с массами, и был единственно правильным и потому массы верили большевикам и шли за ними.

Накахира припомнил плакат, выпущенный, судя по всему, во время «партийной недели», и две-три строки из стихотворной подписи к нему. Вернувшись в Москву, я восстановил полный текст подписи. Это были стихи Маяковского:

Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд —
Всех по очереди словит Деникин,
Всех сожрет генеральский рот.
Если ж на зов партийной недели
Придут миллионы с фабрик и с пашен —
Рабочий быстро докажет на деле,
Что коммунистам никто не страшен.



Титульный
лист книги
«Год в Красной
России».

Накахира описал и агитпароход, на котором побывал:

«По дороге из Перми в Москву я видел агитпароход «Красная звезда». Звезда со скрещенным серпом и молотом в центре — символ Рабоче-крестьянского правительства. Серп и молот обозначают союз рабочего класса и крестьянства. Красный же цвет — это цвет революции. Я заглянул вовнутрь агитпарохода. Салон использовался как кинозал. В нем собирались жители сел и городов, у которых причаливал пароход. Здесь же, в салоне, они слушали лекции, речи. В соседней с салоном комнате располагался книжный и газетный киоск. На палубе играл оркестр. «Красная звезда» и другие такие же пароходы, плавающие вверх и вниз по реке — от Перми до Каспийского моря, — просвещают народ. Книги на пароходах раскупаются очень быстро. При рабоче-крестьянской власти продают и те изданные до революции книги, которые не противоречат рабоче-крестьянским идеям. Но гораздо больше продается книг, выпущенных самой рабоче-крестьянской властью. Правительство установило низкие цены на книги, гораздо ниже, чем на другие товары. На книги огромный спрос. Особенно трудно достать сочинения Ленина».

Да, тиражей книг Ленина, как ни были они вели-

ки, не хватало. Большая, разбуженная большевиками страна жадно ловила каждое слово вождя, и поначалу Накахира не мог понять, почему каждая книга Ленина, каждое его выступление вызывали живейший интерес целого народа.

Накахира не мог забыть, как сплочен был трудовой народ революцией. Однажды в Москве, попав на митинг, он сумел пробиться к самой трибуне и записать, правда, отрывками, речь «комиссара», как назвал выступавшего журналист.

«— Товарищи! Сейчас под страшной угрозой стоит наша революция,— неслись с трибуны слова.— Капиталист, помещик, банкир, генерал, вся шайка всесветного капитала обрушивается на нас... Колчак отнимает у крестьян землю! Заводчики хотят въехать на белом коне в нашу страну и плотно сесть на шею рабочему!.. Все под знамена! Все против душителей, заставляющих нас голодать, сжигающих наш хлеб, грабящих нас со всех концов! Да здравствует рабочая оборона! Да здравствует рабочая победа!»

Когда «комиссар» спустился с трибуны, Накахира подошел к нему и спросил:

«— Вы, наверное, думаете сагитировать за Советскую власть и другие народы?»

И услышал в ответ:

— Да, конечно. Но главной пропагандой социализма будут не речи, а само Советское государство».

«Рабоче-крестьянское правительство считает, что для осуществления идеалов коммунизма необходимо всеобщее просвещение народа, и прилагает все силы для этого»,— писал Накахира в корреспонденции «Великое стремление к просвещению».

«Я видел, как бородатые мужчины усердно учили азбуку,— продолжал Накахира.— Грамоте обучают и в армии. Даже в больницах и военных госпиталях медицинские сестры учат пациентов грамоте. На вокзалах каждый желающий может бесплатно почитать книжку».

В восьми письмах из Москвы, опубликованных в «Осака Асахи», Рё Накахира рассказал об энтузиазме людей, работавших для фронта, изобразил картину переезда рабочих семей из темных, сырых подвалов в просторные квартиры богачей и многое другое. Накахира приложил много стараний, чтобы читатели поняли: лозунг революции «Кто не работает, тот не ест» справедлив. Репортажи он закончил словами: «Возвращение к царизму невысказано».

— Понимаете,— остановился Накахира передо мной.— Это было логическим следствием из всего того, что я видел, чему был свидетелем. Больше того, это было для меня открытием. И тогда я окончательно понял, что иностранная интервенция в Советской России обречена, что война против власти рабочих и крестьян беспредельна. Да, возвращение к царизму было невысказано.

В феврале 1920 года японские солдаты, воевавшие против отрядов Красной Армии и партизан на Советском Дальнем Востоке, читали листовку, в которой говорилось:

«Мы были счастливы, когда узнали, что уже есть сознательные японские солдаты, которые отказываются продолжать эту несчастную войну. Настал момент, когда японский солдат должен показать, желает ли он оставаться рабом, наемным полицейским капиталистов или он желает быть свободным человеком. Настал час возвращения японского крестьянина к своему мирному труду, к добрососедским отношениям с Великой Советской социалистической республикой».

Листовку — об этом я узнал гораздо позже, уже в Москве,— написал Рё Накахира.

В о что бы то ни стало встретиться с Лениным! Эта мысль не оставляла Накахира ни на минуту.

— Я несколько раз спрашивал в Народном комиссариате иностранных дел, нельзя ли получить интервью у Ленина, но ответа на мою просьбу все не было,— продолжал Рё Накахира рассказ.— Я понимал, конечно, что осуществить мое желание трудно, очень трудно: Япония воевала против Советской России, а газета «Осака Асахи», которую я представлял, публиковала немало клеветы о большевиках. И все же я не терял надежды встретиться с Лениным, услышать его.

В начале марта 1920 года Накахира представилась возможность попасть на торжественное заседание Московского Совета, посвященное годовщине III Интернационала, и там он впервые увидел Ленина. О выступлении Ленина на этом заседании Накахира в книге «Год в Красной России» написал так:

«Когда он — небольшого роста — появился на трибуне, разразились неистовые аплодисменты. На его лице — печать необъятного интеллекта. Он говорил ровным голосом, как профессор в аудитории. Его эрудированная речь наполнена глубоким содержанием. Ни одного лишнего слова, никаких пустых фраз. Каждое его слово обжигает, каждое слово раздувает огонь революции — таков Ленин».

Однажды в руки Накахира попала брошюра В. И. Ленина «Великий почин».

— Многого я не понял в этой брошюре, а кое-чему, честно говоря, и не поверил,— говорил мне Накахира.— Не поверил я прежде всего в то, что рабочие участвовали в коммунистических субботниках добровольно, без принуждения. Возможно ли, чтобы рабочие соглашались трудиться бесплатно, да еще в свободное время, размышлял я.

Когда Накахира узнал из газет, что 1 Мая 1920 года объявляется всероссийским субботником, он обрадовался. Труд по принуждению, из-под палки, несложно распознать. Вот тут-то он и сможет проверить, правду ли пишут большевики о коммунистических субботниках.

Утром 1 Мая он прочел обращение к народу Центрального Комитета РКП(б), Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Всероссийского Совета Профессиональных Союзов. «В день Первого мая,— говорилось в обращении,— праздничным трудом русский пролетариат скажет всему миру: мы победили царя, помещика, капиталиста и чиновника, мы победим проклятое наследие буржуазии и затеянной ею войны — хозяйственную разруху и построим новый мир, без гнета и насилия, мир равенства, братства всех трудящихся и всех народов». Слова «праздничный труд» поразили Накахира. Можно ли ставить рядом эти два слова? Праздник — это ведь избавление от труда! Ведь праздник и труд несовместимы, как счастье и горе, добро и зло!

В раскрытые окна московской квартиры, где жил Накахира, ворвались звуки духового оркестра и песни. Накахира поспешил на улицу.

Праздник чувствовался во всем: на домах развевались красные флаги, шли дети с цветами и зелеными ветками в руках, проехал агиттрамвай, тоже украшенный флагами; в первом вагоне оркестр играл марш. Люди с лопатами, кирками в руках шагали в колоннах, веселые, радостные, они пели, шутили, смеялись. Накахира пристроился к одной из колонн и зашагал вместе со всеми.

Набережная Москвы-реки, куда вышел Накахира, была захламлена мусором, битым кирпичом, полусгнившими бревнами. Мужчины начали растаскивать бревна, женщины стребали мусор и на носилках уносили его к реке. За женщинами двигались, выстроившись в цепь, люди с лопатами и дружно вскапывали землю.

— Тебе что, лопаты не хватило? — Перед Накахира стояла молоденькая девушка и, улыбаясь, оглядывала его с головы до ног. — На! Вот лишняя!

И не успел Накахира что-либо сказать, как девушка схватила его за руку, потащила за собой, поставила в цепь и, убегая, крикнула: «Веселей, товарищ!»

Сначала лопата вырывалась из рук, косо втыкалась в землю. Ладони скользили по древку, пальцы не слушались. Но скоро Накахира вошел в ритм, в котором работали соседи, и не отставал от них. А когда кто-то из мужчин запел: «Англичанин-мудрец...» — и несколько голосов подхватили: «Эх, дубинушка, ухнем!», Накахира, незаметно для самого себя, тоже запел эту уже ставшую ему знакомой песню.

— Я потом не раз вспоминал свое участие в субботнике коммунистов, — смеясь, рассказывал Накахира. — И спрашивал, что же заставило меня работать? Может быть, девушка, которая дала мне лопату? Она так уверенно обратилась ко мне, и такое сожаление, что я остался без лопаты, светилось в ее взгляде. А может быть, меня захватил веселый азарт, с которым трудились люди?

Вдруг песня оборвалась. Накахира услышал чеканный солдатский шаг. Издалека, увидел он, к работающим приближался отряд красноармейцев. Тяжестю налились руки Накахира, плечи, заныла спина. Пришли усталость, безразличие и обида: «Они, видно, думают, что мы не будем работать, разбежимся, и станут теперь охранять нас...» — смотрел Накахира на отряд красноармейцев. И радостное возбуждение, которое испытывал только что, пропало. Он бросил лопату, отвел в сторону глаза и растерянно вытирал о штаны руки.

— Стой! — скомандовал командир отряда. — К ноге!

Накахира поднял голову и увидел: дружным взмахом красноармейцы сняли с плеч не винтовки, а... лопаты и заступы.

Было около часу дня, когда кто-то принес весть: на субботнике в Кремле работает Ленин! Все заволновались.

— Ильич-то, слышал, тоже бревна таскает?

— Так он же нашенский!

— Плечо бы не повредил, ведь прострелено оно у него...

Накахира больше не мог работать. Он потихоньку поставил лопату и со всех ног бросился в Кремль. Но Ленина в Кремле уже не было. «Ленин ушел на Театральную площадь, памятник Марксу закладывать», — сказали Накахира.

Но и там Накахира не застал Владимира Ильича — Ленин уже отправился на закладку другого памятника — «Освобожденному труду». И журналист побежал на набережную, где должен был состояться митинг, посвященный закладке этого памятника. И — опять не повезло!

— Первое мая 1920 года стало для меня днем нового открытия, — вспоминал Накахира в разговоре со мной. — Оказывается, труд, даже тяжелый физический труд может приносить радость. И я понял правоту большевиков, назвавших труд праздничным. В тот день он и для меня был таким. А когда в газете прочитал лозунг: «Рабочий! Первого мая ты бьешь молотом не по наковальне, а по медному лбу

международной буржуазии. Чем крепче удар, тем ближе победа!», — я подумал, что и мне пришлось немного подержать в руках этот молот. И, знаете, я испытывал радость.

Рё Накахира раскрыл свою книгу «Год в Красной России», нашел главу, где описывал трудовой энтузиазм, свидетелем которого он был, и, указав на заключительные строки главы, сказал:

— Эта мысль пришла тогда, во время субботника. Мне кажется, я узнал в тот день главное, что отличает рабочих и крестьян Советской России от трудящихся других стран.

Накахира передал мне раскрытую книгу. Я прочел:

«Ленин ясно указывает, что если рабочие и крестьяне сами не сделают чего-либо, то этого для них не сделает никто, что все — в их руках. Ленин не обещает рая. Он говорит: все, чего можно достигнуть, будет достигнуто, но только в том случае, если рабочие и крестьяне приложат к этому руки. У рабочих и крестьян рождается поэтому чувство причастности, ответственности за то, что происходит вокруг, у них рождается чувство, что они хозяева своей страны».

— Встретиться с Лениным... Это желание еще больше охватило меня, и я понимал, если не встречу с Лениным, не поговорю с ним, не смогу вернуться домой. Наконец моя мечта сбылась. Произошло это третьего или четвертого июня, точно не помню. Кацудзи Фусэ, корреспондент «Осака Майнити» и «Токио Нити-Нити», — Ленин принял нас вместе, — написал, что беседа состоялась четвертого. Возможно. Моя корреспонденция помечена, правда, третьим июня. Но самую встречу с Лениным я запомнил хорошо, очень хорошо.

Вот как запомнилась Накахира эта беседа...

Ленин принял японцев в своем кабинете в Кремле. Он крепко пожал им руки, усадил в кресла у стола, сел сам, непринужденно подпер рукой голову, и сразу исчезла скованность, которую чувствовали корреспонденты, когда вошли в кабинет. Накахира казалось, что он пришел не к вождю революции, о котором говорил весь мир, а к давнишнему другу.

Ленин буквально засыпал японцев вопросами: «Каково у вас положение безземельного крестьянина? Как и сколько он платит помещику? Какие у вас помещики? Сколько десятин у среднего и у крупного? Есть ли крестьянские организации?»

— А вы сами из какого класса? Интеллигент? — спросил вдруг Ленин. Он взглянул на Фусэ.

— Я сын мелкого помещика, — ответил тот.

— То есть? Сколько же десятин у вашего отца? — допытывался Ленин.

Корреспондент сказал:

— Несколько десятков десятин.

— Позвольте, позвольте, — живо возразил Ленин, — так это совсем не мелкий помещик. Для Японии это уже средний, почти крупный землевладелец. Значит, вы буржуйчик, — лукаво улыбнулся он.

И на смутившегося японца снова посыпались вопросы об электрификации Японии, о системе образования, об отношении к детям, о внутренних ресурсах страны.

Корреспонденты раскрыли блокноты и начали спрашивать сами. Отвечая им, Ленин говорил, что смотрит оптимистически на будущие отношения Советской России и Японии, несмотря на все то, что произошло за последние годы, несмотря даже на непримиримую позицию некоторых кругов Японии по отношению к нам.

Он посмотрел на обоих.

— Вы интересуетесь, сколько лет понадобится

нам на переход от капитализма к социализму? — Ленин вышел из-за стола, прошелся по кабинету и остановился у кресел, где сидели журналисты.

— Трудно определить срок вообще; чтобы свергнуть старый строй — не надо много времени, но создавать новый строй в короткое время невозможно. Мы приступили к осуществлению плана электрификации промышленности и земледелия, без электрификации коммунистический строй неосуществим, а наш план электрификации составлен на срок в десять лет при самых благоприятных условиях. Вот это — наш минимальный срок для создания нового нашего строя.

Фусэ спросил:

— Где коммунизм может иметь больше шансов на успех: на Западе или на Востоке?

И Фусэ и Накахира запомнили ответ Ленина:

— Настоящий коммунизм может иметь успех пока только на Западе, однако ведь Запад живет на счет Востока; европейские империалистические державы наживаются главным образом на восточных колониях, но они в то же время вооружают и обучают свои колонии, как сражаться, и этим Запад сам роет себе яму на Востоке.

На последний вопрос журналистов, каковы ближайшие задачи Советского правительства, Ленин ответил коротко:

— Во-первых, побить польских помещиков, вторых, добиться прочного мира, затем, в-третьих, развивать нашу хозяйственную жизнь.

Покидая Кремль, японские корреспонденты, взволнованные, восторженные, говорили сотруднику Народного комиссариата иностранных дел, присутствовавшему при беседе:

— Собственно, кто кого интервьюировал? Ленин нас или мы Ленина?

Рё Накахира — потрясенный встречей с Лениным — и слова больше вымолвить не мог. Он шел по кремлевскому двору, чуть отстав от Фусэ. Ему казалось, что все еще смотрит в живое, совсем простое и в то же время необыкновенно одухотворенное лицо Ленина.

Он услышал Фусэ. Фусэ сказал сопровождавшему их сотруднику Народного комиссариата иностранных дел:

— Необычайно! Необычайно! Это моя самая интересная беседа с самым интересным и самым простым человеком. — Фусэ, как и Накахира, был взволнован. — Знаете, еще в первые дни революции я в своих корреспонденциях из Петрограда обращал внимание читателей на Ленина как на человека, которому суждено играть решающую роль в судьбе революционной России. Поверите, меня в Японии даже обвинили в том, что я стал поклонником Ленина. Сейчас, после встречи с ним, я понял, насколько прав был, когда писал так о Ленине...

На другой день Рё Накахира принес свой текст интервью в Кремль. Ленин внимательно прочел его, вспоминает Накахира, сделал несколько поправок, вычеркнув или изменив такие выражения, как «Ленин решил», «Ленин отказался...»

— Один Ленин ничего не решает и ни от чего не отказывается, — сказал он. — Все вопросы решает рабоче-крестьянское правительство.

В редакции газеты «Осака Асахи» в то время не было людей, понимавших по-русски. Накахира же не знал английского языка. По его просьбе сотрудники Наркомата иностранных дел перевели текст

интервью на английский язык и даже передали его в Японию по наркоматскому беспроволочному телеграфу. В редакции, получив интервью на английском языке да еще по телеграфу от советского учреждения, видно, отнеслись к нему с недоверием и от публикации воздержались. Только после того, как десятого июня 1920 года газета «Токио Нити-Нити» поместила текст интервью Фусэ, решилась и «Осака Асахи» опубликовать материал Накахира. Это произошло лишь тринадцатого июня.

Я оглядываю тесную, не очень светлую комнату, в которой живет Накахира. Крышка стола, когда-то, должно быть, зеркально-гладкая, покособилась и потускнела. По всему видно — жизнь дается этому человеку нелегко. Накахира семьдесят лет. Бедность, болезни, старость — все это навалилось на него, и он, как может, выдерживает осаду.

Накахира пишет под псевдонимом статейки в мелких газетах, — это единственный источник существования. Но даже для этих газет писать ему теперь трудно: и годы не те, и сил нет.

После возвращения из России Накахира проработал в газете еще одиннадцать лет. В качестве ее корреспондента побывал в Берлине, в Лондоне. В 1931 году, когда хозяева «Осака Асахи» и «Токио Асахи», следуя за монархо-милитаристской кликой, готовившейся к агрессии в Китае, резко повернули вправо, Накахира ушел из газеты.

— Нет, я не стал идейным сторонником коммунизма ни тогда, когда был в вашей стране, ни теперь, — говорит Накахира. — Но я всю жизнь старался быть честным и хочу честным умереть. Я лишь хочу показать людям, что те, кто сейчас искренне стремится навсегда исключить войну из жизни общества, еще в 1917 году, придя к власти, требовали: «Мир — народам».

Меня мучил еще один вопрос, и я задал его:

— Где рукопись вашего интервью с пометками Ленина?

Ответ неутешительный: рукопись вместе со многими другими документами и фотографиями погибла в годы минувшей войны.

Тепло прощаюсь с Рё Накахира.

— Большое спасибо, — растроганно произносит Накахира. — Спасибо, спасибо, — повторяет он. — Моя встреча с Лениным, мое интервью с ним — самое счастливое воспоминание в моей жизни...

Вот и весь рассказ о поиске в Японии интервью с Лениным, остававшегося неизвестным советским людям. Поиск этот свел меня с людьми, которые помогли узнать о многих фактах, событиях, документах, связанных с Лениным. Со многими из этих людей я сблизился, мы стали друзьями.

Я не удивился, когда однажды мне позвонили:

— Вы ведь знаете, что на конгрессе Коминтерна, где выступал Ленин, присутствовала группа японцев. И Ленин беседовал с ними. Так вот, говорят, один из этих людей жив...

Может быть, мне посчастливится когда-нибудь найти этого человека. Я не теряю надежды на это.

Токио — Москва.

Е. Сидоров

СЛОВО ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА

(К семидесятилетию
со дня рождения
писателя)



Фото А. Лесса.

«Он, Леонов, очень талантлив, талантлив на всю жизнь...»
М. ГОРЬКИЙ

В советской культуре имя Леонида Максимовича Леонова давно окружено уважением и признанием. Его голос время от времени слышен каждому, даже тем, кто никогда не брал в руки его книги. Леоновские выступления в защиту споро искореняемых русских лесов и памятников русского зодчества, его рейд-бросок по охране российской орфографии от опустошительного набега новоявленных реформаторов создали писателю такую известность, которую имеет у нас далеко не каждый большой литератор, но лишь тот, кто еще и справедливый общественный деятель, заступник, как в старину говорили в народе.

Герои лучших леоновских книг — «Барсуки», «Скутаревский», «Русский лес», «Evgenia Ivanovna» — проходят перед взором, не создавая впечатления толпы, внезапно призванной на юбилейную ассамблею. Они существуют в нашем сознании как живое и необходимое выражение писательской воли, пытающейся осмыслить и пластически развернуть важнейшие философские и нравственные борения века. В этом смысле Леонид Леонов — цельный художник; можно сказать, что его главные герои, ввергнутые в неслыханную работу по переустройству человеческого мира, всегда отражают диалектическую мысль писателя, постоянно проверяющую себя в аргументах на обширных площадях романа. Взаимоотношения, отталкивания и притяжения этих героев сложны и противоречивы, поэтому так насыщена, даже громоздка словесная и композиционная партитура леоновских книг; это писатель не для порхающего чтения.

О романах и пьесах Леонова, ставших уже советской классикой, написано много, гораздо меньше — о публицистике. Между тем «прямой», не опосредствованный художественным анализом вклад писателя в нашу общественную мысль настолько весом и впечатляющ, что даже беглого взгляда довольно, чтобы заметить масштаб Леонова-публициста. Том его избранных статей и выступлений вышел недавно новым изданием; читая эту строгую книгу, постоянно ощущаешь тревогу художника и гражданина за судьбу нравственных и эстетических ценностей в современном мире.

Эта тревога передается читателю. В ней заложен сильнодействующий заряд взыскующей ответственности, которую должен разделить каждый из нас в меру сил и сознания. Речь идет об отношении к разумным и прекрасным основам нашего духовного существования, заключенным в понятиях «Родина», «родная земля», «родное искусство».

О чем бы ни писал Леонов, разговор у него всегда идет по такому счету. Он органически не способен смельчить, отписаться, слукавить. Свидетельство тому — «Русский лес», мощное художественное выражение ищущей мысли. Противоречия ее, ясно проступающие сегодня, полтора десятилетия спустя, не должны нас смущать, ибо правда (по справедливому выражению того же Леонова) «никому пока не попадалась в чистопородном виде»... О «Русском лесе» стоит сказать особо еще и потому, что там обнаруживаются почти все мелодии, которые потом так широко, так страстно-напряженно развернутся в леоновской публицистике... Но оставим на время роман и постараемся понять, чем нам дорого и близко слово Леонова, непосредственно взывавшее к современникам с некогда трепещущих

газетных страниц и не утратившее по сей день своей прелести и силы.

Наверное, прежде всего следует сказать о веществе его публицистики. По всем признакам стиля — это отличная русская проза. Леоновскую фразу, налитую тяжеловатой образностью, узнаешь мгновенно, открыв любую страницу. Кроме редкой талантливости, здесь зафиксирован немалый труд, «пот ума», так что возникает почти материальное ощущение прочно и мастерски сделанной вещи. Кажется, что статью Леонова можно ощупать руками, взвесить — столь значителен удельный вес составляющей ее ткани.

Такое в высшей степени пристрастное отношение к журналистскому ремеслу — постоянный укор и напоминание многим нашим писателям, молодым и постарше, которые слишком часто не дают себе труда довести свои газетные и журнальные выступления не только до мыслимых, но даже до элементарных литературных кондиций. Тут сказывается не просто небрежность к слову, но нечто большее — неряшливость души и мысли или равнодушие, слегка сокрытые звонкой словесной штамповкой казенного производства. Для Леонова же, как для истинного литератора, слово — часть собственной нравственной биографии, форма духовной жизни. Потому так и прислушиваются люди к его голосу, который звучит не часто, но всегда по существу, волнуя не только воображение, но и корни пытливого ума.

Тембр этого голоса разнообразен, многокрасочен... Высокая патетика: «Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнает о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Еще один день, еще одна ночь беспримерной схватки с врагом миновала. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Высокие, под самые облака, тени предков обнажают головы и склоняют свои знамена пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и мщенью заключен в каждодневном шелесте газетного листа!» («Твой брат Володя Куриленко», 1942)... Глубокая нежность: «Для мыслящего человека нет дорожке слова отчизна, обозначающего отчий дом, где он явился в свет, где услышал первое слово материнской ласки и по которому впервые пошел еще босыми ногами. С малых лет мы без запинки читаем эту книгу жизни, написанную лепетом наших весенних ручьев, грохотом нашего Днепра, свистом нашей выюги. Мы любим отчизну, мы сами физически сотканы из частиц ее неба, полей и рек. Не оттого ли последней мечтой политических скитальцев и даже просто бродяг было — вернуть в родную землю хоть кости свои с чужбины» («Рассуждение о великанах», 1947). Клокочущий гнев: «...нельзя, опасно отстраняться от истории отцов, будто ничего там не случилось кроме исчадий гнилого феодализма. Было там, много кое-чего полезного было! Археологическая наука повсюду из пепла и обломков пытается реконструировать чужую даже старину, восстанавливает из забвения имена мертвые и остывшие, а у нас нередко бульдозерами сгребается, в щебенку дробится своя, родная, стираются из памяти — теплые и живые. Наука История изобретена не только для образованности, великие гробницы живым нужнее, чем мертвецам. Это они властно связывают поколения круговой порукой, зовут на повторенье отцовского подвига, кладут узду на иную неустойчивую совесть, трезвят хвастливое удалство, укрощают приступы админи-

стративной эйфории! Надо почаще, не только в грозу, доставать, проветривать некоторые спасительные святыни из подразумеваемого сундука: чтобы время да моль всеядная не поточили. Без понимания этих истин можно наделать уйму неправильных поступков в стиле рекордов, поведенных Достоевским во сне Раскольникова!.. Все перечисленное здесь жизненно необходимо для нации, замыслившей совершить восхождение на величайшую, никем пока не покоренную вершину» («О большой щепе», 1965).

Обширные цитаты, приведенные нами, очень характерны для умонастроения леоновской публицистики. Без устали, предостерегающе твердит, напоминает писатель о протяжной, кровной нити, причинно связывающей великие исторические подвиги народа с моральными, идеологическими и эстетическими установлениями, выработанными им в процессе многосложного развития. Среди них — чувство естественной, требовательной гордости за родную культуру — важная составная всякого истинного патриотизма; поэтому советский интеллигент Леонид Леонов, верный своему человеческому и профессиональному призванию, бьет в рельс на площади, когда невтерпех, когда припирает...

Это гордое чувство и слово не имеют ничего общего с еле грамотными, высокопарными проповедями «русского духа», размножаемыми в наши дни некоторыми авторами и журналами. «Вещие» голоса протопопа Аввакума или, скажем, Константина Леонтьева способны, конечно, повысить духовную концентрацию современной жизни, но, думается, не до такой степени, чтобы отважно ставить их в пример нынешнему состоянию нашего общественного самосознания. Неужто марксизм и ленинское учение о жизни исчерпали себя в разрешении нравственных и национальных забот социалистического человечества, и одна надежда осталась положиться на истлевающие идеи религиозных русских мыслителей?! Тут что-то очень не так, уважаемые товарищи, и объясните же, наконец, почему самые благие и возвышенные духовные озарения исходят именно от тех успешно воскрешаемых лиц, которые так ненавидели всяческий социальный прогресс, саму идею революционного преобразования отечественной действительности?

Старательно обходя соблазны столь неуместной в данной статье полемики, сошлюсь на пример Леонова, у которого понимание «русского» и «общечеловеческого», «социального прогресса» и «духовности» отличается спокойной ясностью и глубиной. Ссылка эта тем более уместна, что Леонов действительно радует за сохранение и упрочение русских национальных традиций в нашей советской жизни и культуре, не разжижая, однако, свои писания лампадным маслом сомнительной свежести. Прислушайтесь к его словам о «расовом и национальном эгоизме», одолевающим мир, перечитайте статью о современной науке и научной популяризации — и вы увидите, почувствуете, что пафос леоновской публицистики отнюдь не в анафеме Молоху высотных домов и электронно-мыслящему железу, а в утверждении всем нам дорогих коммунистических идеалов человеческого общежития. Приглашение к Грядущему через показ главного в нем — в духовном разрезе завтрашнего дня — так формулирует Леонид Леонов одну из своих основных обязанностей работника социалистического искусства.

Конечно, современная западная цивилизация, да и наша, принесла в мир не только чистую породу материального прогресса, но и естественный шлак в виде опасной стандартизации нравственных и культурных ценностей. Так что для горячего беспокойства имеются основания, и Леонов постоянно задумывается о «гуманитарном преобразовании человеческой

души, без чего бессмысленны и даже чреватые опустошительными следствиями самые чудесные машины века».

Этим гуманитарным преобразованием и должны заниматься литература и искусство, включая сюда великое наследие, завещанное нам щедрыми предками.

Мысли Леонова о русской классической и современной литературе составляют одну из самых интересных глав его публицистического творчества. Еще у всех в памяти прошлогоднее выступление писателя на торжествах столетнего юбилея А. М. Горького, в котором строчками пушкинского «Пророка» была точно выражена существенная беда нашей словесности. Вообще запрограммированное соотношение целебного яда и приторного до горечи елеса — болезненный для Леонова вопрос, и он обращается к нему постоянно. «...Пошлость и ложь в искусстве, — писал он в 1961 году, — достигают результатов просто политически противоположных тем задачам, которые ставит общество». И далее писатель с горечью говорит о «наших столь несовершенных, насквозь пропитанных гарью и шлаком великого вулканического извержения, таких противоречивых рукоделиях, при виде которых испытываешь смешанное чувство неизбежности, исполненного долга и отчаяния» («Похвала жанру», 1962 г.)... Сказано сильно и, пожалуй, несколько преувеличенно, вернее положиться на трезвый суд потомства, которое не в спешке определит меру жизненной и художественной правды подразумеваемых сочинений; меня же больше волнует беспощадная требовательность к себе, к своему творчеству, буквально сверкающая в приведенных словах! Постоянный, пристальный взгляд совести на себя и творения рук своих — как это важно для каждого из нас, как архиважно для писателя!

Молодым читателям да и литераторам, пожалуй, стоит перечитать леоновские рассуждения о новаторстве в искусстве. При некоторой старомодности конкретных, например, театральных, симпатий писателя, в его словах заключен нестареющий смысл: «Я не жду в будущем такой уж особой новизны, которая придет однажды под гром оркестра и рукоплескания толпы. Мне кажется, что новизна всегда приходит незаметно. Заметны бывают лишь средства, которые открывают ворота новизне. Сами же явления нового живут по закону накопления, перехода количества в качество, потому что новизна — это качество. Его не сразу замечают, а потом оказывается, что оно уже существует... Но произойдет это без взлома, без применения фомки в искусстве».

При всей остроте, а зачастую и резкости леоновских суждений о современном искусстве главное, что его при этом занимает, разумеется, не укладывается в узкие рамки негативного пафоса. «Основой искусства будет все тот же человеческий дух, — это пересмотру и девальвации не подлежит», — пишет Леонов в статье «О театре будущего», и в этой, казалось бы, хорошо известной, но до сих пор то и дело экспериментально опровергаемой мысли заключена простая, грубая правда леоновской проповеди.



На рабочем столе Леонова лежит рукопись, испи-санная мелким, «микробным», как называл его Горький, почерком. Уже много лет писатель работает над новым большим романом, никому не рассказывая о замысле, не читая готовых глав. В дни семидесятилетия Леонида Леонова хочется пожелать ему успешно завершить этот труд, может быть, самый главный труд своей неустанной жизни.



Марина
Тарасова



Я с детства Азию люблю —
дым кишлаков, прохладу чая,
святую щедрость урожая,
платаны в солнечном хмелю.

В тот сорок первый, лютый год
мы — дети северной России —

узнали Азию впервые,
нас сохранил ее народ.



В ладонях теплится мимоза —
твои прощальные цветы,
как после долгого наркоза,
они прохладны и чисты —
мои ожившие ладони,
и линия судьбы ясна,
в зеленой тоненькой короне
лепечет девочка-весна.



Тружусь в тюльпановом хозяйстве.
Я трачу очень мало слов.
Не маюсь в суетном всезнайстве,
а создаю жизнь цветов.

И мне за смирный труд — сторицей,
когда из луковицы вдруг
навстречу солнцу устремится
живая истина, мой друг.



Вот так бывает иногда:
уже сомкнулся черный круг,
вошла хозяйкой в дом беда,
но он грядет — последний друг,
несущий ясность и доверье,
как дождь и солнце, бескорыстный,
и ты распахиваешь двери
на зов его, простой и чистый.



Б. КУЗНЕЦОВА.

Мои сверстники.



И. РЕЙ.

Девушки.

Из произведений художников Белорусской ССР.

М. ДАНЦИГ.
Партизанская
свадьба
(фрагмент).



М. САВИЦКИЙ.
Перед казнью.

Два рассказа

Рисунки И. Бронникова.



Нудным человеком называется тот, который на вопрос: «Как твои дела?» — начинает рассказывать, как его дела...

Женька был нудным. Он все понимал буквально. Если он чихал и ему говорили: «Будь здоров», — отвечал: «Ладно». Если его приглашали: «Заходи», — он заходил. А когда спрашивали: «Как дела?» — начинал подробно рассказывать, как его дела.

Люся и Юра не считались нудными, понимали все так, как и следует понимать: если их приглашали «заходите», они обещали и не заходили. На пожелание «будьте здоровы» отвечали «спасибо». А на вопрос «как дела?» искренне делились: «Потихоньку».

Юра закончил один институт, а Люся два — очный и заочный. У нее было наиболее высокое образование по сравнению с окружающими. Образование, как известно, порождает знание. Знание — потребность. Потребность — неудовлетворенность. А неудовлетворенный человек, как сказал кто-то из великих, полезен социально и симпатичен лично.

Люся была полезна и симпатична, чем выгодно отличалась от нудного Женьки. Они жили на одном этаже, но никогда не общались, и линии жизни на их ладонях шли в противоположных направлениях. Поэтому появление Женьки на пороге Люсиного дома было неоправданным, но тем не менее это случилось в одно прекрасное утро, в десять часов пятнадцать минут по московскому времени.

— Здравствуйте, — сказала Люся, так как Женька молчал и смотрел глазами — большими и рыжими.

— Ладно, — ответил Женька. Слово «здравствуйте» он понимал как обращение и понимал буквально: будьте здоровы.

Люся удивилась, но ничего не сказала. Она была хорошо воспитана и умела скрывать свои истинные чувства.

— У меня сломалась бритва, — сказал Женька. Голос у него был красивый. — Я бы побрился бритвой вашего мужа. Но это зависит не только от меня.

— Пожалуйста, — Люся не умела отказывать, если ее о чем-нибудь просили.

Она привела Женьку на кухню, положила перед ним бритву и зеркало, а сама ушла в комнату, чтобы не мешать Женьке и чтобы написать корреспонденцию о молодежном театре. Написать было не главное, а главное — придумать первую фразу, точную и единственно возможную. Заведующий отделом информации обязательно требовал первую фразу. Если ее не было, он дальше не читал.

Люся попробовала сосредоточиться, но за дверью жужжала бритва, и в голову лезли посторонние мысли. Например: хорошо бы в этом году ей исполнилось не 27, как должно, а 26, а на следующий год 25, потом 24 и так до двадцати. Тогда через семь лет ей было бы не 34, а 20.

Мысли эти не имели ничего общего с молодежным театром и не годились для первой фразы. Люся вылезла из-за стола и пошла на кухню, чтобы узнать, как продвигаются Женькины дела. Дела продвигались медленно, возможно, потому, что смотрел Женька не в зеркало, а мимо — на стол, где стояла банка сгущенного молока, творог и отдельная колбаса.

Люся поняла, что Женька хочет есть.

— Налить вам чаю? — спросила она.

— Как хотите, — ответил Женька. — Это зависит не от меня.

Люся удивилась, но ничего не сказала. Она не хотела разговаривать, чтобы не рассредоточиваться и сохранить себя для первой фразы.

Она налила ему чай в высокую керамическую кружку, подвинула ближе все, что стояло на столе.

Женька не остановил Люсю и не сказал «спасибо», а молча начал есть. Ел он быстро — признак хорошего работника, и через пять минут съел все, что стояло на столе. Потом он взял с подоконника «Неделю» и стал читать. Что-то показалось ему забавным, и он засмеялся.

— Вы поели? — спросила Люся.

Она ожидала, что Женька ответит: «Да, большое

ЗАНУДА

спасибо, я, наверное, вас задерживаю,— я пойду». Но Женька сказал только первую часть фразы:

— Да.

«Спасибо» он не сказал.

— Я вам мешаю?— заподозрил он, так как Люся продолжала стоять.

— Нет, ну что вы...— сконфуженно проговорила она и ушла в другую комнату.

Она слышала, как Женька переворачивает страницы. Потом что-то грохнуло и покатилося,— видимо, со стола упала тарелка или керамическая чашка.

Люсе не жалко было ни тарелки, ни чашки, а жалко утреннего времени, которое она так ценила и которое уходило зря. Люся почти материально ощущала в себе талант и отдавала его людям. Обычно она делала это по утрам, но сегодня ей помешал Женька, и Люся чувствовала свою вину перед человечеством.

И Женька тоже чувствовал себя виноватым.

— Я уронил...— сказал он, появившись в дверях.

— Ничего,— равнодушно ответила Люся,— не обращайте внимания.

— Хорошо,— согласился Женька и кивнул.

Он кивнул и прошел к письменному столу и сел в кресло рядом с Люсей.

Женька побрился и поел, выкурил хорошую сигарету и прочитал «Неделю» — от корки до корки, до того места, где сообщался адрес редакции. А теперь ему хотелось поговорить.

— А меня с работы выгнали,— доверчиво поделился Женька.

— Где вы работали?

— В клубе ЖЭКа. Хором руководил.

— Интересно...— удивилась Люся.

— Очень! — согласился Женька.— Когда дети поют, они счастливы. Хор — это много счастливых людей.

— Почему же вас выгнали?

— Я набрал половину гудков.

— Каких гудков?

— Ну... это дети, которые неправильно интонируют. Без слуха...

— Зачем же вы набрали без слуха?

— Но ведь им тоже хочется петь.

— Понятно,— задумчиво сказала Люся.

— Конечно,— вдохновился Женька.— А начальница не понимает. Говорит: «Хор должен участвовать в смотре». Я говорю: «Вырастут — пусть участвуют, а дети должны петь».

— Не согласилась?— спросила Люся.

— Она сказала, что я странный и что ей некогда под меня подстраиваться. У нее много других дел.

Женька затаился, и полоска огонька на его сигарете подвинулась ближе к губам, а столбик из пепла стал длиннее. Он стал таким длинным, что обломился и мягко упал на Женькин башмак, а с башмака скатился на ковер.

— Уронил...— удивился Женька, внимательно глядя на ковер.— Я могу поднять...

— Не надо,— сказала Люся. Она испытывала раздражение, но не хотела это обнаружить.

Женька посмотрел на нее, и Люсе почему-то стало неловко.

— Не надо,— повторила она.— Это мелочь...

— Ну конечно,— согласился Женька. Для него это было очевидно, и он не понимал, зачем об этом говорить так много.

Женьке было тепло и нравилось смотреть на Люсю, и он рассказал ей, как правильно приготовить водку: для этого нужно в бутылку столичной, которая покупается в магазине за три рубля семь копеек, бросить несколько кристалликов марганцовки, которая продается в аптеке и стоит гораздо дешевле.

Через два дня эту водку следует процедить сквозь вату, на вате останется осадок — черный, как деготь, а водка идет голубая и легкая, как дыхание.

Женька ходил по комнате, сунув руки в карманы, обтянув тощий зад, и рассказывал — уже не о водке, а о женщинах.

Женька знал двух женщин. С одной ему было хорошо и без нее тоже хорошо. Без другой ему было плохо, но с ней тоже плохо. Женька мечтал о третьем возможном варианте, когда с ней ему будет хорошо, а без нее плохо.

Поговорив немного о любви, Женька перешел к дружбе. Он рассказал Люсе о своем приятеле, который на спор выучил язык народности таты. Этот язык знают только сами таты, Женькин приятель и больше никто.

От друзей Женька перешел к хорошим знакомым, а от них — к родственникам.

В пять часов с работы вернулся Юра. Увидев его, Женька остановился и замолчал.

— Добрый день,— поздоровался Юра.

— Да,— согласился Женька, потому что считал сегодняшний день для себя добрым.

Юра удивился этой форме приветствия и тому, что в гостях Женька, что накурено и пепел по всему дому, и что Люся сидит в углу, сжавшись, без признаков жизни.

Все это выглядело странно, но Юра был человеком воспитанным и сделал вид, что все правильно,— именно так все и должно выглядеть.

— Как дела?— спросил Юра у Женьки.

— На рабству устраиваюсь,— с готовностью откликнулся Женька.— Странная в общем работа, но дело не в этом. Когда человек работает, он не свободен, потому что по большей части делает не то, что ему хочется. Но, с другой стороны, человек не всегда знает, что ему хочется.— Женька вдохновился и похорошел. Он любил, когда интересовались его делами и когда при этом внимательно слушали. — Видите ли...

Женька запнулся, ему показалось,— Юра что-то сказал.

— Что?— переспросил он.

— Ничего,— сказал Юра и повесил плащ в стеновой шкаф.

Он вешал плащ, лицо у него было рассеянное, и Женька понял, что слушал он невнимательно, и ему самому стало неинтересно.

— Я пойду...— неуверенно проговорил Женька.

— Заходите,— пригласил Юра.

— Ладно,— пообещал Женька и остался стоять. Ему не хотелось уходить, а хотелось рассказать все сначала, чтобы Юра тоже послушал. Но Юра молчал, и Женька сказал:

— До свидания.

«До свидания» он понимал буквально, то есть до следующей встречи.

Женька ушел, а Люся легла на диван и заплакала.

Женька ушел в пять, а в восемь пришли гости.

Люся обычно надевала в меру короткое платье без рукавов — у нее были красивые руки и ноги. Когда мужчины видели столько красоты и меры — признак искусства, они громко восхищались Люсей, говорили, что она красивая и талантливая. Люся верила и делала вид, что не верит.

Гости вытирали у порога ноги, не кидали со стола чашек и не рассказывали про родственников. Помимо того, что гости были хорошо воспитаны, они были талантливы. Каждый умел делать что-нибудь такое, чего не умел никто другой.

Костя, например, обладал талантом трагедийного

актера: когда он начинал жаловаться на свою жизнь, всем хотелось поставить локти на стол, опустить голову на ладони и горько, просветленно зарыдать.

У Кости был сын, творческая работа и кооперативная квартира. В жизни ничего не дается даром, за все приходится платить — либо деньгами, либо здоровьем. Костя платил деньгами. За квартиру — в расщелку, за сына — 25 процентов из месячной зарплаты, за творчество — отсутствием пенсии в старости. Расплачиваясь за все, Костя ничего не получал взамен. Квартира оказалась неудобной (за стеной жил скрипач), сын рос в другой семье, а творческая работа не обеспечивала постоянного заработка.

Эльга не имела никаких талантов. Это была Люси-на подруга с детства, а друзья детства не выбирают-ся. Они как родственники: какие есть, такие есть. Эльга ни одного дня не могла прожить без любви. Если в ее жизни случался такой день, она просто ничего не соображала. Она не умела даже соображать без любви.

Третьего гостя звали Джинджи. Его фамилия была Джинджихашвили, но друзья постановили, что это не фамилия, а песня с припевом, и постановили ее урезать.

Джинджи обладал особенностью громко хохотать без причины. Вернее, причин у него было достаточно: Джинджи был здоровый и сильный, умел хотеть, и точно знал, чего хочет. У него была развита инерция равномерного прямолинейного движения.

У Юры, хозяина дома, такая инерция отсутствовала совершенно. Зато была развита инерция покоя. Шаман народности удэгейцев, дожив до 132 лет, сказал: «Счастье — это сама жизнь, и не надо искать иного». Ознакомившись с этой точкой зрения, Юра не стал искать иного счастья, кроме того, которое у него было.

Он сосредоточенно выпил рюмку и прислушался к себе. Прислушавшись, встал и направился к пианино. Юра умел исполнять «Весну» Грига и романс «Я встретил вас». «Весну» он выучил в детстве по нотам, а романс подобрал по слуху. И сейчас он играл и пел, — в точности, как Козловский, даже лучше. А все слушали, и всем хотелось счастья. А если счастье было, они не знали об этом, потому что никто не знает, как выглядит счастье, и хотели еще чего-то. Одним не хватало денег, другим — здоровья, третьим — власти над людьми, четвертым — детей. Косте не хватало сразу первого, второго и третьего. Дети у него были.

— Я встретил вас... — начал Юра, — и все... бывшее... в отжи-и-вше-м се...рдце а-а-ажило...

«Жило» Юра выговорил таинственно и почему-то шепотом, и было что-то такое в этом романсе, — в словах и в музыке, что все вдохнули полные легкие воздухом и закричали в сладкой тоске.

— Я вспо-э-мнил врем-мя за-а-а-ла-то-е...

— Да тише вы! — Юра перестал играть и повернул к обществу обиженное лицо. — Ревут, как носороги.

Все сконфуженно замолчали, а Юра воспользовался паузой и допел один, как Козловский. И ему не мешали.

Джинджи взял свой стул и сел рядом с Эльгой.

— Эльга, — сказал Джинджи, — ты замечательный человек. Правда.

У Эльги только что окончилась одна любовь, а другая еще не началась. Требовалось время, чтобы после первой все улеглось.

— Не врываешься в мою паузу, — сказала Эльга.

Джинджи взял свой стул и поставил его возле Люси.

— Люся, — сказал Джинджи, — ты замечательный



человек, правда. Я и раньше это предполагал, но теперь понял наверняка.

— А как ты это понял? — удивилась Люся.

— По некоторым приметам.

Люсе было интересно послушать подробнее, но в это время в прихожей зазвонил телефон.

— Сними трубку, — попросила она Костю, который сидел возле двери с лицом талантливого трагика.

Костя думал в этот момент о том, что сегодняшний вечер — миг, и даже сто лет — миг в сравнении с вечностью. А через сто лет Кости уже не будет, и темно-серые штаны в рубчик, которые на нем надеты, переживут его имя.

Костя тихо вышел в прихожую, потом так же тихо вернулся и сел на свое место.

— Кто это звонил? — спросила Люся.

— Женя, — ответил Костя, и ни один мускул на его лице не дрогнул.

— Женька?!

— Может быть, Женька, но он сказал Женя.

Юра перестал играть, и в комнате стало тихо.

— Зачем он звонил? — спросил Юра.

— Он просил передать, что придет к вам ночевать.

— А ты что сказал?

— Я сказал: у вас гости.

— А он?

— А он сказал: ничего, пожалуйста.

Гости были не только воспитанные и талантливые. Гости были чуткие. Они не могли развлекаться, если ближнему грозила опасность.

Все сели вокруг стола и сосредоточились.

— Скажите, к вам родственники приехали,— предложил Джинджи и подвинул свой локоть поближе к Люсиному.

— Я говорить не буду,— отказался Юра и посмотрел на локоть Джинджи.— Я не умею врать.

— А я, значит, умею,— обиделась Люся.— Когда надо врать или одалживать деньги, когда надо унижаться, ты посылаешь меня.

— Пусть переночует,— выручил Костя,— не надо будет врать. И что такое одна ночь в сравнении с вечностью.

— Если он переночует одну ночь,— объяснил Юра,— он поселится здесь навсегда и завтра приведет своего приятеля.

Услышав, что ее ждет, Люся часто задышала, и брови у нее стали красные.

— А вы скажите, знакомые из Ленинграда приехали,— посоветовала Эльга.

— Я уже предлагал, не подходит,— напомнил Джинджи.— Его нельзя пускать.

— Не пускайте,— у Эльги было развито логическое мышление.— Заприте дверь, будто вас нет дома. Он позвонит-позвонит и уйдет.

В дверь позвонили. Все переглянулись. Юра быстро выключил свет.

— А почему он пришел к вам ночевать?— шепотом удивился Костя.— Это кто, родственник ваш?

— Ее друг,— Юра кивнул на жену.— Большой приятель.

— К нашему берегу вечно приплывет не дерьмо, так палка,— подытожила Эльга, имея в виду не столько Люсю, сколько себя.

Женька тем временем положил палец на кнопку, полагая, что хозяева не слышат.

Все имеет свой конец, даже жизнь. Женька тоже в конце концов снял палец с кнопки, и тогда стало тихо.

— Ушел...— тихо предположил Юра, подошел на цыпочках к двери и заглянул в замочную скважину.

Женька сидел на ступеньке возле лифта и ждал. Он все понимал буквально: раз хозяева не отпирают, значит, их нет дома. А раз их нет — они вернутся. Женька ждал, подперев лицо руками, и выражение у него было изумленно-печальное и какое-то отрешенное. А рядом на ступеньке стояла коробка с тортом, перевязанная бумажной веревочкой.

Юра вернулся в комнату.

— Сидит...— шепотом сообщил он.

— Вот это дает!— восхищенно сказал Джинджи.

— А долго он будет сидеть?— забеспокоилась Эльга.

— Всю жизнь,— убежденно сказала Люся.

— А как же нам теперь выйти?— удивился Костя.

— Никак,— мрачно сказала Люся.— Попались! Прошло четыре часа.

В комнате было темно и тихо, слышно было, как урчал на кухне холодильник, тикали снятые с руки часы.

Юра спал на тахте. Он, как космонавт, умел засыпать в любой обстановке и спал обычно крепко, без снов.

Возле него валетом лежал Костя, осмысливая жизнь, при этом старался отодвинуть Юрины ноги подальше от лица.

Эльга сидела в кресле, подогнув ноги, и думала о том, что прошлая любовь кончилась не по ее инициативе, а новая еще не началась и неизвестно, что может приплыть к ее берегу в следующий раз.

Люся смотрела в окно, понимала, что не выспится и завтра снова не сможет работать, не сумеет сохранить себя для первой фразы.

— Джинджи,— с надеждой попросила она,— давай я скажу тебе первую фразу...

Джинджи ходил из угла в угол, хотел домой. Он забыл о том, что Эльга — хороший человек и Люся, по некоторым приметам, тоже хороший человек. Сейчас, когда нельзя было выйти, он больше всего на свете хотел в свои собственные стены к своей собственной жене.

— Какую первую фразу?— не понял он.— К чему?

— Ни к чему, просто первую фразу, и все.

Джинджи остановился.

— Зажмурьтесь и закройте глаза и представьте себе...— начала Люся.

— Ну?

— Все. Только первая фраза.

— Зажмурьтесь и закройте глаза — одно и то же. Надо что-нибудь одно.

— А что лучше?

— Не знаю,— мрачно сказал Джинджи.

— Брось,— лениво предложила Эльга.— Кому это все надо?

— Если так рассуждать — ничего никому не надо. И никто никому. Кому ты нужна?

— И я никому не нужна,— спокойно сказала Эльга.

Люся отвернулась, стала глядеть на редкие огни в домах. Ей вдруг страстно, больше всего на свете захотелось, чтобы кто-нибудь спросил у нее: как дела? А она бы долго и подробно стала рассказывать про свои дела: про то, что гости ходят не к ним, а в их дом, потому что по вечерам им некуда деться. Про то, что начальник теряет ее работы, засовывает куда-то в бумаги, а потом не может найти. Про свою любовь, которая кончилась, и теперь, когда она кончилась, кажется, что ее не было никогда.

Но гости были люди воспитанные. Никто ни о чем не спрашивал. Каждый думал о себе. Все сидели вместе и врозь. Впереди была долгая ночь и нескорое утро.

А Женька тем временем спокойно спал, уложив щеку на ладонь, и с интересом смотрел свои сны. Может быть, ему снились поющие дети.

Есть люди, которые ничего не знают. Спросишь их: что такое аксиома? — думают.

Есть люди, которые что-то знают, а чего-то нет.

Фараон знал все: аксиома — это истина, не требующая доказательств. И нечего доказывать. Надо усваивать опыт прожитых поколений, а самому пользоваться их выводами. Две параллельные прямые не пересекутся, сколько бы их ни продолжали. И нечего продолжать.

От перестановки мест слагаемых сумма не изменится. И нечего перестанавливать.

Был Фараон худой и прямоугольный, как пенал, и когда его окликали, медленным движением поворачивал голову вправо или влево — в зависимости от того, с какой стороны к нему обращались. Он поворачивал только голову, а плечи оставались на месте, и в этот момент действительно походил на Фараона, каким его изображали на старинных фресках: фасовое положение плеч, профильное головы.

Может быть, именно за это его прозвали Фараоном, а может, за то, что когда-то, в молодости, был женат на учительнице истории древнего мира. Жена давно ушла, а прозвище осталось.

Фараон 40 лет проработал в школе — преподавал математику в старших классах. В каждом году 12 месяцев, а в каждом месяце 30 дней. Если 40 лет помножить на 12, а потом все это на 30, то получится, что Фараон преподавал 14 тысяч 400 дней, исключая праздники и дни каникул.

Сколько он себя помнил, он все время учил и так привык к этому, что не мог остановиться.

В школе, как известно, существует пятибалльная система. У Фараона была своя система, он считал: на пятерку знал только составитель учебника, на четверку знал сам Фараон, а его ученики знали на тройку и на двойку. Может быть, потом, в дальнейшей жизни, они получали более высокие оценки, но эта их дальнейшая жизнь была скрыта от Фараона. В его памяти они все оставались троечниками и двоечниками. Посредственностями.

Время шло. Ученики становились взрослыми людьми, у них вырастали свои дети — новые троечники, а у тех — свои. И когда Фараон шел по улице, знакомой до последней трещинки в асфальте, ему казалось: вся эта улица и следующая, весь город населен посредственностями, которые все знают посредственно или не знают ничего.

В магазине была длинная очередь, преимущественно из учениц довоенного и послевоенного выпуска. В конце войны ввели раздельное обучение, и Фараон работал в женской школе.

Очередь стояла криво, как синусоида. Все болтали на посторонние темы, а толстая продавщица Фомина громко ссорилась с Тимченко, которая стояла в очереди первой. Когда на пороге появился Фараон, стало тихо. Все задвигались и молча выстроились в затылок друг другу.

Фараон подошел к прилавку, строго посмотрел на Тимченко. 30 лет назад она была троечницей и симулянткой, все уроки математики просиживала в медицинском кабинете. Сейчас Тимченко была кандидат наук, сама составляла учебники по математике, но в обществе Фараона видела себя его глазами — троечницей и симулянткой.

ФАРАОН

— Что тут у вас за базар? — строго спросил Фараон.

Фомина хотела ответить на поставленный вопрос, но Тимченко тоже хотела ответить, поэтому заговорили они одновременно.

— Не все сразу. Поднимайте руки!

В очереди поднялось несколько рук.

— Тимченко! — вызвал Фараон.

— Я говорю: дай мне полкило мяса, только без костей, — заторопилась Тимченко. — А она говорит: если хочешь без

костей, бери масло...

Фомина тянула руку, навалившись животом на прилавок, подскакивая от нетерпения.

— Фомина!

— Всем дай мясо, а кости кому? Они думают...

— Вывод! — перебил Фараон. Он экономил время.

В очереди переглянулись.

— Покупатель и продавец должны быть взаимно вежливы! — выкрикнула с места выскочка Робинзон. Она стояла в самом хвосте очереди, держала за руку маленькую девочку.

— Закрепим пройденный материал, — предложил Фараон. — Тимченко, Фомина, начните сначала...

— Дайте мне, чтобы на второе, — ласково начала Тимченко.

— Пожалуйста... — шепотом подсказала выскочка Робинзон.

— Если ты будешь вылезать, я вызову родителей твоего мужа, — предупредил Фараон. (Прежде он вызывал ее собственных родителей, но последние пять лет они ходить отказывались, ссылаясь на занятость.)

— Дайте, пожалуйста... — исправилась Тимченко.

— На второе нет, только на первое, — взаимно вежливо откликнулась Фомина.

— Нет, так отрубите.

— А откуда я вам отрублю, от себя? — ласково поинтересовалась Фомина.

— Можете от себя, — разрешила Тимченко. — На вас, между прочим, много лишнего, особенно с боков...

— Опять! — не выдержала Фомина и с упреком посмотрела на Фараона. — Опять намекает, будто я себе ворую. Я что, похожа на воровку?

— А ты думаешь, у воров какие-нибудь особенные лица? То же самое: два глаза, два уха. Вполне может быть такое, как твое...

Очередь с пристальным интересом стала глядеть на Фомину. Фомина яростно покраснела, в глазах у нее заблестели слезы.

— ...И как твое, — ткнул пальцем на Робинзон.

Та польщенно захихикала.

— А я? — ревниво спросила бабка Маня. Ей тоже хотелось быть не хуже других.

Когда-то бабка Маня говорила, что любит уставать. Если она в конце дня устала, значит, хорошо поработала и день не прошел даром. Сейчас она ничего не делала, но все равно очень уставала к концу дня.

— Ты не похожа! — Фараон пренебрежительно махнул рукой.

— Да... — огорченно согласилась бабка Маня. — Совсем от еды отвернуло. Никогда со мной такого не было.

— Восемьдесят лет тебе тоже никогда не было.

— А жить-то все равно охота, — извинилась бабка.

Фараон развел руками.

— Мало ли что кому охота? Всякая переменная величина стремится к своему пределу. И нечего сопротивляться.

— Как? — не поняла бабка Маня.

Ей не ответили. Все почему-то замолчали, видимо, задумались о пределе вообще и о своем пределе в частности.

Всем страстно, как в детстве, захотелось домой, но так же, как в детстве, они боялись Фараона, потому что привыкли бояться, и стояли смиренно, как на уроке.

В этот момент в магазине зазвонил звонок. Был предвыходной день, магазин закрывался рано.

Этот звонок сдул очередь со своего места. Тимченко успела сунуть в сумку мясо с костями, остальные ничего не успели. Они бежали из магазина с такой скоростью, будто сдавали нормы на значок ГТО.

На первом месте шла кандидат наук Тимченко, последней торопилась выскочка Робинзон. Ее тормозила маленькая девочка.

14 тысяч 400 дней потратил Фараон на своих учеников, а они по-прежнему ничего не знали и не хотели знать.

Кто-то говорил, будто рыжий Кашкаров из доверенного выпуска открыл в небе новую звезду. Но Фараон этой звезды не видел. Зато видел: Кашкаров как был хулиганом, так им и остался. То свистнет вслед в два пальца, то подойдет при всех и пообещает достать в комиссионном магазине удешевленный саркофаг.

Закончив обход по району, Фараон вернулся домой. Жил он в коммунальной квартире, занимал девятиметровую комнату, так как на одного человека больше не положено.

У Фараона было две жены, по очереди: сначала одна, потом другая. Первая ушла сама, потому что Фараон все знал и ей было с ним скучно. Вторую он прогнал, потому что она поливалась духами «Красная Москва» и не тщательно убирала комнату. А у Фараона от пыли и от резкого запаха начиналась аллергия: чесались глаза, нос, першило в горле.

Фараон достал французский ключ, отомкнул французский замок и вошел в коридор. На стене коридора висела таблица «МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕР. Один квадратный метр равен 100 квадратным деци-

метрам, 10 000 квадратным сантиметрам». Все давно подсчитано. И нечего считать.

На кухне возле плиты стояла потомственная троечница пятнадцатилетняя Лариска, внимательно смотрела на сковородку, на которой трещало масло.

За Ларискиной спиной, ссутулившись, сидел внук бабки Мани, девятиклассник Елисеев. Лопатки у него были острые, торчали на спине, как маленькие крылья. Ноги он переплетал одну вокруг другой несколько раз. Лариса называла это: заплетать ноги в косу.

Елисеев сидел над тетрадкой: проверял аксиому о параллельных прямых. По Эвклидовой геометрии они не пересекутся, сколько бы их ни продолжали, а по Лобачевскому — пересекутся непременно, но не сразу, а где-то в пространстве. Елисееву хотелось самостоятельно выяснить: что же происходит с параллельными прямыми? Дети, как правило, не хотят пользоваться опытом прошлых поколений, они хотят до всего дойти сами.

Фараон остановился на пороге кухни, неодобрительно посмотрел на Ларискину юбку, которая, едва успев начаться, тут же заканчивалась.

— Ты бы оделась, — посоветовал Фараон, — противно смотреть.

— Елисеев! — весело позвала Лариска. Она научилась от Фараона всех звать по фамилии, и даже к собственной матери обращалась по ее девичьей фамилии.

— А? — очнулся Елисеев.

— Тебе противно на меня смотреть?

— Нет, — ответил Елисеев и снова углубился в свою работу.

— Вот видите, ему не противно, — беспечно подтвердила Лариска, — значит, по этому вопросу могут быть две точки зрения. А меня в данной ситуации больше интересует точка Елисеева.

— Ты что-то умная стала... — заподозрил Фараон.

— Елисеев! — снова позвала Лариска.

— Ну что тебе?

— Я умная?

— Нет.

— Вот видите, это спорный вопрос, — доброжелательно объяснила Лариска, разрезая огурцы на круглые колечки. — Смотря с кем сравнивать... Если сравнить меня с ребенком из Древней Греции, то я просто гений, потому что за истекший период наука и техника шагнули вперед, увеличилось количество информации. Если сравнить меня с ребенком тридца-



тых годов, я выше его на голову, об этом недавно говорили по телевизору по четвертой программе. А если сравнить меня с Елисеевым, то я, безусловно, глупа и антиобщественна. Елисеев, я тебя правильно поняла?

— Отвяжись,— попросил Елисеев.

Фараон с недоумением слушал Лариску, которая позволяла себе собственные выводы, и с недоумением смотрел, как она берет кружочки огурца, натирает их солью, обваливает в муке и аккуратно располагает на сковородке один возле другого.

— Что ты делаешь?

— Жарю огурцы.

— Огурцы не жарят! — испуганно вскричал Фараон.

— Почему? — весело не поверила Лариска. — Ведь кабачки жарят, а кабачки — это то же, что и огурцы, только больше размером.

— Не жарят! Слышишь? Не жарят! И нечего...

Фараон почувствовал, как в глазах у него зачесалось, в носу тоже зачесалось, в горле запершило. Это начиналась аллергия: не то от запаха пригоревшего масла, не то от Лариски.

— Но ведь я жарю,— спокойно возразила Лариска и протянула сковородку, где лежали жареные огурцы с золотистой корочкой.

Фараон посмотрел на голоногую Лариску с нахальными, независимыми глазами, на сутулую спину Елисеева и, ничего не сказав, пошел к себе.

Комната у Фараона была прямоугольная, и все предметы в ней тоже были прямоугольные.

Фараон сел на кушетку, вытянул ноги. На ботинках матовым слоем лежала пыль. Следовало немедленно снять ботинки, но не хотелось двигаться. Фараон почувствовал, что устал к концу дня, как бабка Маня, и что 65 лет ему тоже никогда раньше не было.

Он посмотрел в прямоугольное зеркало и увидел в нем свое худое коричневое лицо. То ли Фараон загорел, то ли зеркало потемнело от времени, но лицо показалось ему некрасивым, каким-то бывшим, похожим на мумию.

Фараон надел шляпу и вышел на улицу.

Только что прошел теплый дождь, и в переулках открывали окна.

Сумерки изменили улицу — что-то затемнили, что-



то обозначили,— она выглядела странной и почти незнакомой.

Мимо Фараона медленно прошла молодая женщина. Она шла босиком, держа в руке белые туфли, и в редколесье мокрых фонарей ее кольцо блестело.

Фараон вдруг вспомнил, как однажды, очень давно шел он ночью босиком и слушал, как между пальцами, холодея, просачивалась нежная молодая грязь.

Из-за поворота вышел человек с прямоугольными плечами. Это был Селихов — лучший ученик Фараона. Он учил уроки на память, и, когда отвечал, все открывали учебники и проверяли по абзацам. Фараон ставил ему четверки, тем самым приравнивая его к себе. Это был единственный в его жизни хороший ученик.

Сейчас он днем работал в исполкоме, а вечером совершал гипертонические прогулки.

— Добрый вечер! — Селихов кивнул на удаляющуюся босоногую женщину. — Идет себе, как по сельской местности...

Селихов ожидал, что учитель потребует вывод, и вывод был готов, но Фараон неожиданно спросил:

— Как вас зовут?

— Селихов,— удивился Селихов.

— Это фамилия. А зовут как?

— Павел Петрович... — вспомнил Селихов. — Сокращенно Паша.

— Знаете, Паша...

— Знаю! — с готовностью перебил Павел Петрович, почувствовав, как у доски, знакомое напряжение в спине. — Аксиома — это истина, которая не требует доказательств.

— А вдруг требует?

Селихов оробел в темноте. Он мог получить за ответ тройку и даже двойку, и тогда Фараон приравняет его к остальным.

— Задайте мне, пожалуйста, дополнительный вопрос,— попросил он.

— А ты знаешь, что жарят огурцы?

Селихов напряженно задумался, возведя глаза к небу.

Высоко в небе сквозь разорванные облака пронзительно светила звезда. Может быть, та самая, которую открыл рыжий Кашкаров.





Б. ГЕРЛАВАН.
Вихри гражданской.



С. ГОРЯЧЕВ.
Песня
гражданской войны.



В. ЦВИРКО.

Сказ о Немане.



А. КРОЛЬ.

Простор.



Владимир Ильюшин

ИЗ РАССКАЗОВ ЛЕТЧИКА- ИСПЫТАТЕЛЯ

Рисунки М. Лисогорского.

ЕСЛИ ЧЕСТНО...

Испытательный полет всегда всесторонне готовится и «проигрывается». Задание свое летчик-испытатель не просто знает, он его «чувствует»; он должен отчетливо представлять все этапы полета и знать все свои действия почти на все случаи жизни... Почти на все.

Он должен быть уверен в правильности своих действий еще на земле.

Летные испытания всегда рождают какие-то новые вопросы, открывают какие-то новые проблемы, о которых раньше как-то и не думали или думали, но их решение откладывали на потом из-за кажущейся их незначительности.

В период освоения больших сверхзвуковых скоростей и больших высот недостатка в проблемах не было. Входили в жизнь самолеты с треугольным крылом, новые силовые установки и многое другое... И все это новое. Много сил было отдано испытанию двигателей. Их останавливали, выводили на неустойчивые режимы работы, и они останавливались сами, а иногда они отказывали, казалось бы, без видимых к тому причин. Зато запускались в воздухе идеально, и это всех как-то успокаивало. О посадке без двигателя думали скорее в теоретическом плане, и дальше споров дело не шло. Никакой единой теории посадки без двигателя не было. Были отдельные попытки посадок, но они кончались трагически, и, следовательно, никаких советов получить было нельзя. Мне самому приходилось садиться без двигателя, но только не на таких машинах. Каждый думал про себя, что его «теория» лучшая, и если... то...

И вот на высоте около 20 километров на скорости, близкой к 2 тысячам километров в час, двигатель у меня встал. Не просто встал, а грохнул, как из пушки, и весь самолет затрясло.

«Вот оно! — Кровь хлынула в лицо. И на какое-то мгновение я подумал: — Поймала-таки!» И все.

А дальше — полная ясность мысли, я сказал бы, даже прозрачность. Не спокойствие, далеко нет, а именно прозрачность мысли. Все происходит как будто на экране, и вы видите необычно контрастный и резкий фильм.

Разворот «домой» и первая попытка запуска, хотя чувство подсказывает, что запуска не будет. Виден аэродром. Еще раз запуск, еще и еще. Нет, на этот раз запуска действительно не произойдет.

Высота все меньше и меньше, скоро отключатся генераторы. Надо доложить на землю и просить обеспечить посадку.

Аэродром все ближе, высота все меньше. Уж очень быстро снижается машина. Теперь следить только за скоростью. Больше скорость ни к чему, снижение и так огромное, а меньше вроде бы нельзя — страшно подойти к земле без запаса скорости.

Выпускаю шасси, наклоняю машину еще круче к земле — снижение увеличивается: скорость сейчас синоним жизни. Скорость снижения — 50 метров в секунду. Скорость, скорость... Высота — 1 000, 500, 300 метров. Начинаю плавно уменьшать угол, затем все энергичней и энергичней. В такт моим действиям падает скорость снижения. Последнее движение очень быстрое, и за ним выпуск закрылков.

Теперь почти дома!

Высота — 5 метров, скорость — 450, снижение — 1 метр в секунду.

Плавно гашу скорость и очень мягко касаюсь земли. Сразу становится радостно... Нахожу выход в том, что не торможу, а пробегаю весь аэродром и с разбегу заруливаю на рулежную дорожку.

К самолету мчатся автомобили. Бегут друзья. Хотят помочь мне выйти. Вылезаю сам. Рот растягивается от улыбки, не могу его закрыть. А здесь, на земле, все какие-то серо-зеленые. Им здесь было труднее, чем мне, — я был очень занят.

Главный конструктор пожимает мне руку. Молча. Все ясно и без слов.

Через несколько дней — большое совещание. Это первая у нас в Союзе посадка на таком самолете без двигателя. Нужно все еще раз продумать, найти мои ошибки и теперь уже официально «затвердить» близкую к оптимальной методику посадки без двигателя.

Оптимальная будет после специальных исследований. Неторопливо течет беседа: вопросы — ответы, предположения и утверждения. Я немного горячусь иногда, чувствуя за плечами правильность

сделанного. Совещание подходит к концу; вроде теперь все ясно... Тянется чья-то рука. Богородский хочет задать вопрос. Это мой близкий друг.

— Володя, а когда ты был окончательно уверен, так, положив руку на сердце, на каком этапе захода ты понял, что ты сядешь?

На секунду задумываюсь. «Эх, Аркадий, мог бы такой вопрос задать и с глазу на глаз!» Напряженная тишина. Вопрос, как пробный камень. В общем-то всем все ясно. Все ждут именно моего ответа.

Но вопрос задан, что называется, в лоб, и отвечать на него надо прямо — перед такой аудиторией не скроешься за дипломатической уловкой, не отмолчишься.

— Если честно, Аркаша, то когда остановился.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ты идешь, не поднимая головы. Ноги утопают в прошлогодней хвое. Ты даже не идешь, а очень осторожно ступаешь по мягкому прелому ковру. Какое блаженство вдыхать этот густой пряный дух! Вдыхать его, не глядя никуда. Дышать и думать. Ведь если поднять голову, то увидишь облесленную стену сарая, где хранят ацетилен, а справа малярка — такой знакомый запах эмали! Нет! Сейчас, пока солнце еще за горизонтом, пока никого из чародеев сварки и кисти еще нет, именно сейчас, в эти последние минуты перед взлетом, лучше не поднимать головы. Лучше просто вот так пройти по лесному пятачку, думая о своем. И пусть это не дремучий бор. Пусть это всего маленький, оставшийся случайно, не истребленный беспощадной рукой строителя небольшой кусочек природы, он успокаивает, он дает силы, он оттачивает мысли...

А она стоит совсем рядом. Ее голубовато-сталь-

ные контуры просматриваются сквозь редкую весеннюю поросль. Тихо. Очень тихо. Земля еще спит. Сегодня, сейчас ты должен поднять ее первый раз в небо. Сегодня день рождения новой машины. И не только машины, твой день рождения, день рождения всех, кто выпестовал ее. Но поднять ее должен ты. И ты будешь с ней один на один. А они все останутся здесь, на земле. И как бы они ни переживали, как бы они ни желали тебе успеха и ни тревожились, в конце концов они останутся здесь, а ты и она будете вдвоем там, в небе. Ты и она. Она — любимая их дочь — и ты, который любил ее еще до рождения. Это не первый твой подобный альянс, но все равно ты весь напряжен и внутренне тревожен. Нет, не страх это. Любовь к ней и к ним рождает эту тревогу...

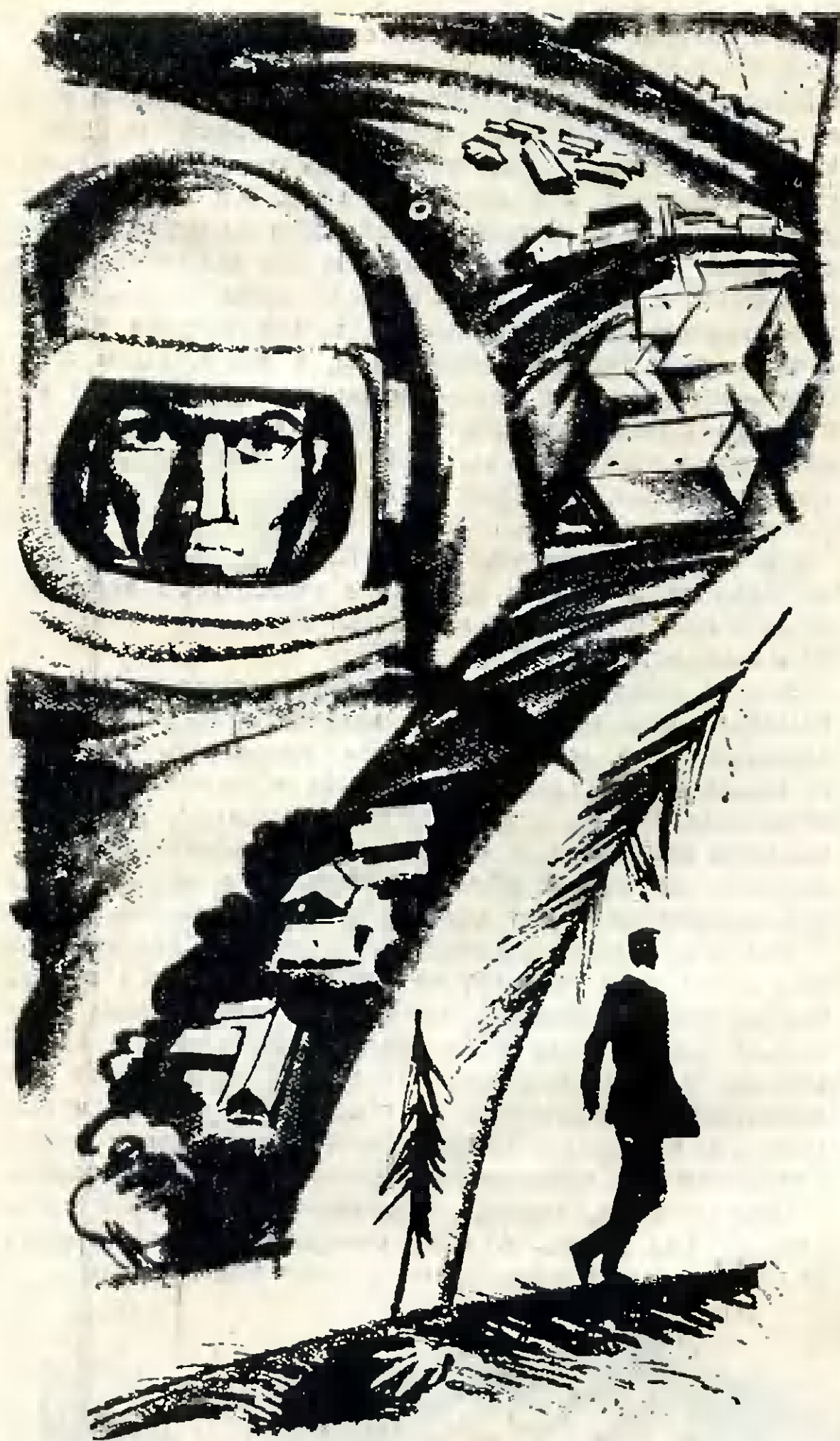
Ну что ж, пожалуй, пора! Пока ты еще земной житель, но в мыслях ты уже в небе. Тебе все уже ясно и понятно. Почти все ясно! Почти все понятно! Тогда вперед!..

Земля, земля! Разматываются твои последние сантиметры. Вот ты убегаешь из-под колес, проваливаешься вниз и уходишь все дальше и дальше. И сразу все останавливается. Не заметно никакого движения. Повис, как вата, дым паровоза, да и сам паровоз остановился. И только ты пробегаешь мимо стоящих на месте облаков. Время, в котором ты сейчас живешь, идет совсем в другом темпе.

А вот и солнце. Здравствуй, солнце! Сегодня оно встретило тебя раньше, чем тех, кто остался внизу. Все вокруг окрасилось тончайшим золотистым светом. Даже к цвету неба примешали немного золотистого оранжевого тона. И земля сквозь этот золотистый вибрирующий свет выглядит теплой и немного дремлющей. Только ближе к горизонту полыхают желтым тревожным пожаром далекие озера.

Прости меня, солнце, что поворачиваюсь к тебе спиной. Так надо... А если смотреть в эту сторону, видно, как ночь убегает, но делает это неохотно.





Уходящий мрак окрасил все в фиолетово-синюю краску: и землю, и горизонт, и облака, и часть неба. Только высоко, значительно выше тебя, появляется передний край нового дня...

А теперь вниз. Мелькнули мимо ставшие ослепительно белыми вершины облачных нагромождений. Ниже, еще ниже. Лента шоссе, застывшие автомобили, застывшие в самых неожиданных позах пешеходы. Последние секунды отделяют тебя от земли. И вот уже серая лента бетона покорно ложится под колеса. Меньше скорость, и снова все задвигалось в своем обычном темпе. Поехали машины, пошли люди, поплыли облака...

Здравствуй, земля! Я снова вернулся к тебе. Ведь мы все покидаем тебя, чтобы вернуться. Обязательно вернуться.

ВОЛОДЕ НЕФЕДОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Мы стоим, скорбно обнажив головы. Его друзья. Как-то не верится, что все это правда, что его уже нет, что все эти цветы принесены ему.

Познакомились мы в школе летчиков-испытателей. Как сейчас, помню его улыбку и румянец во

всю щеку. Среднего роста, широкоплечий, он всегда приносил с собой веселье и желание узнать что-то новое — как в работе, так и в жизни.

Летал он — а летал он на самолетах послезавтрашнего дня — с блеском. Отдыхать любил с выдумкой, со сменой впечатлений.

— Сегодня суббота. Давайте махнем в Калинин, там поужинаем и переночуем, а в воскресенье весь день на Волге.

Или:

— Давайте встретим Первое мая в Крыму.

И мы, его друзья, заражались его энергией и включались в подготовку: писали списки необходимого, все, вплоть до мелочей. В дальние поездки выезжали всегда в 23.00, чтобы от Москвы отъехать по пустому шоссе и встретить рассвет нового дня в дороге, в движении.

Наша дружба окрепла в первой совместной поездке на юг.

Нас было трое: Володя Нефедов, Жора Мосолов и я. Это было почти семнадцать лет тому назад. Я вспомнил, что в ту поездку мы вели путевые записки. Найти их было почти невозможно, но я нашел.

И вот передо мной лежат наши записи. Они ничего или почти ничего никому не скажут. Никому, кроме Жоры и меня.

Какие-то мелочи, обрывки мыслей, штрихи вроде вот такого, записанного рукой Володи:

«5.05.52. 24.00. Приехали в Курск.

6.05.52. 1.40. На спидометре 21 480 км.

Выехали из Курска.

Паршивенькая гостиница».

И нарисован большой зуб.

Но мне дороги эти строки. Мы снова вместе.

В последний раз мы встретились с ним на медицинском пункте. Он уже прошел осмотр и торопился на вылет. Мы поздоровались, крепко пожали руки. Я не помню сказанных слов. В памяти остались только его лучистые, большие светло-голубые глаза...

Я сижу в кабине и готовлюсь к запуску двигателя. Володя уже в воздухе. Голос его, как всегда, спокоен. Слышны скупые слова его доклада:

— Двигатель остановлен. Обеспечьте посадку.

Голос руководителя полетов:

— Запуски двигателей прекратить, зарулить на стоянки, в воздухе отойти от точки.

С ним это уже случалось не раз. И все равно на земле все немного нервничают. Но все идет нормально. Вот показался его самолет. Он еще виден, как точка, но чувствуется, что его ведет твердая рука. Самолет снижается и уже отчетливо виден. Вот он уже на прямой.

— Молодец, Володя!

До земли 300, 200, 100, 50 метров.

— Ну, теперь он дома!

Все начинают заниматься своими делами.

Вдруг в наушниках резко, почти как крик:

— Управление!

У меня что-то обрывается внутри.

И в тот же момент с высоты метров в пятнадцать самолет резко клюет носом.

Удар! Огонь! Тишина!

Пронзительно воя, выворачивая этим воем душу, несутся санитарные машины.

Над аэродромом вырастает черный столб дыма. Тишина.

Прощай, друг!



Иван Купцов

ТОВАРИЩ ЖИЗНЬ И КРАСКИ ИСКУССТВА



1. ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ

Есть вечные истины и вечные вопросы, над которыми мы серьезно задумываемся и приходим к новым выводам в процессе размышления, не подгоняя решение задач под давно уже известный ответ.

Пока существует человечество, такими вопросами являлись и будут являться вопросы о смысле, назначении человеческой жизни, о добре и зле, нравственности и безнравственности, о способах и путях улучшения жизни, очеловечивании ее обстоятельств.

Пока существует искусство, и творцы его и созерцатели будут спрашивать себя: а зачем это искусственное повторение жизни в красках, словах, звуках? К чему все эти с различной степенью сходства изображенные на холстах деревья, травы, животные, люди?

Естественно, что в каждом труде, в каждом усилии внимания, мысли и чувства человек стремится к пользе, к наслаждению. Но какая же практическая польза от искусства? Так ли уж оно необходимо, когда перед каждым из нас находятся чудесные и прекрасные реальные рощи и поля, реальные мужчины и женщины, реальное житейское добро, которым следует воспотрагаться и которое следует умножать, а также и реальное зло, с которым каждому порядочному человеку надлежит бороться?..

Однако люди часами смотрят на нарисованные пейзажи, на изваянных в мраморе красавиц, читают о терзаниях вымышленного Вертера, вслушиваются в сложнейшие по структуре музыкальные фразы, столь далекие от журчания ручья или пения лесной птицы.

Не является ли все это бегством от действительности, от ее сложности, многогранности и целостности? Не является ли это преступной и ленивой экономией сил, когда вместо того, чтобы проследовать на электричке в ближайший лес, я достаю альбом с репродукциями картин Левитана и, полулежа в уютном кресле, перелистываю его? Так ли уж полезно для меня занимать себя переживаниями Онегина и Татьяны Лариной, жить их страстями, чтобы внимательнее и бережнее отнестись к собственному чувству?

Конечно, существует множество различных взглядов на искусство. Первобытный человек, как предполагают, рисуя оленя, мысленно убивал его на охоте. Иные находят в искусстве очарование иллюзии, красивой и занятой лжи. Другие видят в искусстве победу духа над бренностью тела, торжество вечности над мелочной, меркантильной суетой. А третьи стараются своим искусством так поразить окружающих, чтобы выделиться из толпы, «получить имя».

Но какие бы точки зрения на искусство мы ни рассматривали и ни обсуждали, все равно рядом с искусством будет стоять слово «жизнь».

Гете, который, как известно, умел свободно и без утрат мысли и изящества переходить от сферы Фауста к области Мефистофеля, рассудил в свое время просто:

Природы и искусства расхождение
Обман для глаз: их встреча выполняма.
И для меня вражда их стала мнимая,
Я равное питаю к ним влечение.

(Перевод М. Розанова.)

Но как можно питать равное влечение к научной биографии Бонапарта и к тем страницам «Войны и мира», на которых выступает Наполеон Льва Николаевича Толстого? Как можно питать равное влечение к любимому, близкому человеку и к его изображению на полотне? Опять же, идя по такому пути, легко можно впасть в состояние дикаря, который всаживает стрелу за стрелой в куклу, изображающую врага, а сам по правде считает, что в данную минуту живому врагу больно или что его мучают кошмарные сны.

В чем же заключается не поверхностная, бросающаяся в глаза связь искусства с жизнью, связь их красот (не думаю, что кто-нибудь из читателей попросту скажет, что эта связь в тождестве, зеркальном совпадении)?

И здесь, мне кажется, очень интересны размышления художников, ставшие искусством. В строках, посвященных А. Межирову, поэт Александр Аронов писал:

Строчки помогают нам не часто:
Так они ослабить не вольны
Грубые обычные несчастья:
Голод, смерть отца, уход жены.

Если нам такого слишком много —
Строчкам не поделаться ничего.
Тут уже искусство не подмога,
Даже и совсем не до него.

Слово не удар, не страх, не похоть.
Слово — это буквы или шум.
В предложенье: «Я пишу, что плохо», —
Главное не «плохо», а «пишу».

Если над обрывом я рисую
Пропасть, подступившую, как весть, —
Это значит: там, где я рискую,
Место для мольберта все же есть.

Время есть. Годится настроенье.
Холст и краски. Тишина в семье.
Потому-то каждое творенье
Есть хвала порядку на Земле.

Когда археологи раскапывают курганы и городища, мы судим о прошлом по дошедшим до нас предметам и обломкам. И когда среди орудий труда мы находим не только кости людей и животных, но и совершенные произведения искусства, то с полным правом судим об исчезнувшем мире: он был очеловеченным, его разумные жители трудились, мыслили, чувствовали, как и подобает настоящим людям, осознающим свою суть, свою отличительную особенность в мире трав, камней, рек и оленей.

Великое искусство — это ведь прежде всего великая духовная организация человека, кем бы он ни был сам: художником или зрителем. Да, в этом смысле между художником и зрителем разницы нет никакой, потому что оба они умеют постигать искусство и наслаждаться им, оба оставляют ему место в своей жизни и не представляют себе жизнь без искусства.

Конечно, далеко не все шедевры мирового искусства возникали в периоды, когда на земле существовал тот порядок, о котором писал поэт. Но несомненно, что эти шедевры создавались беспокойной мечтой их авторов о таком порядке. Поэтому история развития искусства в конечном итоге, в своей зримой уже перспективе, неизбежно вступает в период такой жизни, которая единственно и наиболее отвечает всем подлинным потребностям и качествам человека. А это означает, что по самой своей природе искусство является живой частицей этого общечеловеческого будущего.

Частицей, которая в повседневности неизбежно вступает в контакт как со всем лучшим, так и со всем скверным, ужасным и отвратительным в этой повседневности.

Разумеется, в первом случае мы встречаемся с радостным любованием, дружеским диалогом. А во втором — с борьбой, подчас и жестокой и упорной.

И, сказав обо всем этом, можно, пожалуй, согласиться с неопрометчивой, таящей в себе силу недосказанности мыслью Гете. Действительно, влечение к природе и к искусству имеет свою определенную равность.

Нельзя не любить правды в искусстве, любя правду в жизни.

Как же обидна, досадна, а порой и непоправима каждая ошибка, допущенная на этом мало-разведанном пути, на единственном поприще, которым каждый из нас наделен достаточно, — на поприще жизни! Однако есть люди, которые не хотят ломать себе головы, думать, рассуждать. Они не хотят быть ни гениями, ни злодеями.

2. «ИСКУССТВО НЕ БРЕЗГЛИВО...»

Таким людям А. И. Герцен посвятил восхитительные по меткости и иронии и скорби строки: «Искусство не брезгливо, оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму, сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, нищего мальчика, обожженного солнцем... Но и искусство имеет свой предел. Есть камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец; искусство, чтоб скрыть свою немоготу, издевается над ним, делает карикатуры. Этот камень преткновения — мещанство... Художник, который превосходно набрасывает человека совершенно голого, покрытого лохмостями или до того совершенно одетого, что ничего не видать, кроме железа или монашеской рясы, останавливается в отчаянии перед мещанином во фраке... У мещанства, как у Молчалина, два таланта, и те же самые: «умеренность и аккуратность». Жизнь среднего состояния полна мелких недостатков и мелких достоинств; она воздержанна, часто скупа, бежит крайности, излишнего. Сад превращается в огород, крытая соломой изба — в небольшой уездный домик с разрисованными щитами на ставнях, но в котором всякий день льют чай и всякий день едят мясо. Это огромный шаг вперед, но вовсе не артистический. Искусство легче сживается с нищетой и роскошью, чем с довольством, в котором видны белые нитки, чем с удобством, составляющим цель; если на то пошло, оно ближе с куртизаной, продающей себя, чем с нравственной женщиной, продающей втридорога чужой труд, вырванный у голода. Искусству не по себе в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина, а дом мещанина должен быть таков; искусство чувствует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает — шарманщика прогонят, захотят послушать — дадут грош, и квит... Искусство, которое по преимуществу изящная соразмерность, не может выносить аршина, самодовольная в своей

ограниченной посредственности жизнь запятнана в его глазах самым страшным пятном в мире — вульгарностью».

Эта жизнь, в которой недостатки столь мелки, что для хозяина безобидны, а достоинства столь скромны, что не наводят посторонних на воровские мысли, к сожалению, устраивает некоторых людей и сейчас. Удобство в ней является целью. Все в ней и умеренно, и аккуратно, и прибрано, и расчетливо. Чем не рай для человека, предпочитающего так ходить по людному тротуару, чтобы не ступать ногой на мостовую, но и плечом не касаться стен зданий. Даже если он при этом и толкнет десяток-другой встречных, ему их участь не в тягость, когда своя жизнь убережена и устроена наилучшим по его понятию образом.

Естественно, что и к искусству нынешний мещанин относится так же, как и мещанин времен Герцена. Оно должно ублажать, веселить, занимать его, погрязшего до самых мозгов в серости, банальности, вульгарности. Искусство для мещанина по-прежнему шарманка. На эту роль он готов пригласить кого угодно — измышления недругов Отечества, изданные за границей сомнительные мемуары, убогий до безобразия детектив, сочиненный «местным» халтурщиком. Известно, что мещане остаются без ума — казалось бы, как оставаться без того, чего нет и не было, — от костюмных, шикарных кинокартин, какую бы глупость им в них ни показывали. Зато произведения, заставляющие и жить и чувствовать, представляются мещанину головолomными, сочиненными бездельниками или мальчишками, возомнившими себя гениями.

3. НАДО ИДТИ ПО ДОРОГЕ

Однажды — так уж сложились обстоятельства — я несколько часов вместе с заехавшим в столицу армянским живописцем Ашотом Мелконяном ходил по ночным студеным улицам декабрьской Москвы. Мы говорили об искусстве, о жизни, о зрителях. Я мрачно говорил своему другу словами Сергея Есенина: «Не изменят лик земли напевы... Живой души не перестроить ввек...» — и еще что-то пессимистическое. Мне почему-то казалось, что Ашот разделит со мной скептическое отношение многих художников к зрителю-мещанину. А Мелконян вдруг стал убеждать меня в обратном. «Людей надо всех любить, — говорил он, — им нужно дарить красоту, и они оттают. Они поймут. Они станут лучше. Их нельзя бросать. Ведь в каждом человеке — все человеческое. И руки, и сердце, и мысли, и чувства. Учат же детей ходить, говорить. Так же можно научить и мыслить и чувствовать».

Мне все же не верилось, как это может случиться, чтобы заядлый обыватель вдруг почувствовал в себе такого человека, который действительно мог бы сказать о себе:

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества:
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.
Я царь — я раб — я червь — я бог!

(Г. Державин)

А потом я подумал: хорошо, что на свете есть Ашот Мелконян. Все же есть у обывателя шанс

стать человеком, а у его детей надежда не стать мещанами. Настоящее искусство обладает такой удивительной и гуманной силой. Сумело же оно повести мальчика Алешу Пешкова по той дороге, на которой он стал Максимом Горьким. Смогло же оно пробудить в Антоше Чехонте то, что заставило его выжать из себя по капле все рабское и вырасти в писателя Чехова. Может быть, целебная сила искусства, его способность аккумулировать гуманизм, сохранять его веками и щедро, без иссякновения одарять им людей и является его тайной, волшебством, ставящими его в особенное отношение к жизни. Но не из этой ли жизни и берутся его сокровища? Не жизнь ли человеческая, не бодрствование ли мысли и чувства, совершая пластические превращения, становятся теми красками и словами, чья организация самобытна, самостоятельна и вместе с тем одушевлена и очеловечена.

«Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», — писал Пушкин не в конце четвертого десятилетия прошлого века, а как будто тысячу лет назад или вчера. Воплотившись в искусстве, его духовный мир стал вечностью, принадлежностью нашей эпохи. Но что же необходимо для такого перехода из реальности физической жизни в реальность искусства?

Мне кажется, что — не говоря о столь очевидном как талант — для этого необходима активная и целенаправленная деятельность на поприще жизни. А это поприще не ограничивается, конечно же, местом службы, участием в военных или иных кампаниях. Ведь жизнь, проводимая по-человечески, понятие более широкое, многогранное, содержательное, нежели часы, поделенные между трудами и отдыхом. По-своему сложна, богата событиями и переживаниями жизнь, скажем, знакомого мне егеря и знакомого историка. Каждый из них ежедневно испытывает чувства восторга и печали, любви и нежности, обиды и негодования. Каждый из них вправе сделать эти свои переживания настолько мелочными и недостойными человека, что жизнь превратится в непробудную серость, понесется или потащится как-то бессмысленно, неинтересно, оскорбительно для живущего. Человек, каждый день проявляя и испытывая свои чувства, может стать их дирижером, в известной мере их создателем. Ведь многое на поприще жизни зависит именно от него: с какими друзьями и как провести свободное время, какую книгу прочитать... Можно назвать множество подобных дел и занятий, в которых человек не только сможет себя усовершенствовать, но усовершенствовать в очень значительной мере, во много раз более очеловечить свой ежедневный быт. Перед человеком всегда раскрыт мир благородных мыслей и чувств, мир дружбы, любви, природы. И даже боль, гнев, ярость у гуманного человека гуманны и прекрасны.

Это человеческое содержание нами-то и ценится прежде всего в человеке и в искусстве. Прекрасно выразил это Николас Гильен в стихотворении о французском друге:

Поль Элюар... Не забыть
Чистые глаза на лице суровом
И это уменье строгую мягкость в каждое слово

Вложить...
Куда он ушел? И придет ли снова?
Какая его поманила дорога?
Кто знает! Кому эту тайну открыть!
О, чистые глаза на лице суровом...

Но что же нужно делать, чтобы вступить в эту мужественную и прекрасную борьбу за владение каждым мгновением своей жизни, быть художником своей земной судьбы? Для этого надо без промедления действовать. Действовать спокойно и ежечасно, всматриваясь в себя, в людей, в природу. Как говорил тот же Николас Гильен, «нужно глядеть, чтобы видеть, нужно идти по дороге» (перевод И. Эренбурга).

Когда идешь по такой дороге, то отдаешь должное каждому усилию. Понимаешь, что напрасно тратить силы и бездумно, и пошло, и недостойно тебя — художника своей судьбы, мастера. И тогда в любом деле, какое бы ты ни делал, не будет ничего ложного, бессмысленного, корыстного.

На выставках, где показывается древняя посуда, поражаешься тому, что все изделия по-своему хороши и отменны. Люди, их создавшие, по уже устоявшейся в них привычке, работали добротно и красиво. Им так легче и приятнее жилось. Они поэтически воспринимали природу, своих современников. И когда эти гончары прикасались к глине, получалось такое же поэтическое, искреннее, прекрасное искусство.

Когда мы соприкасаемся с эпохой, богатой художественными памятниками, то какой бы она ни была суровой по событиям, мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение. Кажется, что в эти времена органично соприкасаются сокровенные думы и переживания художника и его современников. Так воздвигались храмы афинского Акрополя, писались иконы и фрески Андрея Рублева, на таких основах возникало и наше советское искусство. Где провести разграничительную линию между революционными битвами, светлыми помыслами, суровым трудом и человеческим воскрешением, начавшимся в первые дни Октября, и живописью К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, П. Кончаловского, поэзией А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, кинематографом С. Эйзенштейна и Д. Вертова, музыкой Н. Мясковского и Д. Шостаковича?

Но ведь мы знаем и иные времена, когда художник практически одинок в чуждом ему равнодушном или мстительном обществе. Трудно назвать многих счастливых одиночек — Рубенс, Рафаэль, пожалуй? — а вот трагических фигур мастеров, умерших в нищете, на чужбине, в богадельнях, оставшихся непонятыми и оклеветанными, можно назвать сразу же много. Здесь и Хальс, и Рембрандт, и даже Микеланджело...

Но не говорит ли этот факт и о том, что можно создавать великое искусство в полном уединении от мирских забот, от суеты общества, эстетические контакты с которым не приносят ничего более, как огорчения? Нет. Подобно тому, как младенцы, выросшие в волчьих стаях, лишены человеческих мыслей, чувств и эмоций, так и художник-затворник иссушается и как бы угасает в своем искусстве. Были в XIX веке такие живописцы — их звали «назарейцами», — которые сознательно в нестарые еще годы превратились едва ли не в монахов. Они писали картины на по-своему величественные и трогательные христианские сюжеты. Но ничего, кроме громадных и нудных иллюстраций, они не создали. Цветок искусства может быть, конечно, и очень нежным, почти оранжерейным. Но все-таки это будет достигшая

особой меры утонченность полнокровных, жизненных переживаний и настроений. Искусство без яркой и талантливой личности художника не существует, хотя вовсе и не обязательно, чтобы яркость личности художника проявлялась, как у Караваджо, в дуэлях и прочих романтических приключениях. Александр Иванов сумбурно, тяжело и говорил и писал письма, любил уединение, но в сердце его жил весь мир, его тревожили судьбы и современников и человечества вообще. Его искусство — ответ на эти сомнения и мечты.

4. «ОНИ УДИВИТЕЛЬНЫ — ЭТИ ЧАСЫ...»

Как только мы начинаем осознавать себя, а может быть, и ранее, поступая инстинктивно, мы впитываем в себя одновременно и многообразие окружающего нас мира природы и его гармонию. Гармонию, лежащую в основе каждого искусства. Ведь гармония — это и созвучия красок, и правда поведения героев «внутри» художественной структуры произведения, и изгибы линии, и ритмы стиха.

Гармония приходит к нам из мира природы. Она зарождается в шуме морского прибоя, в смене дня и ночи, зимы и лета, сухого периода и периода дождей. Гармония есть и в соответствии, соразмерности стволов и крон деревьев, частей тел у животных и рыб. И всегда гармония связана с движением, изменением, развитием. Она след жизни, она проявление жизни, форма ее существования, построенная на сочетаниях симметрий и асимметрий.

Эстетическое чувство, связанное с природой, тем и властвует над нами, что сообщает нам необычайно конкретное чувство жизни в гармонии. Австралийский поэт Генри Лоусон писал:

Они удивительны — эти часы,
Когда сумрак нисходит ночной,
И звезды так ярки, и капли росы
Покрывают ковер травяной.
На серебряных нитях повисла луна.
Разорвавшая светлую муть,
А над ней, в синеве, что чиста и бледна,
Только звезды и Млечный Путь.

В такие часы в душе пробуждаются сокровенные, возвышенные чувства и мысли:

О Муза Вселенной, ответь мне хоть раз,
Открой свой извечный секрет:
Такие, как мы, или лучше нас
Обитатели дальних планет?
Скажи мне, быть может, их смерть
не берет

И они не трепещут пред ней?
И выше над ними небесный свод?
И боги у них сильней?

Похожа ли ложь их на нашу ложь?
И та же ли правда у них?
И дух безрассудства с нашим ли схож,
Или там он робок и тих?

(Перевод М. Кудинова.)

В такие мгновения эстетического наслаждения дух наш бескорыстен, наши сугубо житейские, практические интересы дня уходят в тайники памяти, давая простор чувствам и мыслям, куда более независимым от частного, меркантильного интереса. Но лишает ли это нас верного знания о действительности, о смысле жизни? Нисколько. Ведь и размышления Лоусона, по сути, не так-то уж абстрактно-космичны. В них бьется пульс жизни. Но жизни как бы без оков случайностей, повторов, недоработок. Это жизнь, где и добро

и зло выступают в своих совершеннейших закономерностях и обобщениях. Это жизнь в известной мере куда более условная, нежели наблюдаемая нами в повседневном быту. Но эта-то мера условности как раз и дает силу искусству, является его очарованием. «Лишь в чувстве меры мастерство приметно, и лишь закон свободе даст главенство», — писал Гете, размышляя о природе и искусстве, о природе искусства (перевод М. Розанова).

Искусство и эстетическое чувство дают человеку волшебную лампу Аладдина. Они дают ему радость творчества, воссоздания мира по законам прекрасного. Эстетическое чувство — чувство утонченное. Оно плод гуманизма, его живая граница. Чтобы пояснить эту мысль, я сошлюсь на один пример из немецкого языка. Глагол «эссен» в нем означает «есть» (питаться), а глагол «фрэссен» — жрать. Уже в этом добавочном «фр» имеется, на мой взгляд, что-то рычащее, звериное. В самом качестве слов наглядно проявляются два начала — человеческое, облагороженное, и звериное, дикое, изнутри не обработанное. Если природа шлифует поверхности предметов, постепенно изменяя их структуру, то человек обрабатывает себя как бы изнутри. И выделяясь из мира природы, из мира животных, человек очеловечивает все в своих чувствах и поступках. Он сознательно стремится к красоте, к утонченности в чувствах и ощущениях. Ему по праву эта своеобразная игра с собственным осознанием, которая из бескорыстной забавы давно уже переросла в его высшую духовную потребность, стала отличительным качеством человека.

Человеку было мало слышать ритмы прибоя, пение птиц, удары грома. Он сам стал складывать мелодии, которые, изначально основываясь на природных звуках, не были простым подражанием природе. Музыка, в непосредственной связи с тысячелетней эволюцией рода человеческого, совершенствовалась, вбирая в себя все более сложные переходы настроений, чувств и мыслей. Одновременно, слыша эту музыку, совершенствовался и слух человека, он становился музыкальным.

Человеку было мало рассказывать соплеменникам о том, что случилось, положим, на охоте. У него возникла и практическая и чисто художественная потребность поразмыслить, рассказать о том, что не только было, но и могло бы быть.

Человеку было мало радоваться цветным реальным симфониям закатов и восходов. Он загроунтовал натянутый на подрамник холст, взял кисти и краски, стал рисовать новые, «свои» закаты и восходы, подбирая яркие и нежные тона, фиксируя свои цветные симфонии в системе методично положенных мазков.

Разве все это так уж далеко от будничной жизни? Разве, моделируя поведение зверей и охотников в своей фантазии, древний прозаик или поэт не давал слушателям живые образы и ситуации, которые умножали их практический опыт? Кто же, читая страницы, на которых действуют и размышляют Пьер, Андрей Болконский, Левин, Федя Протасов, не испытывает благородного движения мыслей, утверждающих: и ты должен искать пути к истине, развиваться, действовать, волноваться?

Кому не придет в голову, глядя на «Старика еврея и мальчика» с картины Пабло Пикассо, чувство и чисто практического сострадания, сочувствие?

Все это так. Но одного этого искусству мало, чтобы быть искусством, а не наукой, не публи-

цистом-моралистом. Наше переживание самоанализов Пьера, Болконского, Левина далеко не сводится к их лишь судьбам, но и не отрывается от них настолько, что сами эти образы уже могли бы быть и не такими совершенными, самостоятельными, а служили бы только яркими намеками, возбудителями и иллюстрациями мыслей.

В том-то и дело, что мы всецело захвачены литературной жизнью героев, то есть героев выдуманных, существующих во плоти букв, во плоти графитного следа. И это позволяет нам, несколько уже и отвлекаясь от непосредственной, сиюминутной действительности, взглянуть на жизнь не спеша, дальше, существеннее и пристальнее. Мы развиваем свою способность видеть предмет и знать его, анализировать, воспринимать в связи с другими.

Все более и более знакомясь с искусством, вступая в его область, человек вырабатывает в себе потребность к эстетическому переживанию. Он чаще обращает внимание на детали, скорее и ярче схватывает первенствующую мысль произведения. Он все пристальнее всматривается в колорит картины, в мазки, положенные кистью художника, и получает наслаждение от созерцания этой «кухни» искусства, то есть запечатлевшегося процесса творчества. Такого любителя искусства уже не смутит сам по себе тот факт, что шея на портрете удлинена. Он почувствует либо правильность, содержательность, красоту этого приема, этой условности, либо ее несуместность, излишность, недоведенность до гармонии, до меры. Такой любитель искусства не стал бы вместе со «знатоками» упрекать В. Сурикова за то, что, дескать, его Александр Меншиков с картины «Меншиков в Березове» если встанет в полный рост, то не уместится в комнате, а голову об потолок расшибет. Он и сам понял бы, что, рисуя так, а не иначе, В. Суриков стремился передать ту атмосферу заточения, изгнания громадной личности, великой натуры, ради которой художник и взялся за исторический сюжет, представив реального сподвижника Петра анализам историков.

И, понимая, что произведение искусства не должно по самому характеру искусства выдавать себя за сиюминутную, реально существующую, на наших глазах и с нашим участием изменяющуюся действительность, настоящий любитель искусства не станет конфузиться, краснеть или нечистоплотно подумывать, когда перед ним на выставке, в музее предстанет статуя или картина, созданная на «сюжет», по мотивам обнаженного человеческого тела, которое является таким же проявлением природы, как гора, дерево, закат или восход, но к тому же является одухотворенным, несущим печать характера и духовного мира человека. Вообще же к человеческому телу можно в живописи относиться и с критериями пейзажа, подчеркивая прежде всего состояние, настроение, и с критериями натюрморта, выделяя конструкцию, красоту тона, обтекаемости форм, а можно создавать и целые психологические исследования, героем которых будет все тот же человек.

Главное, чтобы перед нами возникло искусство, такое, о котором можно было бы сказать то, что сказал, слушая песню цыган, Федя Протасов: «Вот это она. Вот это она. Удивительно! И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо! И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?»



Владимир Готов

ДНИ И ЗАБОТЫ МАРГАРИТЫ ЗАБЕЛИНОЙ



Я представлял ее в строгом костюме, с деловым лицом.

Она встанет из-за стола, пойдет мне навстречу. Тряхнет с не женской силой мою руку, и после этого мы часа на три засядем за длинный полированный стол и будем с подчеркнутой серьезностью говорить о борьбе за качество, о подростках, о «дифференцированном подходе»...

Что я увидел?

Замшевую сумку на ручке сейфа... Губы, покрытые бледной помадой. В рыжих подкрашенных глазах — умные и веселые гномы.

— Очерк обо мне?

Она говорила сквозь смех, вытирала глаза и называла «эту затею» дикостью.

Она хотела, чтобы я уехал, а я ждал от нее монолога, из которого все узнаю и все пойму. Кто-то из нас должен был не выдержать, и я надеялся, что не выдержит она...

...На другой день утром я навестил базарчик на центральной площади, выбрал два пиона и, положив их на райкомовский, белый от бумаг стол, твердо посмотрел на Маргариту, прикидывая: сейчас расскажет всю жизнь или завтра?.. А Маргарита, как всякая женщина, обрадовалась цветам, но тут же, подумав, что это неспроста, сказала:

— Послушайте, нам пора объясниться... Не теряйте времени, уезжайте в свою редакцию...

Итак, Маргарита Забелина, секретарь горкома комсомола города Шуи.

Деловита, энергична, бережет время, непосредственна, остроумна, улыбается...

Проглядывала в ней какая-то новизна, смысл которой пока оставался неясным.

Не вчерашний человек. Сегоднешний. Но какой?

Четыре дня она шутила насчет того, что мне пора покупать обратный билет. На пятый не выдержала: человек не камень.

— Все началось, наверное, с Юры Арановича, — говорила Маргарита. — Я встретила его десять лет назад. Он приехал с концертами, с оркестром. Вся шуйская интеллигенция всполошилась. Еще бы! Юный талантливый дирижер... Прослушав концерт, растроганная студенточка Забелина решила сказать речь. Мне было семнадцать лет. Потом мы с друзьями проблуждали с Юрой до трех часов ночи. Он всю свою жизнь рассказал. Живо, просто, каламбура. Но поразили меня не его каламбуры, а его культура. Юра шел — маленький, тщедушный, но удивительный... Он уехал от нас в Вологду. А я с тех пор полюбила музыку. Начала коллекционировать пластинки: Бетховен, Бах... Неспособная извлечь звука — разве что из патефона, — стала в своем одиннадцатом классе, куда попала на практику, растолковывать Фантазию Шопена. Придумала «музыкальные субботы», перетаскала ребятам все записи, какие у меня были. Но практика кончилась, и надо было решать, как быть с «субботами». Решила продолжать. Вместо свиданий бегала к своим одиннадцатиклассникам... А потом? Потом встретила Мишу Лепихова. Здесь у него родители, интеллигентнейшие люди. Миша — энергетик, работает сейчас в Ярославле на заводе, а тогда учился в Москве. Он заядлый театрал и сейчас влюблен в Бортникова, модного московского актера. Это он, Миша, приобщил меня к театру... А потом было какое-то смутное время, класс неудачный, неудовлетворение от школы... И как раз тогда вызовы по инстанциям, уговоры пойти в горком комсомола. Признаться, я стала секретарем без большой радости, но сейчас не скажу, что не

удовлетворена. Я что? Я не скупой рыцарь. Узнала что-то — обязательно хочется отдать. Когда я только-только пришла в горком, мы придумали свой клуб «Геликон», нечто вроде дружеских встреч. Я читала в клубе стихи: «...листья падали... на палевые... пальчики...» — и говорила о звукозаписи. Девчонки извлекали из альбомчиков всякую рухлядь. «Знаете, что, — говорила я им. — Вот есть цветы, а есть стружка цветная... Так давайте любить цветы».

Маргарита говорила, забыв, что я журналист, словно ощущая потребность выговориться.

К вечеру она собиралась идти на небольшой завод на комсомольское собрание. Я хотел пойти вместе с ней. До конца рабочей смены было еще много времени, по существу, целый рабочий день. Я устроился на старом горкомовском диване, чтобы не мешать Маргарите заниматься ее обычными комсомольскими делами.

Горком разместился в небольшом особнячке. В просторной общей комнате с узкими, в переплетах окнами, с высокими стенами, в которых тускло поблескивали медные задвижки дымоходов и поперек которых протянулись лозунги на белом ватмане, сидели вместе все горкомовцы. С утра до вечера тут стучала пишущая машинка. Сюда заходили комсорги с предприятий и из школ. Приезжавшие в Шую и покидавшие ее комсомольцы. Рядом, за двустворчатой дверью, работала Маргарита.

Она сидела за массивным столом и, казалось, была здесь как-то вроде некстати. Тут же, за куцым ученическим столиком, вытянув из-под него длинные ноги в пыльных ботинках, скрипел пером Костя Дунаев, второй секретарь. В дальнем углу комнаты отсвечивала никелем ударная установка «Гастон» — большой барабан без тарелок и маленькие барабачики, а рядом стояли облезший контрабас и аккордеон «Шуя». К стене прижался упомянутый продавленный диван, на котором сидел я. На ручке сейфа все так же висела Маргаритина рыжая замшевая сумка. Вот, собственно, и все, что окружало ее. И над всем этим миром вещей, среди которых жила Маргарита, белел прикнопленный к стене крик ее озабоченной души: «Все постановления — из столов!!!»

Это был транспарант, написанный в порядке самокритики Маргаритой. Призыв этот должен был напоминать ей самой и всем в горкоме, что лучшие замыслы человечества подчас погибают под стопками старых газет в дальних ящиках служебных столов.

Я невольно прислушивался к разговорам, понемногу входя в круг секретарских забот.

Маргарита, прижав плечом трубку к уху, записывала что-то и говорила: «Надо звонить по фабкомам. Они помогут...» Речь шла о какой-то выставке работ ребятшек из детских садов, и что-то срывалось, и надо было «звонить по фабкомам...».

Какое отношение имеет секретарь горкома к детским рисункам? Впрочем, подумал я, так, наверное, и должно быть.

Маргарита, бросив трубку, опять ее взяла и начала звонить какому-то Бушкову, назвала ему тему выступления на комиссии по делам несовершеннолетних и, заглянув в тетрадку, стала перечислять вопросы: «Значит, так. Сперва...»

День секретаря нашпигован разными заботами. В два часа пришли пионеры, и самый главный из них, с аккуратным пробором и ясными глазами, облеченный полномочиями, сделал шаг вперед и сказал: «У нас соревнование на лучшего пионера, чей галстук можно будет отправить во Вьетнам. Нам нужна шефская помощь...» Потом позвонил джазист — энту-

зиаст из самодеятельности, поинтересовался, достал ли горком тарелки. Маргарита кинула взгляд на барабаны «Гастон», сказала: «Пока нет... Поеду в командировку в Москву, погляжу там». Приоткрылась дверь. Заворг Валера, не входя, спросил: «Беспокоят из музея, просят дежурных. Будем обеспечивать?» Исчез. И Маргарита уже вслед ему напомнила: «Валера! Не забудь еще оперотряд! У них там опять что-то неладно...» Затем возник недолгий разговор о закладке садов и о том, что надо обязательно ознакомить вожатых... Воспользовавшись секундой тишины, Маргарита написала на тетрадном листе: «Придумать домашнее задание для КВН!!!» — взяла свою сумку и, щелкнув замком, спрятала лист. Это значит — вечером, не сейчас...

Я прикинул круг забот, в пределах которого живет секретарь горкома.

...Ей надо сегодня еще идти на хлебозавод, там «персональное дело». ...Генерал в отставке выступит с воспоминаниями, надо не забыть купить ему какую-нибудь книгу подарить... Завтра начинается городское соревнование токарей, надо быть... Обязательно завести картотеку на молодых учителей: кто, что, какие способности, чем был бы полезен... У школьников зимой соревнование «Золотая шайба» — нет тренеров; искать!.. Стоп! ЧП! В Шую двое шестнадцатилетних крестились в церкви...

Трудно сразу увидеть систему во всем этом. Разве что все эти разговоры, телефонные звонки, визиты, реплики, пометки в записной книжке отражают то, чем живет молодежь Шуй. Маргарита выстраивает в ряд «вагончики» с похожими заботами, сцепляет целые «составы» и отправляет по адресам. Подбирает «локомотивы», переключает стрелки, устраняет возможные аварии. Комсомольский секретарь чем-то напоминает диспетчера, оперативно и безошибочно руководящего движением.

Маргарита прежде не занималась ничем подобным.

...Часам к трем приехал Костя.

Высокий, красивый, пропыленный с ног до головы, он сел напротив Маргариты, взял машинально в руки дырокол с ее письменного стола. Перекладывая его из ладони в ладонь, устало рассказывал:

— Провод для военно-спортивного лагеря так и не нашли... Нужен алюминиевый, многожильный, а есть железный, временка, и электрик, буквоед, просит дать «бумагу», что мы, горком, снимаем с него ответственность за жизнь людей... Иначе, говорит, свету в лагере не гореть...

Костя посмотрел на Маргариту вопросительно. Он молчал, и она молчала. Кто-то из ребят, приехавших вместе с ним, не выдержал, выпалил:

— А что? Давай, Рита, напишем...

Маргарита отмахнулась.

— Бросьте вы это головотяпство! Надо алюминиевый искать.

Я смотрел на нее и думал: ей на практике придется заниматься тем, с чем на ее месте бойкий работник с хозяйственным складом ума справился бы куда более ловко. Этот лагерь стоил горкомовцам немало нервов и пота. Надо было собирать строителей-подрядчиков, прикидывать с ними смету, разверстывать ее по предприятиям, договариваться с колхозом, который продал бы первый щитовой домик. Не женское дело.

Но дело ли секретаря горкома? А почему бы и нет? В конечном счете в него упирается «философия» дифференцированного подхода в воспитании молодежи. Хочешь работать с подростками — строй летний лагерь.

Маргариту окружают разносторонние люди. Заворг, которого все в горкоме ласково называют «Вале-



Маргарита Забелина.

рой», — недавний авиатор, краснощекий парень, спитый, как он говорил, «по здоровью на гражданку», человек дельный, умеет водить машину и мотоцикл; он оказался весьма способным по части снабжения... Маргарита всегда стыдилась выглядеть дилетанткой. Потому, заняв кресло секретаря, она окружила себя людьми, знающими дело. Она одинаково видит пользу и в практиках-организаторах, подвижных, деятельных ребятах, и в прожекторах, наполняющих стены горкома сумасбродными «идеями».

Среда, в которую она вошла, показалась ей живой и энергичной, но она встретила в ней и людей, мыслящих в рамках в общем-то отживших суждений.

«Чего ты ждешь от секретаря горкома?» — спросила она на семинаре комсорга с фабрики. Комсорг, не задумываясь, ответил: «Огонька!» Потом помолчал и уточнил: «Задора...»

Маргарита слегка растерялась. Ей порой было совсем невесело.

«А сам ты каким стараешься быть?» — осторожно спросила.

«Ну, прямолинейным... Твердым».

Маргарита секунду поколебалась. Она понимала, что нетактично вдруг, ни с того ни с сего начать

расспрашивать парня: что он читал, что видел... Но все-таки задала ему несколько вопросов. «Мейерхольд? Фамилию эту слышал. Вроде бы музыкант... Булгаков? — пожал плечами. — Смеляков? А, конькобежец, рекордсмен мира...»

Маргарита плохо знала этого парня, лишь раз была у него на фабрике и не представляла его в роли секретаря, но здесь, на семинаре, комсорг со всеми быстро сошелся. Он овладевал людьми, стоило ему задорно сказать: «А ну-ка... споем!» Но с той же непринужденностью его быстро и забывали.

— Скажете, нетипично, да? Мало таких осталось? Может быть...

Оказавшись в роли секретаря, Маргарита увидела, что разные типы комсомольского работника живут еще под одной крышей. Одни — «вожаки», ребята с крепким характером, энергичные, считающие себя вожаками в буквальном смысле слова. Немало среди комсомольских работников и так называемых «организаторов». Как правило, это умные и образованные люди, но незаметные. Они считают, что надо не «вести», а «организовывать».

...Маргарита задумалась, словно решая, стоит ли говорить.

— Я часто встречаю еще один тип человека. Работает, но лишь с виду. Деловой, но только тогда, когда надо «исполнять указания». Старательный, ловящий на лету поручение. Он любит выглядеть серьезным, мало улыбается. При начальстве сух, сдержан, лишнего слова не произнесет. Лишних жестов или, скажем, человеческих слабостей себе не позволит. Никакой цветистой красочки, кроме как темно-серой, под стены учреждения. Покрикивает на подчиненных и помалкивает, вслушиваясь, когда покрикивают на него самого. Вроде как сознательно стянул себя обручем, чтобы «рассол», который внутри, не потратить, сохранить... для карьеры. Я этих людей больше всего недолюбливаю. Недолюбливаю, хотя и понимаю, что в каждом человеке есть нечто такое, что позволит найти с ним общий язык.

...Какая же она сама, Маргарита?

Я не заметил в ней ни выдающихся способностей, которые выделяли бы ее из среды, ни строгости и сухой логики «организаторов». Оказавшись волею судьбы в старом особняке с вывеской «ГК ВЛКСМ», она вела себя естественно. И в этом был свой смысл. Ибо то, как секретарь исполнит свое назначение, будет зависеть не от его представлений о том, каким бы надо было быть, а от него самого, от его сущности. От человека.

...Шуя — ткацкий городок. Городок из той самой песни, где «...ткачихи составляют большинство». Тут и незамужние и замужние, и хлопоты насчет выставки детских рисунков не столь случайны для горкома.

Маргарита со свойственной ей педагогической пунктуальностью ходила по фабрикам, изучала «проблемы города». Ткачихи в шутку учили ее «присучать ниточку», и она видела, что сами они делают это мгновенно. По цеху, как снег, кружили ворсинки хлопка, ткачихи были словно в пуху. В обед одна из них спешила в столовую занимать для всех очередь, другая пробегала мимо станков со щеткой, смахивая с них хлопковый пух, и потом догоняла бригаду. Маргарита подумала: «Здорово девочки работают...» Сами же они считали, что «все нормально». Взять обязательство на 102 процента? «Ты что? — скажут. — Вот 135 — это дело!» Попросили Маргариту: «Вы нам в горкоме нарисуйте черепаху, машину и ракету». «К чему это?» — удивилась Маргарита. «Соревноваться!»

Жизнерадостные девчата... Не бедно живут и не скучно, а все-таки жизнь их показалась Маргарите однообразной — чего-то не хватает. Производство, общепит, опять производство... Маргарита позвала их к себе в горком. Пришли. Чинно посидели, поглядели по сторонам, освоились, постучали по барабанам, послушали Маргариту, сказали: «Вообще, конечно, можно попробовать...».

А Маргарита говорила им: «Послушайте, девочки... Я заходила в детдом. Мальчишки там, конечно, сыты, одеты, но живут они без мам. Вы сами будете матерями, но разве это мешает вам сейчас познакомиться с ребятами? Ну, хотя бы с самыми малышами...»

С тех пор ткачихи шефствуют. Читают дошколятам книжки. Водят, к их великой радости, в кино. Пытаются заменить им матерей. И будто что-то изменилось у них самих в жизни.

У Шуйского горкома много забот, но главная — женщина и политика.

В Шуе трудно найти женщину, которая отсиживалась бы дома, ограничила себя кругом семейных забот, но это еще не значит, что женщины здесь

сплошь митингуют. Они работают. И это, с одной стороны, казалось бы, приобщает их к делам общества, но тут же рождает новые социальные, психологические и моральные трудности. И эта проблема не разрешится сама собой «в ходе общественного развития». Нужны усилия. Вполне логичны поэтому, с точки зрения Маргариты, рейды, которые устраивает горком: по столовым, по детским садам...

Будни Маргариты — не набор случайных занятий. Я заметил: она бывает расстроена, когда случается брак в работе. Расстроена, но как-то не так, как бывает недоволен человек, если просто «что-то сорвалось». Так расстраиваются, когда линия, задуманная и выдерживаемая, вдруг по чьей-то вине искривляется. Когда нарушается логичность.

Неделю назад Валера изрядно подвел Маргариту. Было срочное дело — один из рейдов, та самая выдерживаемая «линия». Маргарита назначила встречу в воскресенье, а Валера не пришел, просидел с приятелем в ресторанчике. Маргарита не отыгралась в понедельник, хотя Валера — ее подчиненный.

— Не в этом дело, — сказала она. — Он не понимает. Бесполезно ругать.

Я спросил ее, что она чувствовала, когда поняла, что ждать Валеру уже не стоит.

— Я обиделась...

И я подумал, что она просто легко ранима, как всякая женщина. Оснований для обиды было достаточно: именно в этот вечер собрались ее одноклассники, прибежали к ней, звали в тот самый ресторан, где сидел Валера, а она ждала «свой аппарат».

На следующий день Валера ходил настороженный, виновато упирает глаза в стену и недоумевал, почему Маргарита молчит.

Да, он не понимал, что люди могут воспринимать общие заботы как личную жизнь. Становясь практиками, захваченными движением общественного механизма, они не равнодушно фиксируют его осечки, они страдают.

Я слушал Маргариту. Сидя на продавленном диване, мысленно перебирал впечатления дня...

— Пора на завод.

...Завод этот не из образцовых. Подростки, поработав здесь с год и получив специальность, просят: «Отпустите во двор убирать стружку...» Во дворе можно больше заработать, чем в цехе. По пути сюда я заметил объявление в витрине магазина: «Требуется уборщица. Зарплата 74 рубля». У ребят-подростков заработок на этом заводе значительно меньше. В чем дело? Нет, не в отсутствии возможностей. В комитет комсомола пришел парнишка, сказал, что он месяц уже без станка — мастер все обещает. «Приду, руки измажу, чтобы на рабочего походить, — рассказывал паренек, — и сажу где-нибудь в уголке...»

Собрание было в клубе. Собралось человек сто. Расселись подальше от сцены. Заводской комсорг суетился, спешил, на ходу одергивал зеленую скатерть стола президиума. Незаметно для Маргариты уговаривал высокого, крепкого на вид парня, члена комитета:

— Миша, выступи...

— Я з-заикаюсь б-буду...

— Миша, надо. Секретарь горкома, ты же видишь...

Наконец все было готово. Комсорг призвал усаживаться поближе. Несколько девушек пересели.

Выкрикнули президиум: директора, судью. И ее, Маргариту. Я не припомню, какие пункты значились в повестке дня, но речь шла о заводских подростках. Как прижились на заводе, как себя ве-

дут. Судья был приглашен для придания серьезности вопросу. Он подошел к трибуне первым. Сказал:

— Я прошу минут двадцать... к сожалению, мы скоро должны уйти.

Высоким голосом он доложил, какие бывают случаи, когда молодежь несознательная. С цифрами, фамилиями, именами-отчествами изобразил картину их, подростков, поведения.

Последние слова прозвучали оптимистически:

— Товарищи, будьте настоящими советскими людьми. Будьте застрельщиками... Молодежь у нас впереди, на самых ответственных участках.

Зал дружно похлопал.

Маргарита сидела с мрачным лицом. Из-за ее спины выглядывала богатая шевелюра директора завода. Он посматривал на часы. Перед собранием кто-то сказал мне о нем: «Он у нас молодежный!»

Я думал о Маргарите: «Попала в ситуацию!»

Тем временем комсорг, поглядывая то на Маргариту, то в зал, какой уж раз повторял:

— Кто желает выступить?

Никто руки не поднимал.

— Вот Миша собирался...

Миша вспрыгнул на сцену.

Он говорил по существу, о заводских проблемах. О том, что ребят плохо учат. А хотя и выучат, так подолгу держат без станков. Есть мастера, которые грубят, приучают водку пить...

— Спорт совсем у нас забросили... Многие хотят борьбой заниматься, я бы их тренировал. А где? Была в подвале комната, отдали ее под слесарку. Мы ходили к директору, просили выделить помещение. Обещал слесарку вернуть, а нам ее не вернули...

Зал оживился.

Начальник цеха, метнув взгляд на президиум:

— Работать надо, а вы тут со своим спортом!

Оглушил. Стало тихо.

В это время встал председатель собрания. Обращаясь то ли к президиуму, то ли к залу, произнес:

— Тут директор, судья и начальник цеха просят отпустить их с собрания по важной причине...

И они ушли. Табуном, прямо через зал. Не знаю, смотрели ли на них с осуждением; я в это время смотрел на Маргариту. Она сидела, неестественно прямая, подняв голову. К ней была обращена добрая сотня пар глаз, и в этих взглядах была юношеская вера, будто без нее люди не смогут ничего предпринять, ничего осуществить.

Маргарита не стала публично оправдывать судью с директором перед собранием. Всем видом своим показывала, что суть не в тех, кто нас покидает, а в нас самих.

— Продолжаем работать...— сказала она.

Однако поредевший президиум забросали записками, просили отпустить с собрания: кого в техникум, кого в вечернюю школу, кого в ясли за ребенком...

Когда мы уходили, комсорг, пожимая нам руки, выглядел виноватым. Ждал, что ему попадет. Маргарита распрощалась с ним спокойно.

Мы возвращались молча.

Я понимал, что в Маргарите все кипит.

— Что вы задумали?

— Ничего особенного,— с трудом сдерживая себя, сказала она.— Просто пойду сейчас к секретарю горкома партии, устрою бабью истерику.

Я думаю, не каждый нанес бы такой визит. Все-таки директор завода, судья — солидные люди. Куда легче сорвать зло на заводском комсорге. Это, как говорится, «по твоему ведомству». Тут уж можно не сдерживать себя. Ругайся.

...Маргарита рассказывала сбивчиво, нервничала. Глинский, секретарь горкома партии, долго не мог понять, что случилось, и заставлял ее повторять сначала. Но, поняв, что к чему, сказал: «С ними я разберусь. На бюро разбираться будем...»

Поглядывая искоса на Маргариту, я подумал, что она чем-то напоминает симпатичного киногероя Ниточкина, который говорил: «Страстями надо жить, страстями...»

Вот такая она, «секретарь Маргарита».

Провозглашая высокие цели, она сама показывает личный пример в работе и привлекает к ней и к горкому хороших людей. Сама она при этом оценивает свою роль трезво. Постоянно ищет подлинный секрет товарищества.

Почему так дружны теперь те девушки-ткачихи? Что связывает их? Формальные узы?.. Нет, конечно.

Маргарита инстинктивно окружает себя не просто людьми разносторонними, полезными делу, а людьми добрыми и отзывчивыми. Она не любит давать «поручения» в буквальном смысле. Она ищет людей, которые понимали бы ее. Людей, для которых исполнение ее замысла было бы лишь продолжением их собственных стремлений.

...Был поздний вечер. В горкоме комсомола еще горел свет.

— Костя! Ну как там с лагерем? — спросила Маргарита почти машинально.

Костя облегченно вздохнул.

— Насчет водопроводчиков я договорился,— начал он,— а вот с алюминиевым кабелем...

Эти милые ребята понемногу становились товарищами. Люди становятся ими всегда, когда начинают испытывать радость от сознания пользы, принесенной общему делу.

...Ходит по Шувее красивая молодая женщина, носит свои мини-платья. Кое-кто думает: «Небось из-за границы». Не допускает, что «секретарь шьет сама».

Впрочем, никто здесь не осуждает ее ни за мини, ни за подкрашенные глаза. За это осуждать теперь как-то уже несовременно.

Правда, кое-кто ворчит: «Могла бы быть понезаметнее...» Тот ворчит, кому не по душе ее откровенность, ее открытость в выражении симпатий к людям, которые ему самому почему-то не нравятся.

Но люди бывают разные. По-разному платят за откровенность... Ткачихи, возвращаясь как-то в праздничную ночь с веселья, приставили лестницу к ее дому, забрались на второй этаж и положили на ее подоконник цветы... Утром к Маргарите сердито постучала соседка: «Это вам...— Протянула букетик и записку.— Ваши «обожатели» перепутали окошко...».

По-разному люди выражают свое признание. Могут голосованием, а могут и вот так...

Р. С. Только что узнал, что Забелину избрали секретарем Ивановского обкома комсомола.

Ну что ж, в добрый путь, Маргарита!



ДВА ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

1. Кто виноват?

Сегодня я совершенно случайно слышала разговор двух учителей на перемене. Преподавательница математики говорит: «Шестой класс «Б» — могила, не сравнить с шестым «А». Только двое поднимают руки, остальных хоть не спрашивай». Преподаватель литературы и русского языка соглашается: «Да, это так».

Но ведь в том, что шестой «Б» — «могила», виноваты и учителя. Я знаю этот класс, и у меня сложилось впечатление, что преподавательница математики сама спрашивает только тех двоих. Двое работают, остальные отсутствуют...

Сейчас эти ребята в шестом классе. Их не спрашивают. Поэтому они не учат уроки — и довольны. Но потом они сами спохватятся: «Почему мы не учили, ведь для себя надо, не ради оценок». Зубами скрипеть захочется от злости за ненужно прожитые годы (знаний-то у них не будет), да что поделаешь? Спихватятся поздно, когда будут, как мы, уже в десятом классе.

Почему же учительница математики не возьмется за ребят? Ведь у нее есть и жизненный и педагогический опыт. Она давно ведет математику с пятого по восьмой класс.

Прореагируйте, пожалуйста, как-нибудь.

Женя Н.,
ученица 10-го класса.

Иркутская область.

2. Вот какой возник конфликт...

Мне хочется затронуть вопрос об отношениях учеников и преподавателей. Мы унесли из школы много знаний, мы многому научились. Мы любили, уважали наших учителей, хотя за десять лет у нас с ними было много споров и даже ссор. Я написала «уважали наших учителей» не случайно. Расскажу, что у нас произошло.

Выпуск последней школьной стенгазеты с традиционным названием «Последний звонок» поручили специально для этого выбранной редколлегии. У нас каждый год выпускники вывешивали последний номер своей стенной газеты в таком духе:

1. Одна заметка о заслугах школы и учителей.
2. Благодарность директору.
3. Благодарность классному руководителю.
4. Благодарность учителям.
5. » »
6. » »

и т. д. — вся газета.

Мы, может, несколько самонадеянно, решили, что газета эта — последняя наша исповедь, последний разговор со школой, в котором можно вспомнить и поговорить обо всем. Нет, мы не забывали, чем мы обязаны учителям. Честное слово, не было у нас никаких обид. Мы искренне написали, что за весь труд, за потерянное здоровье — в общем, за все благодарны учителям. Мы просили прощения за те огорчения, которые мы им принесли. Мы вспомнили свой первый класс, сравнили себя в десятом классе. Сколько хорошего сделала для нас школа! Сколько интересных походов, путешествий, дел и занятий! Мы ничего не забыли. Потом мы сказали прощальное слово ребятам, остающимся в школе. От чистого сердца посоветовали взяться, пока не поздно, за учебу и за поведение свое, чтобы они не каялись потом как мы.

В последний день с утра мы вывесили творение своих рук и уже ждали (опять-таки самонадеянно) хотя бы чуть-чуть похвал. Все-таки, как нам казалось, мы написали о том, о чем думали все десятиклассники, и сделали это не по трафарету, вложили столько искренних чувств...

На следующей перемене в класс, как на крыльях, влетела наша классная руководительница, и... целый ураган упреков в неблагодарности обрушился на нас. Мы-де неблагодарные: что за ужасную газету мы вывесили?

С урока забрали нескольких учеников — на выпуск новой газеты.

В чем же дело?

В газете, оказывается, говорилось о школе вообще, но поименной благодарности каждому педагогу не было. И они ходили по школе оскорбленные.

На следующей перемене висел лист ватмана, украшенный букетами цветов, с совершенно одинаковыми благодарностями каждому учителю в от-

дельности. Это и был «Последний школьный звонок» в новой редакции.

Вот какой возник у нас конфликт.

Что же теперь можно думать обо всем этом?

г. Киев.

Н. Ч.

ЧТО ВЫ, СОБСТВЕННО, ЗНАЕТЕ О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ?

Письмо из редакции

Ава письма, полученных редакцией «Юности», непохожи одно на другое. И тем не менее они, в сущности, посвящены одной и той же проблеме, о которой написано множество статей и книг, которая сотни раз обсуждалась на дискуссиях, диспутах, собраниях, конференциях,—проблеме древней и вечной. Сформулировать ее можно так: противоречие между тем идеальным учителем, которого создает в своих мечтах каждый ученик, и тем реальным учителем, который этого ученика учит.

Как и когда создается этот идеал? Вероятно, еще в раннем детстве, из рассказов взрослых о школе (конечно, рассказов приукрашенных), из книжек и фильмов. В первый класс мы все приходим с готовым: преклонением перед своей первой учительницей, с безграничной верой в ее справедливость, всемогущество и доброту. К пятому классу эта вера у большинства ребят уже не столь безгранична: у многих сильно поколеблена, у некоторых разрушена. Кто в этом виноват? Легче всего ответить: конечно, учителя, непохожие на идеал. Или, может быть, наоборот, те книги и те фильмы, которые показывают неидеальных учителей, тем самым убеждая ребят, что и в жизни учитель не всегда хорош?

В «Комсомольской правде» от 29 января нынешнего года напечатаны отзывы зрителей о кинофильме «Доживем до понедельника». Вот отрывок из письма учительницы Б. М. Воскобойниковой:

«С чем я не согласна?

С той ролью, которую отвели Светлане Михайловне. И не потому, что нет в нашей среде таких...

...Я пекусь об авторитете учителя.

Есть ли плохие учителя? К сожалению, да.

Есть ли отличные учителя? Есть, и много.

Вот и давайте ставить фильмы об отличных, чтобы шла молодежь в педвузы, чтобы шли туда лучшие из лучших...»

Мнение Б. М. Воскобойниковой разделяют — я это знаю — многие учителя. Им кажется, что ребята сами не додумаются до того, чтобы судить и оценивать работу своего преподавателя. Вот, например, ученики той преподавательницы математики из Иркутской области, которая говорит, что шестой «Б» — «могила», — эти ученики пойдут в кино и увидят там отличного учителя. После этого они, разумеется, убедятся в увлекательности учительского труда и поступят в педвузы. А если они увидят в кино «нетипичную» Светлану Михайловну, то узнают (только из фильма, разумеется), что не все учителя идеальные, и уже никогда не пойдут в педагогический...

Для меня фильм «Доживем до понедельника» был большой радостью по многим причинам. Одна из главных — то, что в нем есть учительница литературы Светлана Михайловна.

Хороших и даже идеальных, вызывающих восхи-

щение учителей я в кино видела. Плохих — тоже. Но я впервые увидела учительницу, в которой зрители-ученики могут понять и пожалеть человека.

Многих моих коллег возмутит само предположение, что ученики могут — что им может быть позволено! — жалеть учителя. И все-таки я настаиваю на своем: да, понять и пожалеть...

На собрании библиотекарей я слышала такой рассказ: ребята обсуждали книгу о В. И. Ленине. Книга была хорошая, о ней было сказано много добрых, умных, живых слов. Но вот что поразило всех взрослых. В книге был эпизод о том, как Владимир Ильич не взял привезенных ему лично в подарок продуктов и попросил передать их детскому санаторию. Ни одному из обсуждавших книгу ребят не пришло в голову, что Ленин не взял подарка из благородства, скромности, потому что в трудное, голодное время считал себя обязанным жить, как живет весь народ. Все выступившие были убеждены: Ленин отдал продукты детям, потому что детям положено, им все обязаны; если бы рядом не оказалось детского санатория, тогда, конечно, Ленин взял бы продукты себе...

Эта история имеет прямое отношение к предмету нашего разговора. Мы так часто изображаем в кино и литературе взрослых, отдающих детям все, что у них есть, включая жизнь, что дети начинают считать это нормальным, обязательным. Так поддерживается и без того свойственный ребенку эгоизм.

Мы твердо помним, что Горький сказал: «Жалость унижает человека». Но жалость бывает разная: пренебрежительная, которая унижает, и деятельная, идущая от совести, которая заставляет помогать тому, кого жалеешь. Разве нам не жалко того же Сокола, который «в бою с врагами истек... кровью»? Или Данко? Или Ниловну в конце романа «Мать», когда ее бьют жандармы? И разве эта жалость унижает Ниловну? Нет, она поднимает нас.

А мне вот в фильме «Доживем до понедельника» жалко всех учителей. И Мельникова, может быть, больше всех, потому что ему всего труднее. Но вернемся к Светлане Михайловне.

Когда она властвует на уроке, сидящие в зале школьники узнают в ней свою непоколебимую, не терпящую возражений учительницу. Когда она плачет в учительской, те же школьники, сидящие в зале, вдруг понимают: человек она, а не робот.

Что касается лично меня, то я абсолютно убеждена: каждый класс, начиная с первого, может понять гораздо более серьезные моральные, человеческие проблемы, чем те, которые мы на сегодняшний день перед детьми ставим. Я видела немало тому примеров. Ну уж а со старшеклассниками-то можно и нужно разговаривать обо всем, в том числе и об учителях. Это я и попробую сейчас сделать.

Взрослые любят вспоминать школу. Или это мне так везет: со мной все разговаривают о школе; наверное, думают, что для меня это любимая тема. И почти каждый взрослый, сообщая, какие у него были учителя, с какими странностями и прозвищами, говорит со вздохом: «Вот у нас была по географии Анна Францевна...» Или: «Химик у меня был Дмитрий Александрович...» Почти у каждого взрослого есть в памяти кто-то один — за десять лет школы, — кто запомнился навсегда. Почему именно этот учитель, объяснить бывает трудно.

Мои школьные годы выпали на войну. К восьмому классу я переменила семь школ; меня учило множество учителей. Многих я забыла начисто. Кое-кого помню по тем неприятностям, которые — как мне тогда казалось — они доставляли мне, а на самом деле я доставляла им. Было очень занятно, например, доводить до иступления кроткую учительницу химии: еще не войдя в класс, она из коридора кричала надрывным голосом, чтобы я немедленно убиралась вон вместе с моей подружкой, такой же невыносимой девчонкой (теперь она завуч большой московской школы). Мы, конечно, никуда не уходили. Каждый урок мы превращали в веселый спектакль для нашего класса и очень этим гордились. А на следующем уроке, на истории, мы стояли у своих парт, вытянувшись, как солдаты, задолго до появления учительницы.

Когда я сейчас вспоминаю все это, мне не то чтобы стыдно, мне главным образом непонятно — до сих пор, после многих лет преподавания, — непонятно, почему милая, добрая учительница химии вызывала у нас такое яростное раздражение, а холодная, злая «историчка» внушала почтение и страх. Она плохо преподавала историю и умела быть только суровой с нами. Этого «только» оказалось достаточно, чтобы потом, в университете, я сдавала экзамены по истории, почти не готовясь, — злая учительница, излагавшая нам свой предмет сухо, по учебнику, заставляла меня выучить и понять историю СССР на всю жизнь.

Так, может быть, в конечном итоге она была хорошей учительницей? Этот вопрос я задавала себе тогда, девчонкой, задаю его и сейчас. Может быть, никому не нужна вся эта «лирика»: любовь и уважение учеников, увлеченность, интересные уроки, блестящие глаза, — а нужна только требовательность и минимальный профессионализм? Вероятно, мы все, учившиеся в первой женской школе города Саратова, так бы и думали, если бы нас не учила литературе Александра Степановна Вознесенская.

Я во многом, очень во многом виновата перед ней. Утешает меня только одно: когда я сама стала учительницей, мои ученики воздали мне сторицей за те огорчения и обиды, которые я причиняла Александре Степановне. В пятнадцать-шестнадцать лет человеку необходимо утвердить свое «я» в глазах окружающих. Ближайшими и наиболее естественными жертвами процесса самоутверждения обычно оказываются учителя и родители: с ними ведется ожесточенная борьба за право мыслить и поступать по-своему, за право нарушать общепринятые нормы поведения — борьба, всегда необходимая и всегда... несправедливая.

Александра Степановна все это понимала. Теперь я знаю: она из тех редко встречающихся учителей, которым дано не забывать себя в юности, видеть себя в молодых и не раздражаться. Тогда я, как и все девочки, просто была влюблена в Александру Степановну, в ее светлые волосы, голубые

глаза, в ее маленькую дочку, в ее неизвестного нам мужа, который был на фронте, в ее тихий голос. Влюбленность не мешала, а, наоборот, способствовала тому, что я могла огорчать и обижать Александру Степановну самым жестоким образом. Каждая из нас имела свои сложные отношения с учительницей, о которых Александра Степановна, может быть, и не догадывалась: мы ревновали ее друг к другу, обижались на малейшее невнимание, требовали непрерывного признания наших достоинств. Со всем этим она справлялась спокойно, незаметно и, главное, как-то легко.

Я никогда не могла ответить на вопрос, умела ли она «держат дисциплину». В этом просто не было необходимости: нам было интересно на ее уроках. Настолько интересно, что понятие дисциплины переставало существовать. Много раз потом я проклинала себя за то, что не помню подробно, в деталях, как она преподавала: эгоцентрическая память подростка отобрала свои тщеславные успехи и свои самолюбивые огорчения, а что она делала на уроках, я забыла. Помню только ощущение праздника. Но, может быть, это и есть главное.

Праздник начинался еще на алгебре, когда мы видели в окно, как Александра Степановна подходит к школе со связкой тетрадей: сумки у нее не было; в стареньком пальтишке с вытертым воротником, лицо у нее замерзшее и несчастное — это все мы видели, но в эгоизме своем никогда не думали, как она живет вне школы: есть ли у нее дрова, здорова ли дочка, идут ли письма с фронта — все это нас касалось мало. Нам нужна была наша, вынутая из семьи, быта, любви, горя Александра Степановна. И она приходила в класс — наша. Гораздо позже я поняла, что за дверью класса можно оставить любую беду, любое горе, что класс только тогда и принимает тебя до конца, когда ты входишь, душевно освобожденная от всего; мир сужается: ты и класс — больше ничего не существует, только то, что ты даешь классу и берешь от него.

Мы учились в третью смену. Школьная библиотека не работала; Александра Степановна приносила из дому тяжелые книги с картинками, свернутые в трубочку репродукции картин, — может быть, от этих книг и картин исходило ощущение праздника? Или оно возникало из ее убеждения, что вот сейчас, здесь, в холодном, плохо освещенном классе, где мы сидели в пальто, совершается самое важное на свете дело?

Через много лет, когда я давно уже была учительницей, мне однажды понадобился журнал моего класса, и я заглянула во время урока в кабинет физики. Ребята сидели спинами к двери, и в этих спинах я почувствовала что-то необычное. Никто не обернулся на скрип двери, ни одна спина не шелохнулась. Я на цыпочках прошла вдоль стены в угол класса. Они сидели, подперев головы руками, разинув рты и глаза, а впереди на небольшом возвышении сидел на корточках учитель и, делая в воздухе круговое движение руками, приговаривал: «Вжиг, вжиг, вжиг...»

До сих пор не знаю, что именно объяснял ребятам Константин Петрович Домбровский. Знаю только, что я вдруг остро позавидовала — не учителю, который умеет так преподавать, а ребятам, которые у него учатся. Так и не взяв журнала, я на цыпочках выбралась из класса — никто не заметил моего ухода, как никто не заметил, что я вообще приходила. Им всем было важно то, что совершалось сейчас в классе, — важнее ничего не было на свете.

Мой класс еще не успел окончить школу, когда Константин Петрович тяжело заболел и умер. Была зима, мороз. Хоронили Константина Петровича дале-

ко, на загородном кладбище. Могильщики перекрикивались равнодушными простуженными голосами. И тогда молча вышли двое наших учеников, молча отодвинули могильщиков и взяли лопаты. Так же молча, сменяясь, они закопали гроб. Я стояла у могилы и думала: кто это сказал — если бы человек мог увидеть свои похороны, он жил бы иначе... Вот умер человек, о котором говорили: просто учитель, только учитель — не академик, не герой, не космонавт. Если бы он мог увидеть свои похороны — только тогда он, может быть, понял бы, этот скромный человек, сколько сделал в своей жизни. Я хотела бы прожить жизнь так, как он.

Работая с Константином Петровичем, я вспоминала Александру Степановну. У них был общий секрет — он долго ускользал от меня, но в конце концов я поняла. Дело в том, что для них было праздником учить ребят. Вот почему для ребят стало праздником учиться у них. Вот почему именно эти учителя запомнились навсегда.

Но ведь каждый взрослый помнит о своей школе и другое: невидимую и нерушимую стену между многими учителями и учениками. Стену, в фундаменте которой лежат непонятные детям, но очень убедительно звучащие слова о педагогическом и непедагогическом, а каждый кирпичик этой стены представляет собой твердую и грубо прямолинейную нотацию, прочитанную целому классу или отдельному ученику в индивидуальном порядке. Каждый взрослый помнит — и даже с умилением вспоминает — самые жестокие проделки своего детства, вроде вкалывания иголок в стулья и натирания доски свечкой... А с другой стороны, каждый взрослый помнит горчайшие обиды, нанесенные ему учителями, оскорбительное недоверие, или невнимание, или непонимание...

Так что же типично: Александра Степановна или учительница истории? Или та бедная старушка, из уроков которой мы ничего не вынесли о химии, но научились бессмысленной жестокости?

Когда я начинала работать в школе, меня поражало одно обстоятельство: хорошие учителя все разные, плохие все похожи друг на друга. Мне казалось: те, кого я считаю плохими учителями, просто не хотят понять, что они неправы; их нужно переубедить, их можно научить...

Научить можно. И то не всему, конечно. Научить правильно преподавать. Учительницу математики, о которой пишет девочка из Иркутской области, конечно, учили в институте, что спрашивать надо всех учеников, а не двоих отличников. Тому же самому ее учат завуч, директор школы, инспектор — если в их присутствии она тоже спрашивает только двоих. Но никто не может научить ее любить свою работу, относиться к ней, как к празднику.

Всем известно, что учителя бывают разные. И всем известно, что в идеале они все должны быть прекрасными. Но после многих мучительных сомнений я пришла к такому выводу: учителя и не могут не быть разными; не могут все, как один, праздновать каждый урок. Потому что учительский талант — редчайший дар, а профессия учителя — одна из самых распространенных, массовая.



Вот о чем я стала задумываться, читая возмущенные или недоумевающие письма ребят о своих учителях: а что вы, собственно, знаете о работе учителя? Ведь, как ни странно, она так же мало и так же поверхностно знакома вам, как деятельность артиста. С той только разницей, что артисту на ва-

ших глазах достаются аплодисменты и потому вы ему завидуете (чуть ли не половина подростков мечтает о театре). Та внешняя сторона работы учителя, которую вы видите, далеко не всегда может вызвать зависть, поэтому учителем хотят быть немногие.

На самом же деле в этих двух профессиях много общего. Прежде всего — громадная часть работы, невидимая зрителям и ученикам. Тяжкая, круглосуточная, повседневная работа мозга. Просыпаешься ночью и сквозь сон продолжаешь репетировать монолог, который завтра с кажущейся легкостью прочтешь на сцене или... на уроке. Сотни раз перебираешь в уме вчерашний спектакль или вчерашний урок: все шло гладко, но где-то прозвучала фальшивая нота. Где она была? Как найти ее?

Не думайте, что эти муки творчества знакомы только большим артистам и блестящим учителям. Они знакомы всем. Тот учитель, которого вы в своей беспощадности считаете средним, незначительным, он ведь тоже живет трудовой творческой жизнью.

Человеку всегда нелегко поверить, что он чем-то хуже других. Особенно, когда все силы отдаешь, стараешься, душу вкладываешь... Совсем не просто артисту, работающему рядом со Смоктуновским, знать про себя: да, я хуже — и все-таки делать свое дело с полной отдачей, на какую способен. Для этого много нужно мужества. А поэту легко писать стихи, зная, что есть Пушкин, и Блок, и еще много великих?

Нам всем, работавшим в одной школе с Константином Петровичем Домбровским, было очень трудно. У нас была хорошая школа, мы все любили свое дело и отдавали ему душу. Может быть, кто-то из нас работал больше, чем Константин Петрович. А получалось не так хорошо. И приходилось не только мириться с этим, но еще и подавлять в себе невольную зависть, и не преодолевать восхищения, и тянуться, чтобы не отстать, — и все равно отставать... Сложно это все.

Что вы знаете о своем учителе — даже в чисто профессиональном плане? Как он входит в класс, открывает журнал, вызывает ученика, другому ученику делает замечание, как он слушает, справедливо ли ставит отметки, как рассказывает... Это много. Но это малая часть его работы.

В среднем учитель дает в день четыре урока. Каждый урок — громадное нервное напряжение, после него нужен отдых. Вы думаете, что перемена необходима только вам, — она еще нужней учителю. Но во время перемены он почти никогда не отдыхает. Или дежурит, или идет в свой воспитательский класс, или его по срочному делу вызывают к директору, или приходят родители. Кончаются уроки — начинаются дополнительные занятия, репетиции, кружки. Сегодня — педсовет, завтра — родительское собрание, в воскресенье — поход, в понедельник нужно, хочешь не хочешь, идти с классом в театр...

И все это опять только видимая часть учительской работы. Невидимая проходит дома. Это не только тетради. Сколько бы лет ни преподавал учитель, какой бы ни был у него опыт, он обязан к каждому дню иметь подробный план всех уроков, которые он проведет. Этот план нужно написать. А перед тем, как написать, — продумать. А продумав и написав, может быть, на ходу, во время урока все перестроить, потому что вы народ непредсказуемый и невозможно заранее учесть в плане такой фактор, как настроение класса.

В начале каждой четверти ваш учитель должен сдать завучу целую тетрадку с подробно разработанным планом своей работы классного руководителя. И эти планы обдумываются, а потом ломаются, но

они должны быть выполнены, их проверяет администрация школы. Вы не можете даже отдаленно представить себе, сколько сумятицы и неразберихи вносит каждый из вас в рассчитанную и заранее продуманную работу учителя. Может быть, потому эта работа так увлекательна, что она всегда полна неожиданностей. Но ведь неожиданности утомляют. Молодой учитель еще не умеет с ними справляться, но он готов к ним, они его даже радуют. Старому все это часто не под силу. Просто не под силу — потому что он устал за двадцать, тридцать лет работы.

Его работа такова, что ее трудно выполнять, даже когда любишь. Трудно. В каждом классе — сорок пар глаз, ничего не упускающих; сорок человек, не прощающих ни малейшего промаха, — сорок человек, которым он почему-то должен прощать все: лень, разболтанность, грубость...

Одна молодая учительница — моя бывшая ученица — рассказала мне: мальчик-девятокласник заявил ей, что не может остаться после уроков, потому что у него билеты в кино. Учительница не стала спорить, упрекать; спокойно договорилась, что он останется завтра. Выслушав ее, я посоветовала:

— Ты в следующий раз скажи: я тоже не могу остаться, у меня ребенок. Но остаюсь...

Учительница посмотрела на меня с сомнением. Да! Тысячу раз да! Скажи им правду: у тебя ребенок, у тебя трудная жизнь, пусть они увидят в тебе человека, пусть знают, что, кроме них, у тебя есть муж и сын, которых ты любишь, ты им нужна; но этот наглый мальчишка тебе тоже нужен, и, главное, ты нужна ему, поэтому ты остаешься с ним после уроков. Ведь он полагает... Что он полагает? Какая причина, по мнению ученика, заставляет учителя заниматься с ним отдельно, впихивать в его легкомысленную голову забытое и недоученное, настаивать, требовать, повторять одно и то же? Что это, по мнению ученика? Долг? Страх перед начальством? Просто учительская вредность? Да нет, ничего он на этот счет не думает, девятиклассник. Он просто привык, что ему все обязаны, что взрослые должны с ним возиться, что учитель к нему приставлен на предмет полного умственного обслуживания.



Я уверена, что киевские учителя, возмущенные последней газетой выпускников, любят свою работу. И болеют за нее. И страдают, когда им кажется, что ученики не поняли, недооценили их. Я видела за жизнь сотни учителей; среди них было не очень много блестящих, но совсем равнодушных к своему делу было еще меньше. В большинстве учителя школу любят, и ребят любят, и преподавать, как положено, умеют, и добросовестно выполняют бесконечную, утомительную вереницу учительских обязанностей.

Но, как и в каждой профессии, в учительской работе есть своя специфика, своя «вредность», свои профессиональные заболевания.

Молоденькая девушка, только что окончившая институт, приходит в школу. В ее памяти еще свежи собственные проделки; больше всего на свете она боится попасть в положение учителя, которому сели на голову. Как угодно, любыми средствами она хочет поддержать свой авторитет. Не возражайте! Не спорьте! Беспрекословно подчиняйтесь!

Не сразу, но в конце концов ей удастся заставить класс не возражать, не спорить и беспрекословно подчиняться. Проходит год, два, пять, десять лет: классы меняются, и все они не возражают. Постепенно учительница привыкает к мысли, что она всегда права, что ее мнение всегда истинно, что ее авторитет нерушим и каждый, кто смеет на него посягнуть, — злодей.

Это и есть самое страшное из учительских профессиональных заболеваний: уверенность в нерушимой своей правоте. Оно имеет и обратную сторону. Я все делаю правильно, а дети почему-то остаются детьми: прогуливают уроки, читают посторонние книги, осмеливаются со мной спорить, да еще и улыбаются — эти улыбки особенно возмущают почему-то. Так рождается никакой другой профессии несвойственная обидчивость, уязвимость: я им жизнь отдаю, а они...

Они газету выпустили, как они хотят. Почему? Зачем? Что ими двигало? Мы столько лет преподаем, мы знаем, как выпускать, а они — от горшка два вершка — хотят по-своему! И уже невозможно поверить, что ребята все делали из самых лучших побуждений; профессиональная подозрительность берет свое: они обидеть хотели, они о себе писали, о своих всяких чувствах, а нас поименно не поблагодарили...

Конечно, учителя киевской школы, заменившие газету выпускников, поступили неразумно и неправильно. Но когда ученики на этом основании делают вывод: «Что же теперь можно думать?» — отчаяние этого вопроса чрезмерно. Вы представьте себе на минутку, что учителя ваши — немолодые, усталые люди, что долгие годы работы в школе наложили на них свой отпечаток, что их много огорчали и обижали в жизни... Я бы на вашем месте их пожалела. Честное слово, так.

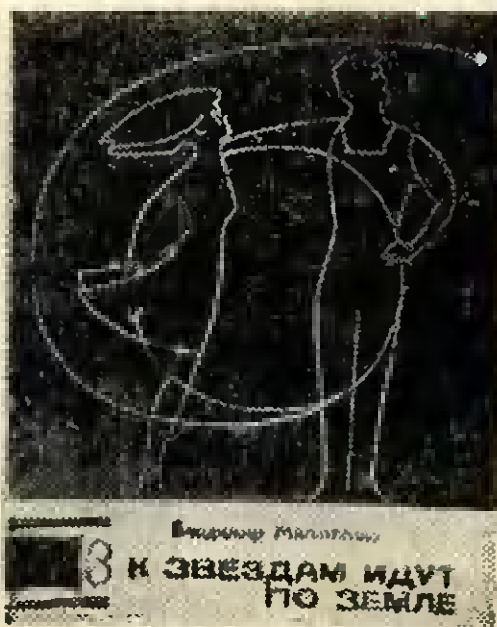
Есть случаи, когда жалость и сочувствие неуместны. Учительницу математики из Иркутской области я бы не стала жалеть — если она действительно такая, как пишет о ней десятиклассница: на основании одного-двух разговоров можно ведь и напутать. Есть случаи, когда следует бороться, говорить правду в глаза, отстаивать свою точку зрения и быть безжалостным. И в школе такие случаи встречаются.

Но всякая борьба прежде всего требует ответственности: умения поставить себя на место другой стороны, понять ее позицию, взвесить свои и чужие доводы. А в школьных конфликтах ученики чаще всего удивительно безответственны, не дают себе труда ни задуматься, ни, главное, увидеть в своем учителе человека.

Так мы возвращаемся к тому, с чего начали. К Светлане Михайловне из кинофильма «Доживем до понедельника». И к вопросу о том, какие учителя типичны.

Я думаю, что разные, а среди них — и Светлана Михайловна, и моя учительница истории, и бедная старушка, учившая нас химии, и Мельников из того же фильма, и Александра Степановна, и Константин Петрович. Каждый из них по-своему типичен, каждый представляет собой один из типов учителей. Мы ведь не требуем от всех артистов, чтобы они были, как Комиссаржевская, — знаем, что это невозможно. Мы благодарны каждому за то, что он может нам дать. Так должно быть и с учителями. Если только мы дадим себе труд увидеть в каждом из них человека.

Н. ДОЛИНИНА



Исторические дни создания ВЛКСМ, его героические дела воскрешает книга В. Милютенко «К звездам идут по земле» (изд-во «Знание», 1968 г.). Автор изучил много архивных материалов, документов. Перед читателем оживает история: проходят события, имена, даты.

Готовясь к социалистической революции, большевики видели в молодежи свою опору, свой резерв. В книге удачно показано, как большевики стремились привлечь рабочую молодежь на свою сторону. Сразу после Февральской революции газета «Правда» писала: «За кем рабочая молодежь — за тем будущее». «Вопрос об организациях молодежи был предметом специального обсуждения VI съезда партии, который собрался в июле 1917 г. Партия была тогда полулегальной. В. И. Ленин скрывался от ареста. Большевиков травили и преследовали».

В книге последовательно прослеживаются этапы рождения комсомола: создание Социалистического союза рабочей молодежи, РКСМ и, наконец, ВЛКСМ.

Приведены в книге страстные слова В. И. Ленина о том, какими должны быть комсомольцы. «Эти слова и сегодня звучат как приказ. Вот он, голос Ильича: — Не хватает керосина в избечитальне? Добудьте! Кто-то не выполняет советских законов? Сообщите, разоблачите, добейтесь снятия, ареста, наказания! Обнаружен враг? Скажите чекистам! Иные родители недопонимают значения Союза молодежи? Соберите их или пойдите к ним, докажите, вовлеките в общественную деятельность!.. Нужна помощь партии? Идите в партийный комитет! Но

действуйте, помогайте, информируйте, разоблачайте, советуйте, изобретайте, искореняйте зло и недостатки, поддерживайте каждое хорошее начинание, доводите все до конца!»

Комсомольцы верны заветам В. И. Ленина. Сейчас, указывает автор, «400 тысяч молодых людей избраны депутатами местных Советов. Каждый восьмой депутат Верховного Совета СССР — человек в возрасте до 30 лет».

Верность ленинизму особенно ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны. В этой великой битве советская молодежь проявила невиданный в истории героизм. Цифры, приведенные автором, которые нельзя не запомнить, убедительно говорят об этом: подвиг Александра Матросова был повторен более чем 200 раз; 70 патриотов, как и Николай Гастелло, бросали свои горящие машины на врага, более 60 раз таранили его в воздухе.

Исторические сведения о комсомоле тесно переплетаются в книге с современностью: «За минувшие десять лет на важнейшие стройки Сибири, Дальнего Востока, Севера и Казахстана по комсомольским путевкам было направлено свыше миллиона юношей и девушек. Только в 1962—1966 годах при активном участии молодежи построено 750 промышленных объектов».

Оглядываясь на пройденный комсомолом путь, можно уверенно сказать, что дело В. И. Ленина в надежных руках. Книга знакомит с ответами комсомольцев на вопросы знаменитой анкеты, которую заполнял в свое время К. Маркс. За яркими, порой скупыми ответами отчетливо вырисовываются черты молодых строителей коммунизма.

И. АНЕМПОДИСТОВ

В книжке А. Шарова «Дети и взрослые» (изд-во «Советский писатель») есть повесть «Хмелев и Лида», повесть о жестокой любви, которая сошла бы за самоотверженность, не поверяй неукоснительно автор гармонию высшей «нравственной математики».

Шаров строг в описании трудных судеб. Читателю эпически-холодно сообщается, что Хмелев был комбатом, штурмовал Берлин — его мужества в те дни хватило бы не на одну жизнь, он умирал, лежал с параличом рук и ног. Таким его полюбила, взяла к себе домой из госпиталя одинокая медсестра. Это внесло в ее жизнь цель, подвижничество. Опиши его автор с сочувственной похвалой или иным выигрышным способом — оно могло бы стать единственной и оправданной темой повести. Но писатель исследует диалектику подвига — и открывается, назревает подспудно, с течением событий иная, посерьезнее явно очевидной драма: всей логикой своих поступков Лида бережет не столько Хмелева, сколько его болезнь. А Хмелев выздоравливающий перестает принадлежать ей безраздельно со своей деятельной добротой, гражданской активностью.

...Ничто не обходится нам так дорого, как бескорыстные люди. — старый этот парадокс применительно к событиям повести не кажется резким. Он просто горек и трезв. Так, «добрая» Лида открыто ненавидит соседского Ленку, сироту-подростка, который привязался к Хмелеву и, кажется, отдаляет его от нее.

Есть у Шарова эффективный прием: исследуя

жизнь своих героев на драматических перекрестках, он не преминет, пусть на миг, заглянуть в исток этой жизни, увидеть взрослых сквозь призму их детства. Оно точно ключ к коду странных поступков, ошибок или удач. Оно свидетель защиты, великий объяснитель. Сквозь эту призму видится понятным, даже дорогим пеласковый, угрюмый Карвялис из «Поездки домой», светлая, ранимая Машенька из одноименной повести.

Шаров-художник вольно или невольно очень органично сближается с Шаровым — профессиональным биологом, и «общими» усилиями кристаллизуется главная мысль сборника повестей и очерков: о детстве как законодателя судьбы. Писатель оперирует научными категориями. В биологии не так давно открыт закон толерантности — в очерке «Трудные дети» ему находится педагогическая параллель. Обычно организм уничтожает все чужеродные белки, но оказалось: если этих чужаков вводить зародышу, то организм уже навсегда будет к ним толерантен, то есть будет принимать их, не сопротивляясь. Так неправда и жестокость, чуждые детской психике и «введенные» ребенку, делают человека в будущем неспособным бороться с несправдой, жестокостью, различать их. Значит, необходимо спешить обеспечивать детство золотым запасом правды, справедливости, красоты. В детстве человек синтезирует из солнечного света, влаги, воздуха все соки, краски и запахи.

...Педагогические очерки не механически соседствуют с «собственно беллетристической» в шаровском сборнике. Очерки с их невымышленными событиями, вбирающие раз-



ное — воспитательскую практику, биографию забытого талантливого педагога, переписку и беседы с читателями, историческую, научную хронику, детские стихи, даже отрывок из сказки А. Лопухова, — точно лаборатория, где, прикасаясь к живым, сиюминутным коллизиям, человек обретает зрение и опыт художника, вырабатывает писательское умение выдумывать совсем достоверную жизнь.

Л. БЕЛАЯ

Дворы, вымощенные камнем, в которых полощется на веревке белье, а тесные веранды заставлены тазами, ведрами с водой, табуретками, примусами; дворы, где все секреты на виду и перебранка между соседками не умолкает; деловитый шум порта, наштаны и акации на бульварах и теплый ветер с моря — все это представляется живо и предметно. Книга рассказов А. Львова, выпущенная издательством «Советский писатель», называется «Большое солнце Одессы». Аркадий Львов — бытописатель и поэт Одессы. Рецензенты двух литературных еженедельников уже отметили одесский колорит, которым окрашен сборник А. Львова. Он не бесцелен, этот колорит, но в иных рассказах, отметим сразу, его, пожалуй, слишком много; он навязчив.

По всем приметам — неустоявшемуся стилю, юношески — автобиографическому материалу — рассказы эти из числа первых опытов прозаика. Уровень сегодняшних возможностей А. Львова определяют собранные

энергичные новеллы «Солнце восходит над морем», «Уполномоченная Осавиахима», «Женюшка Кравец» и недавние его публикации в периодике. В них проявляется редкое и ценное качество, которым счастливо одарен Аркадий Львов. Сложные и острые нравственные проблемы он ставит перед нами в упор, так, что не отвернуться, не отвертеться, пока не дашь на них ответа. Такая страстность, настойчивость в постановке нравственных вопросов присуща обычно публицистике или яркой публицистической прозе, но Аркадий Львов достигает ее в рассказах, где «от автора» не говорится ни слова, где нет и намерения на его присутствие. Больше того: почти до последней строчки рассказы развиваются как бесстрастное живое описание какого-либо житейского случая, но якобы бесстрастное лишь до определенной черты, до финала рассказа, когда вопрос «как быть?» обращается уже не только к героям произведения, а лично и непосредственно к тебе самому, и ответ на него не из тех, что легко и немедленно приходят на ум... За видимой авторской отстраненностью — точное и своеобразное мастерство. Требовательность, с которой А. Львов ставит перед читателем коренные жизненные проблемы, — примета гражданственности его таланта.

Валерий ГЕЙДЕКО

Недavno я прочитала книгу профессора В. И. Чучмарева «Лейбниц и русская культура» (изд-во «Высшая школа», 1968 г.). Не-

мецкий просветитель Готфрид-Вильгельм Лейбниц известен как философ, дипломат, математик, механик, правовед, исследователь естественных наук. Но книга В. И. Чучмарева раскрывает личность Лейбница в еще одном аспекте. Она рассказывает о взаимосвязях немецкого энциклопедиста с Россией петровской эпохи и включает в себя интересную переписку Лейбница с Петром I.

Книга «Лейбниц и русская культура», несмотря на скромный объем, очень емкая. В ней можно найти ответы на многие вопросы, связанные с «русской» теорией Лейбница. Внимательно изучив историческую обстановку на Западе и Востоке в конце XVII — начале XVIII века, Лейбниц пришел к выводу, что центр мировой цивилизации перемещается в Россию. В письме Петру I он писал о своем желании помочь русскому просвещенному монарху «взять лучшее и усовершенствовать надлежащими мерами то, что сделано в обеих частях света; ибо в вашем государстве все, что касается до науки, еще ново и подобно листу белой бумаги, а потому можно избежать многих ошибок, которые вкрались в Европе постепенно и незаметно... Я сочту за величайшую честь послужить вашему величеству в деле, столь похвальном, ибо... я имею в виду пользу всего человеческого рода, ибо... мой интерес и моя симпатия направлены на общее благо».

Петр I с большим вниманием отнесся к предложению Лейбница. И в течение двадцати лет (Лейбниц умер в 1716 году) немецкий ученый, ни разу, впрочем, не побывав в России, но постоянно встречаясь с

русскими посланцами и переписываясь с Петром, преданно и заинтересованно отдавал свои силы и знания русскому государству. Лейбниц и лично встречался с Петром I, когда тот был в Европе. Сначала немецкий ученый служил России безвозмездно, затем специальным именным указом русский царь назначил ему высокую плату за службу.

Петр I и его министры очень внимательно относились к многочисленным предложениям и проектам Лейбница, большинство которых — конечно, с критическим отбором — было успешно проведено в жизнь и охватывало самые разнообразные области государственного устройства — от строительства каналов до образования коллегий. Но прежде всего Лейбница волновали вопросы просвещения — расцвета наук, организации университета, Академии наук, школ.

Обо всем этом подробно рассказывает в своей книге профессор В. И. Чучмарев. И здесь же впервые воспроизводится фотокопия знаменитого манускрипта Лейбница к Петру I от 16 января 1712 года — того самого, в котором немецкий просветитель и обосновал свое решение служить России: «...Я с малолетства любил науки, занимался ими и имел счастье... сделать разные и очень важные открытия, восхваленные в печати беспристрастными и знаменитыми людьми. Я не находил только могущественного государя, который достаточно интересовался бы этим. Надеюсь, что нашел такого в вашем величестве, ибо вы можете легко и почти без хлопот и издержек сделать в вашем обширном государстве самые лучшие распоряжения и обнаруживаете готовность к этому. Эти великодушные намерения вашего величества могут способствовать благосостоянию бесчисленного множества людей, не в одном только современном, а и в будущем поколении, оказать большую пользу всему человеческому роду, но, главным образом, Русским и всем другим славянским народам...»

Н. ЛАГИНА



Еремей Парнов

ГИМН морским ежам



Рисунки В. Владыкина.

Писатель Еремей Парнов побывал недавно на Дальнем Востоке. Он объездил весь Хасанский район, несколько дней прожил в бухте Троицы, где создана первая в Союзе исследовательская станция по биологии океана. Результатом этой поездки явилась книга «Белый лебедь» у океана», отрывок из которой мы публикуем.

Когда-нибудь о морских ежах напишут поэму. Только высоким штилем можно по достоинству прославить красоту, уникальные гастрономические качества, разнообразие форм, кроткий нрав и бескорыстную преданность науке — все те изумительные качества, которые выделяют морских ежей среди прочих обитателей моря.

С чего начать повествование о морских ежах? Впрочем, раньше надо договориться о терминах. Дело в том, что один еж другому не чета. Я лично видел четыре типа ежей: черных, зеленых, сердцевидных и плоских. А так, может, их куда больше. Ежи — родственники морским звездам и голотуриям, в частности трепангам. Родственники в том смысле, что все они являются иглокожими. Это не мешает, конечно, взаимному поеданию.

Самый красивый еж — нудус. По-латыни это означает «голый», или, говоря современным языком, «нудист». Не знаю, кто окрестил так это черное, утыканное сверкающими иглами существо. Очевидно, очень веселый человек.

Когда плывешь в воде, содрогаясь еще от утреннего холода, ежи производят странное впечатление. Они напоминают заледенелые созвездия, к которым ты неожиданно приблизился. «И Тамплинсон взглянул назад и увидал в ночи звезды замученной в аду кровавые лучи». Киплинг, наверное, видел нуду-

сов. Эти живые существа похожи на неживые звезды или по меньшей мере на звезды, впавшие в спячку. Черные лакированные лучи их, строго говоря, нельзя называть иглами. Это суживающиеся к концам трубочки. Что же касается «кровавых лучей», то тут речь скорее всего идет об алых ниточках с крохотными присосками — амбулякральных ножках. Московский биохимик Александр Александрович Нейфах показал мне нудуса под микроскопом. Среди черных блестящих игл амбулякральные ножки извивались в причудливом танце, образуя легкую алую дымку, которая и придает черному ежу его непередаваемый цвет. Кстати, самого нудуса по величине можно сравнить с хорошим яблоком, и его вовсе не надо разглядывать в микроскоп.

Гораздо больше похож на ежа интермедиус. Иглы у него короче и тоньше. Они лежат в разных направлениях, что придает интермедиусу оголтелый, ежидный вид. И цветом интермедиусы не подкачали. В одних местах они рыжевато-серые, в других — серо-пыльно-зеленые.

Ежи довольно крепко присасываются к грунту и царственно сверкают, заледенелые и гордые. Но им ничего не стоит переменить место. Им достаточно пошевелить иглами и встать на них, как на ходули. Если же, сделав небольшое усилие, оторвать ежа и вытащить из воды, все иглы сразу же придут в неторопливое, почти механическое вращение — бесполезная попытка вернуться в родную стихию.

У выброшенного прибоем ежа, когда он основательно повалится на солнце, иглы отваливаются столь же легко, как у сухой елки, которую оставили в комнате до «старого» Нового года. А под иглами-то и скрывается настоящая красота ежа — его известковый скелет, зеленоватый или нежно-сиреневый, с геометрически точными меридиальными

узорами из круглых буторчиков. Скелет ежа — это купол мусульманской мечети или мавзолея. Безупречная, математически совершенная конструкция, которая, честно говоря, даст сто очков вперед Тадж Махалу.

Скелеты ежей можно найти в береговых выбросах, много их и на дне. Скелет сердцевидного ежа, как легко угадать, сердцевидный. Его прелесть переходящая, как, скажем, у ирисов. Я часто находил эти тонкие белые коробочки, но их редко удавалось даже вытащить из воды. По сравнению с ними выеденное яйцо — конструкция из армированного бетона. Хрупкие сердцевидки разрушались даже от сопротивления воды. Лишь дважды мне удалось вытащить их на берег. И оба раза ненадолго. Сердцевидные — довольно редкий вид. Поэтому Великий истребитель ежей (о нем ниже) говорил о них с особой симпатией.

Еще более плотоядно распространялся он о плоских ежах, белые, как мел, скелеты которых украшены пятилепестковым узором из крохотных дырочек и напоминают окаменевшие облатки для католического причастия. Впрочем, кто у нас видел эти самые облатки? На круглое печенье «Крокет» похожи скелеты. Я нашел целый город пластинчатых, целую страну. Оказывается, они не экзоты, а просто любители чистого и мягкого песка. Эти мохнатые, цвета крепкой марганцовки пластины в воде кажутся почти черными. Они валяются на песке, как распотрошенный автомобильный фильтр тонкой очистки.

Пластинчатых ежей не едят, вероятно, из-за крайней скудости содержимого. Сердцевидные ежи весьма редки, и Великий истребитель очень ими дорожит. Поэтому я попробовал лишь черных и зеленых. Попробовал и остановился на зеленых — интермедиусах.

Я читал, что морской еж — высший деликатес. В ресторанах Флориды его подают за бешеные деньги. Эксцентричные супружеские пары специально проводят летние каникулы в бухтах, где есть ежи.

Я вскрывал ежей ножом. Скелет лопался с противным фарфоровым хрустом, и глазу открывалось содержимое: черноватая жидкая масса с какими-то камушками и четыре оранжевых мазка на внутренней поверхности скелета. В мазках — вся прелесть. Это икра (или молоки, так как различить можно лишь под микроскопом) морских ежей. Как передать ее вкус? Это нечто среднее между маслянистостью лучшей стерляжьей икры и сладостью сока в крабовых банках. Это хвост лангусты, превращенный в нежнейшую эмульсию. Это знаменитый рачий соус, сгущенный в сбитые сливки. И еще нечто, о чем я просто не умею сказать.

Теперь о том, как я открыл обиталище пластинчатых. Заодно это будет рассказ и о подводном зиккурате. Но я забыл рассказать об одной особенности морских ежей, которая сильнее всего сближает их с сухопутными. Как и обитатели наших лесов, морские ежи любят нанизывать на иглы всякую всячину: почерневшие клочки морской капусты, раковинки, какие-то деревяшки и даже дырявые скелеты своих же братьев-ежей.

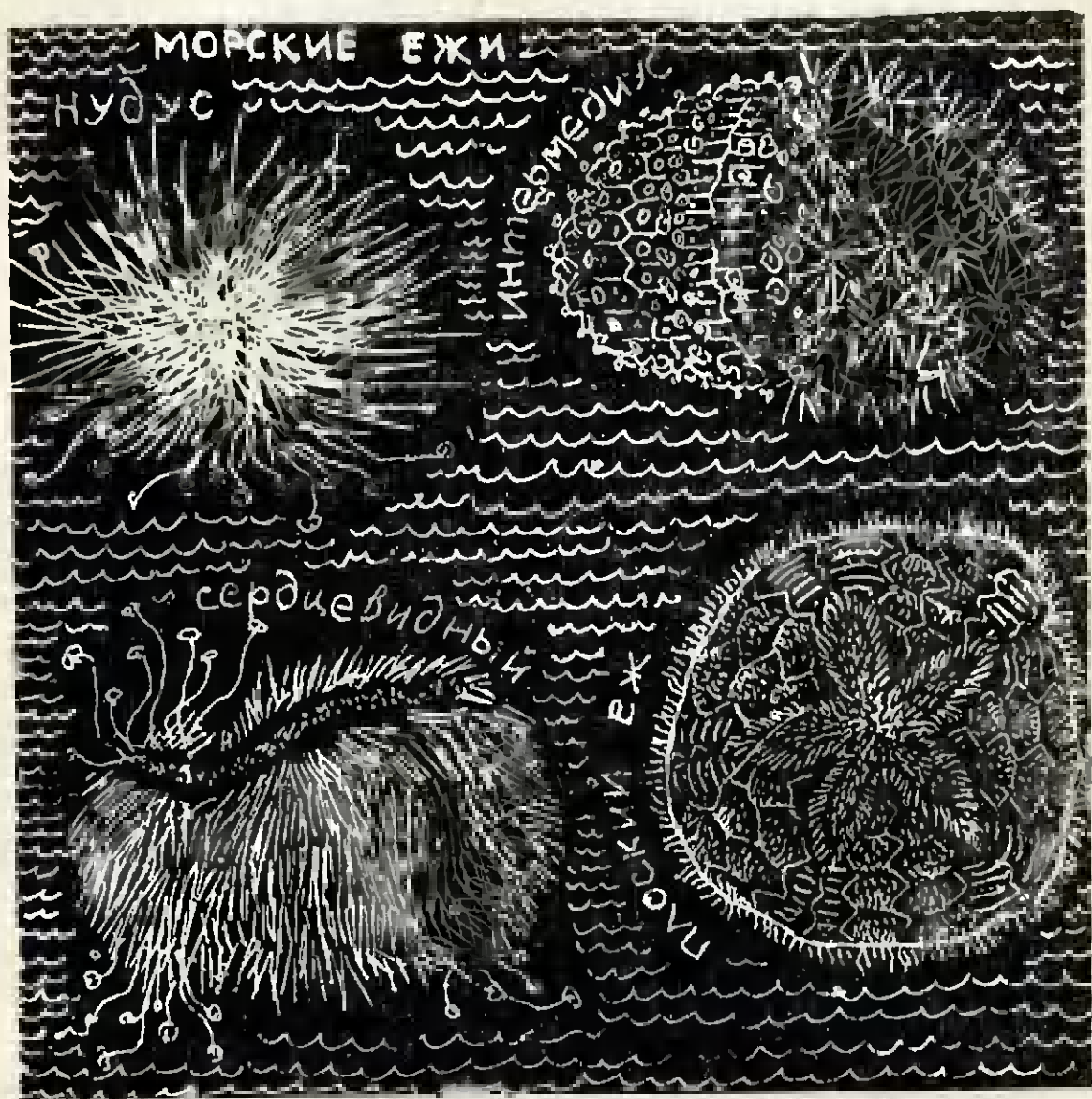
Зачем они так поступают? Скорее всего маскируются. Но от кого? Рыба вряд ли решится атаковать утыканное иглами сокровище, кальмар и тюлень — тоже. Может быть, ежи боятся большого камчатского краба? Этот колючий броненосец может, конечно, расколоть ежа, но он не вылезает на мелководье.

И осьминог тоже любит тихие местечки, где поглубже да похолоднее.

Острых игл ежей больше всего боятся водолазы. Ежовые иглы легко обламываются и прочно застревают в ранках. Такие ранки очень болезненны и долго не заживают. Я сам выковыривал заостренной спичкой остатки крошащейся иглы из пятки Володи Попова — начальника станции. Причем делал это прямо на берегу, поскольку чем скорее прочистить рану, тем скорее она заживет. Так что, очевидно, дурная слава ежей ими заслужена... Но мой микроскопический, конечно, опыт все же заставляет меня относиться к ежам с большей снисходительностью. Со смелостью неведения я отрывал их от камней голыми руками. И вскрывал, держа незащищенными пальцами. Даже случайно наступал на них в воде. Ощущение, конечно, не очень приятное, но кожа оставалась целой.

Но пора вернуться к пластинчатым ежам и подводному зиккурату, который я обнаружил в прекрасной бухте Копакабана. Об этой бухте мне рассказывал Володя Попов.

— Видите вон ту сопку? — спросил он, показывая на зеленый гребень, поросший скрюченными дубками с плоскими, причесанными ветрами кронами. — К ней ведет тропинка. Она огибает сопку, спускается в небольшой распадок и вновь забирается на гору, ту, дальнюю, голубую. Оттуда видна бухта. Спускайтесь прямо по склону.



Сначала дорога была ясно видна. Черная колея со следами протекторов и оленьих копыт вела в рощу широколистного маньчжурского дуба. Мутное небо неожиданно прояснилось, и зеленый распадок ожил. В папоротниках и высокой полыни заскрипели цикады, затрепали кузнечики и сверчки. Все засверкало, запахло буйно и остро, как в день творения. Радужными нитями обозначались фермы хитроумных паучьих конструкций. Огромные мохнатые пауки живее стали укутывать в серебристые коконы пестрых бабочек.

Дорога пошла по болотцу. Я прыгал с кочки на кочку. В черных жирных ямках тускло блестела мазутоподобная вода. Вскоре я понял, что, кроме оле-

ней, тут вряд ли кто до меня ходил. Очевидно, тропа осталась слева. Но оленья тропа вела на вершину сопки коротким путем, и я полез прямо в гору. Потом я узнал, что так ходят либо люди, всю жизнь проводившие в горах, либо беспросветные невежды. Избрав путь бывалого горца и часто припадая на четвереньки, я добрался наконец до самого верха. Те искореженные ветрами дубки, которые я видел снизу, росли, как оказалось, на узкой террасе, метрах в пятидесяти от верхней точки. А может, я залез не на ту сопку...

Ветер дул здесь со страшной силой. Волокна тумана неслись мимо меня, гибкими прядями струились над плоскими, как на японских картинах, верхушками деревьев.

Море зеленело далеко внизу. Памятуя наставление Володи, я начал спускаться почти по отвесному склону. Ветер постепенно утих, облачный туман остался вверху, да и спуск сделался более пологим. Но тут я обнаружил, что окружавшее меня великолепное разнотравье очень напоминает болото. Огромные осоки чередовались с невидимыми ямами неизвестной глубины. Под ногами журчал ручей, который тоже никак не удавалось разглядеть.

Звук ручья говорил о том, что он прыгает по камням. Я нащупывал эти камни ногой и перескакивал с них на ближайшие кочки, — как я хорошо знал, единственно надежные участки на болотах. К этому времени мои иллюзии, что именно этот путь ведет к лучшей на земле бухте, которую Володя называет Копакабаной (настоящее название — Холерная), начали рассеиваться. Спуск опять сделался почти отвесным. К счастью, потому что на такой крутизне не удержится ни одно болото. Действительно, вскоре ручей обнажился во всей каменной красе, а кочки сменились привычными папоротниками и лещиной. С трех сторон меня окружали горы, а впереди бухали еще невидимые сверху валы. Это тоже внушало подозрение. На широкой песчаной полосе Копакабаны волны не могут бухать, они должны ласково и полого накатываться.

Зеленые склоны казались совершенно плюшевыми. Местами этот плюш, как и положено, лоснился, кое-где был вытерт до белизны. Стали попадаться гранитные валуны, поросшие золотистыми, как засохшие чернила, лишайниками и сухим мохом. Небо над головой клубилось мощными, крутого замеса, облаками, прорезываясь вдруг бездонной синевой холодного и пронзительного оттенка. В довершение картины в небе парила на воздушных потоках какая-то черная царственная птица, а качающиеся травы поглаживали выбеленный на солнце олений скелет. Одним словом, Рерих и Васнецов; северная мощь, друиды, скальды и викинги. Я попал в странный распад, столь непохожий на почти тропическое великолепие окружающей природы.

За мертвым, искореженным дубом пошли каменные нагромождения. Ручей здесь вырывался на волю и как-то боком стекал в море. Гранитная стена в этом месте была черной и влажной. В трещинах росли какие-то причудливые создания с холодными мясистыми листьями голубого и розового цвета. Две сопки сближались здесь и каменным хаосом обрывались вниз. Это там бухали и свистели волны. Карабкаясь среди гранитных, сглаженных временем валунов, я смог наконец увидеть то, что творилось внизу.

А творилось там нечто несусветное. Настоящая дьявольская крутоверть. Только тот, кто знает, что такое каменные гроты на конце выдающегося в океан мыса, может представить себе эту дикую и страшную красоту. Волны буквально врывались в этот от-

крытый всем ветрам грот. С пушечным грохотом разбивались они об осклизлые камни и опадали в базальтовую ловушку, стущаясь из тумана и пены в малахитовую воронку, которая со свистом разглаживалась, превращалась в смиренную черно-серебряную воду. Но не успевала эта вода просочиться сквозь каменные нагромождения и заплеснуть в сумрак базальтовых арок, как налетала другая, курящаяся холодным туманом, еще более яростная волна. И все опять повторялось. От начала мира и до скончания веков.

Очевидно, желанная бухта лежала или справа, или слева от грота. По воде туда ничего бы не стоило добраться. Разумеется, в отлив. Теперь же попытка уйти из грота в море могла кончиться весьма плачевно.

Оставался только один путь — через сопки.

Естественно, я вновь выбрал самый короткий путь. Вместо того, чтобы подняться прежней дорогой по заболоченному распаду, я, как муха на небоскребе, полез через седловину. Как только меня не сдуло в океан!.. Временами я совершенно распластывался на этом обдуваемом с моря склоне, обеими руками вцепляясь в траву. Отдыхал у гранитных валунов, где можно было надежно зацепиться.

На гребне седловины уже не росли дубы. Только гранитные клыки да молочные пленки летучего тумана. Был он очень узок, этот гребень, и быстро переходил в такой же, как и подъем, крутой спуск. Зато по правую руку виднелась станция, а по левую — дубовая поросль, лиловый дым болотных трав над широкой луговиной и, очевидно, желанная песчаная бухта.

Туда-то я, уже весьма поднаторевший на спусках, и побежал, снижая излишнюю скорость каблуками. На сей раз я предпочел не самую короткую дорогу...

Я попал в совершенно пустынную бухту. Только след от чьей-то палатки, какой-то обгорелый столб и раковины от печеных мидий напоминали о том, что на земле есть люди. В море широко и лениво вливался ручей. Справа от него берег был каменистый, слева — песчаный. Вдоль линии прибоя тянулась темная полоса выбросов. Чего только там не было! Черные скрюченные ленты высушенной морской капусты, рыжие мочалки саргасов, тонкие и белые, как обрезки папиросной бумаги, сухие полоски zostеры, ракушки, скелеты ежей и до неузнаваемости преобразенный морем хлам — следы цивилизации. В камнях у самого устья ручья было много морских ежей. Я вошел в воду и набрал с полдюжины этих кактусов, содержащих внутри самую вкусную штуку в мире — оранжевую икру. Потом я наловил дальневосточных мидий. Это знаменитые гигантские мидии, мидии Грэйзна. Если черноморская мидия весит обычно граммов пятьдесят, то эти исполины бывают и в два и в три килограмма. Недаром мидия — важный промысловый объект. Конечно, дальневосточные гиганты грубее и жестче черноморских. Но за количество часто приходится платить качеством.

Я всегда ел мидии сырыми и не собирался делать исключений для моллюсков Грэйзна. И тут-то я познал во всей прелести отличие океана от Черного или Балтийского моря. Черное море наполовину опреснено. Его соленость редко превышает 18 промилле. Соленость Японского моря достигает 35 промилле. Это средняя соленость Мирового океана. Поэтому содержащаяся в черноморской мидии вода лишь подчеркивает пикантность блюда. После первой же съеденной гигантской мидии я ощутил пожар в горле. Я бросился к ручью и рухнул перед

ним на колени. Но сколько я ни пил пресную воду, сколько ни полоскал ею горло, жжение не проходило. Только к вечеру оно пошло на убыль.

Нет, в Японском море мидии надо печь или варить, на худой конец промывать в пресной воде. Люди, которые жили здесь в палатке, в основном пекли мидии. Это было ясно видно на черном пятачке от костра. Кстати, с мидиями у меня произошла любопытная штука. Раскрыв как-то в Москве банку, я чуть не сломал себе зуб о довольно крупную жемчужину. В другой раз нашел в такой же банке целую россыпь мелкого жемчуга. А здесь, на родине мидий, в их естественной среде, ни в одной раковине жемчуга не было. Не то чтобы я искал этот тусклый, совершенно непригодный в ювелирном отношении жемчуг. Просто интересно было. Но такова игра случая — на Дальнем Востоке я жемчуга не видел.

Потом, уже в порту Посет, на рыбокомбинате, где высятся целые терриконы пустых раковин, я спросил у директора, как часто встречается в мидиях жемчуг. «Один раз на десять тысяч примерно», — ответил он. Вот и говорите после этого о теории вероятностей!

И опять я тронулся в путь, конечно, по кратчайшей линии. Благо, оставалось перелезть лишь одну невысокую сопку.

Зеленые пушистые сопки лежали внизу. За ними тянулись другие, уже темно-зеленые. В бирюзовой, мигающей слепящими бликами воде играла нерпа. Синими туманными полосами дрожали в горячем воздухе дальние мысы и острова. Полукруглая бухта казалась очерченной белым рейсфедером по голубой кальке. Черный обгорелый столб, как солнечные часы, бросал на песок четкую тень.

Потом мне сказали, что это была не та бухта, в которую я стремился. Не Копакабана (Холерная), а бухта Идола. Она называлась так потому, что с незапамятных времен стояло в ней деревянное изображение неведомого языческого бога. Лишь в прошлом году его сожгли туристы. Просто так, от нечего делать. Те самые, которые разбивали в этой бухте палатку и пекли на костре мидии Грэйзна. Теперь от идола остался только угольный столб.

А может, туристы были ярыми борцами с идолопоклонством... Вроде католических миссионеров или епископа Диего де Ланды, спалившего все кодексы майя. Грустная шутка, конечно. В бухту, которая «лучше всех в мире», я пошел уже с Володей. Но, прежде чем рассказать об этом, надо покончить с поэмой морских ежей, поведать об их Великом истребителе.

Нейфах подтрунивал надо мной и вообще над всей пишущей братией. Рассказывал, как и что о нем писали, как оживляли повествование приземленными бытовыми деталями. Я, конечно, с некоторым высокомерием сказал, что у меня ничего подобного не будет. И правда, меня интересовали совсем другие вещи. Я вообще не собирался писать о Нейфахе, лишь два-три слова сказать о его работе по искусственному оплодотворению ежей. Но сам не знаю, как вышло, что, еще и словом не обмолвившись об этом видном ученом и очень остроумном человеке, я уже успел обозвать его Великим истребителем морских ежей. Очевидно, все же в каждом пишущем человеке где-то прячется стремление к тому, что называют «дешевой занимательностью». Может, конечно, дешевая занимательность тут и ни при чем. Просто так вышло. И ничего страшного в этом нет. А Нейфах действительно изводит до двух тысяч

ежей в сезон. Берет он их в левую руку (защищенную брезентовой рукавицей), а правой, вооруженной хирургическими ножницами, с хрустом взрезает дно и миглом выпотрашивает бедного нудуса или, скажем, сердцевидку. Остается лишь полукруглая чашечка с аккуратным крестообразным узором икры, которую Нейфах до меня не пробовал.

Делает он это ради одной важнейшей проблемы современной генетики. Сейчас я расскажу об этой проблеме, тесно связанной с одной уникальной биологической особенностью морских ежей. Так уж случилось, что для современного генетика морской еж — это то же, что горох для Менделя или мушка-дрозофила для Моргана.

Величайшей победой науки нашего века явилась принципиальная расшифровка генетического кода. Нуклеиновые кислоты, без преувеличения, открыли новую эру. Но, несмотря на то, что в принципе ученые знают теперь, как синтезируются белки, далеко не на все «почему?» удастся дать ответ. Никто, например, не может сказать сегодня, как и в какой момент клетки в организме делаются разными. Действительно, после оплодотворения клетка начинает делиться. Геометрическое удвоение как будто должно было привести к появлению миллионов одинаковых клеток. Но на самом деле получается совсем иное. Клетки в какой-то момент — то ли сами по себе, то ли под влиянием неизвестной команды — вдруг начинают приобретать специализацию. Одни группы клеток, грубо говоря, образуют глаза, другие — сердце, третьи — пальцы. И это несмотря на то, что в каждой клетке находится полный набор хромосом, то есть полный генетический план всего организма.

Это значит, что реализуется лишь какая-то часть признаков, а остальные — подавляются. По чьему приказу, спрашивается? Один только ген, ответственный за пигментацию, работает почти везде: в волосах, глазах, коже. Остальные гены допускаются к работе лишь с большим выбором. Только небольшому числу счастливых из огромной армии безработных (у человека, например, сто тысяч или даже миллион различных генов) удастся как-то проявить себя. Остальные даже не прозябают на жалкое пособие, — они просто законсервированы.

Может, весь секрет здесь в особенностях строения хромосом, состоящих из многих генов? Ведь мы лишь в принципе знаем, как построена хромосома, а вторичная и третичная ее структура пока еще тайна за семью печатями. Это же довольно большая штука, хромосома. Если толщина гена достигает полумикрона, то хромосома вместе с белком, при толщине в 100 ангстрем, вытягивается в нить вполне заметной длины: 1—10 миллиметров. Как такая длинная информационная лента уместится в крохотном аппарате живой клетки, можно лишь гадать. Конечно, правы те, кто говорит, что хромосомы закручены. Конечно, закручены. Весь вопрос: как?

Есть клетки, которые обретают специализацию в первые же часы жизни, а есть такие, которые долго прозябают в сонной одуре. Потом вдруг под влиянием гормонов они оживают и активно включаются в работу. Впрочем, только ли под влиянием гормонов? А что заставило другие клетки продуцировать гормоны? Сплошная цепь загадок. Отдельные звенья, конечно, ясны, но весь механизм... Да и один ли механизм включает клетки? Полагают, что один. Не знают только, прямо или косвенно. Вот, к примеру, заработал ген казеина, и молочные железы стали продуцировать молоко. В этом отрезке цепи все ясно.

Но попробуйте сказать, что заставило этот самый казеиновый ген работать и почему он сумел сформировать именно молочные железы? Или ответьте на вопрос, что определяет форму носа?

Одним словом, задача сводится к тому, чтобы дать объяснение вопросу вопросов: как синтез разных белков приводит к образованию разных органов? А пока мы не знаем даже, когда гены вообще начинают работать. Сразу же после оплодотворения? После танца хромосом? Ряд остроумных опытов показал, что после оплодотворения гены еще не работают. Когда же?

Если высосать из клетки ядро, в котором хранится наследственная информация, или, говоря иначе, убить хромосомы, клетка все равно будет работать. Как магнитофон с чистой лентой. Даже лучше. Первые стадии развития организма станут протекать вполне нормально. А потом механизм портится. Все клетки получают одинаковыми и одинаково бесплодными. Нет специализации органов — нет организма.

Нейфах, собственно, и показал, когда начинают работать гены. Убивая гамма-излучением или актиномицетами клеточные ядра на разных стадиях развития, он сумел поймать тот изумительный, архиважный момент, когда начинается синтез рибонуклеиновой кислоты — РНК — и белка, то есть когда начинают работать гены.

У морского ежа, например, синтез белка начинается через четыре часа после оплодотворения. Но, черт возьми, решение вопроса всегда рождает кучу нерешенных вопросов. Цепная реакция беспокойства. И действительно, сказать «четыре часа» — это очень важно и ценно, но, такова человеческая логика, — почему именно через четыре часа? Где, наконец, спрятаны эти часы, которые с изумительной точностью включают в работу самый совершенный механизм природы? В каждой клетке спрятаны такие часы? Или они возникают, как новое качество, из совокупности клеток?

Чтобы решить эту проблему, надо было разъять организм на отдельные клетки и потом вновь собрать его, как детский «конструктор». Задача вроде бы немислимая. Делать такие пертурбации с высшими животными, очевидно, мы вообще никогда не сможем. Но чем ниже стоит на эволюционной ступеньке организм, тем проще его развинтить и свинтить. Ведь механизм сцепления клеток довольно прост. Это всего лишь мостик из белка и кальциевого иона. Этот двухвалентный атом и сцепляет две отдельные белковые молекулы. Стоит убрать из организма кальций, и он разлетится на отдельные детали, как Эйфелева башня без заклепок. А убрать кальций не так уж сложно. Достаточно обработать организм версеном, который связывает кальциевые ионы, или просто хорошо выдержать его в лишенной кальция воде.

Введенный в организм версен делает чудеса. Живое существо превращается в кашу отдельных, но живых — и это очень важно — клеток. Если ввести в эту кашу кальций, клетки вновь соединятся, но беспорядочно, хаотично. Это будет уже конструкция, собранная обезьяной, а не великолепный механизм. Впрочем, постепенно клетки начинают упорядочиваться, восстанавливать старые связи и привычное местоположение. Никто не знает только, как долго надо ждать, пока из этого хаоса вновь возникает исходный организм. Впрочем, не в этом дело.

Ученых больше интересует ответ на вопрос: когда начинается синтез в разъединенных зародышах? Ведь это означает ответ на вопрос, где таятся таин-

ственные часы — в отдельной клетке или в их совокупности.

Этим, собственно, и занимается Нейфах. Без всякого преувеличения можно сказать, что это крупнейшая проблема сегодняшней биологии. И решается она посредством простых для нашего века экспериментов. Нейфах, как и все его коллеги за рубежом, изучают синтез с помощью меченых аминокислот. Содержащий радиоактивную метку — углерод 14 — уридин легко контролировать с помощью счетчика Гейгера. Он хорошо проникает в клетки и так же хорошо уходит из них.

Остается сказать, почему для этой цели нужны именно морские ежи. По многим причинам. Во-первых, уридин особенно легко проникает в их клетки. Во-вторых (а может быть, именно это обстоятельство и явилось определяющим), еж дает до 8 миллионов икринок (все они, увы, легко умещаются на языке), а, как известно, чем больше исходных единиц, тем, как говорят, лучше статистика. По той же причине большого количества икринок, занимающих небольшой объем, на морских ежах тратится совсем немного дорогостоящего меченого уридина. Во всяком случае, экономия уридина с лихвой окупает все затраты на командировку столичного доктора наук за десять тысяч километров. Конечно, этот доктор наук мог бы поехать и поближе, на Баренцево море, где тоже водятся ежи. Но это тоже было бы не очень выгодно, хотя и совсем по другой причине. На Баренцевом море холодно, и ежи развиваются там гораздо медленнее. Там бы Нейфах смог поставить лишь четыре опыта в месяц, а в бухте Троицы он делает двадцать. Это тоже очень большая выгода.

Честное слово, когда я увидел, как Нейфах сидит обнаженный по пояс над ведром с ежами и потрошит их одного за другим, я не съел больше ни одного. Было жалко. Эти прекрасные, как черные звезды, иглокожие скоро сослужат людям такую же пользу, как бесчисленные легионы лягушек, кроликов и крыс, принесенных в жертву науке.

Бухта Холерная, как и следовало ожидать, находилась влево от каменных гротов. Если бы я пошел тогда в другую сторону, то непременно попал бы в нее. В отлив же ничего не стоило заплывать в бухту прямо из грота. Потом, когда Володя достал морские карты залива Посьета, я быстро разобрался в обстановке. Как сопки чередовались распаками, так бухты разграничивались каменными мысами. Полукруг Троицы, каменный мыс, полукруг бухты Идола, гроты, песчаный полукруг бухты Холерная, нагромождение камней, бухта Витязь и т. д.

На лодке в один день можно было бы облазить их все. Но мы пошли пешком. По тропе, которая огибала сопки. Без стремительных подъемов и головокружительных спусков. Как ходят в сопках все нормальные люди.

Мы шли по кустам папоротника и жесткой осоке. Слепящее море было удивительно голубым. Синими акварельными абрисами виднелись на горизонте дальние острова, скрытые в обычное время лиловой дымкой. Мы сбегали вниз по довольно пологому склону. По сравнению с моим предыдущим походом этот оказался лишь легкой прогулкой.

А бухта действительно выглядела прекрасной. Такие смутно мерещатся в детских мечтах. И снятся ночами. За линией серебристых из сразу же начинались камни, громадные валуны непередаваемого серо-сиреневого оттенка. Того теплого с влажной тенью сиреневого цвета, который так поражает всякого, кому довелось повидать стелы народа майя.



Этот цвет не существует сам по себе. Он возникает из удивительного единства яркой зелени, синего неба и сверкающего песка.

Мы сбросили одежду и распластались на этом песке, одни в целом мире. Над камнями дрожали нагретые слои воздуха. Открытая ветрам Японского моря бухта эта благоухала уникальным коктейлем запахов. Сохнувшие водоросли, кедровая смола, соль и почему-то ваниль — все смешивалось буквально на наших глазах в горячих слюдяных струях.

Потом мы надели снаряжение и ушли в воду. Тут-то я и увидел фиолетовые пластинки плоских ежей. Иногда на квадратный метр песчаного дна приходилось до пятидесяти животных. Потом я проболтался об этом Великому истребителю, и он сказал, что надо будет сюда заглянуть.

Но дно прекрасной бухты не было интересным. Там, где нет камней и растений, животные зарываются в песок. Поэтому я мог видеть только пластинчатых ежей и зеленых, как кузнечики, раков-отшельников с непомерно разросшейся правой клешней, которая не влезает в ракушку, а лишь прикрывает вход. Отшельник похож на боксера, прикрывающего перчаткой лицо от прямого удара левой.

Мы поплыли к гротам, на самый край бухты. Там-то я и увидел, как эти гроты уходят вниз двухметровыми гладкими ступенями. Мы проплывали над затонувшими зиккуратами Лагаша и Ура. Трудно было избавиться от иллюзии, что под нами уходит в туманную синеву сотворенное человеком ступенчатое сооружение. На гладких ступенях, на светло-пепельном и теплом по цвету, даже в воде, камне блистали черно-лиловые иглы нудусов. Это были живые кометы, поднявшиеся из синих глубин ночи по зову халдейских магов и звездочетов. Но никаких магов мы не увидели. Вокруг одни лишь ежи и звезды — морские звезды. О них тоже когда-нибудь на-

пишут стихи. Ведь океанское дно цветет звездами. Они прекрасны и коварны, вездесущи и беспощадны. Их мнимая мягкость обманчива, а красота свирепа и ядовита. Только кровавая актиния с черным, как брабантское кружево, узором может поспорить со звездами красотой. Я видел одну такую готически великолепную актинию. В справочниках я ее не нашел. Про себя же назвал Марией Стюарт.

Первые звезды я увидел в первый же вечер. Почти в полной темноте спустился я с шелестящего обрыва к воде и ступил на пружинящие мостки. Но вода была так прозрачна, а песчаные пятна среди водорослей так светлы на восходе луны, что я легко различил темные геометрические очертания звезд. Звезды лежали в одном только шаге от берега.

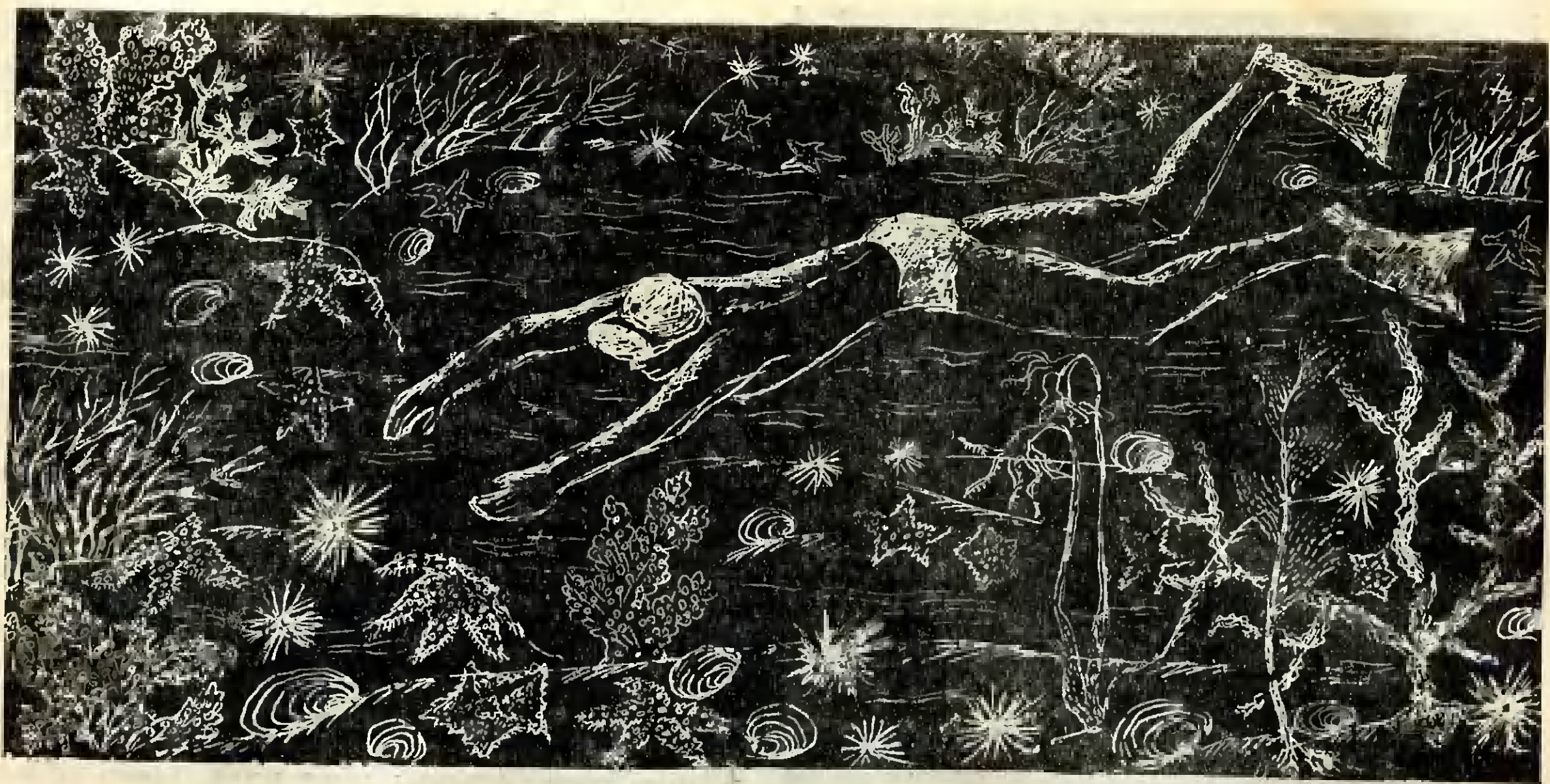
Я еле дождался утра. И когда вновь, взрыхляя черную землю и хватаясь за папоротники и кустики алых огневинок, сбегал к воде, звезды лежали на том же месте. Только в утренней кристальной воде, чуть курящейся солнечным туманом, они горели ядовитыми чистыми цветами, которые так искал Гоген в часы безумия.

Я плыву в холодной и тяжелой от соли воде бухты Троицы возле самого пирса. Мимо темных проломов в днище старой кавасаки, откуда китовыми ребрами торчат обломки шпангоутов. Мимо обросших ракушками и зелено-коричневой слизью свай. Мимо руля дремлющего на приколе катера. Я раздвигаю скользкие от слизи, но жесткие ленты zostеры. Прямыми грязно-зелеными нитями тянутся они со дна, давая приют каким-то личинкам, медузам и мелким моллюскам. И всюду подо мной лежат неподвижные звезды.

Вот синие кобальтовые патирии с алой, как алая чума, мозаикой узора и оранжевыми солнцами глаз на концах лучей. Строгая, безупречная геометрия, как бы бросающая вызов хаосу природы. Пятилучевые, шестилучевые, даже четырехлучевые пентаграммы, мальтийские кресты. Загадочная каббалистика океана. Не оттуда ли пошли все наши древние символы? Любую звезду можно цеплять на муаровую ленту или вешать на шею. Любой генеральский мундир или дипломатическую визитку украсит этот орден с сиамскими рубинами на синей эмали.

Патирии пухлы, как подушечки для иголок. На вид они кажутся нежными, как атлас. Но впечатление обманчиво. Это живой наждак, которым сподручней всего драить медяшку на корабле. Истинное лицо звезды, так сказать, обратная сторона медали, обращено к граниту. Оно оранжевое, ядовито-оранжевое, беспокойно и неприятно оранжевое. Сверху звезда кажется неподвижной, снизу она шевелится хищными рядами оранжево-розовых присосков. Ряды эти сходятся в центре, в математическом центре фигуры, где расположено ротовое отверстие.

Я видел, как звезда выедала морского ежа, и понял, от кого прячутся нудусы и интермедиусы. Но еще интереснее следить за тем, как звезда атакует гигантскую мидию. Она обнимает моллюска всеми своими лучами. Сотни присосков напрягаются, пытаясь разжать сомкнутые створки. Но мидия не поддается усилиям облегающего ее разноцветного мешка. Тогда звезда начинает выделять едкий и ядовитый сок. Он разъедает известковую раковину и дурманит моллюска. Смыкающий створки мускул слабеет, и звезде удается просунуть внутрь раковины луч или даже забросить туда свой желудок. И начинается «переваривание вовне». Закончив трапезу, звезда втянет желудок обратно через ротовое отверстие. Представляете себе, что это за желудочек, которому нипочем режущие кромки устриц и ми-



дий, их капканоподобные створки, которые можно разжать лишь ножом?

Но вот иные звезды, с удлинёнными лучами, белые и светло-кремовые, забрызганные сиреневыми, фиолетовыми пятнами узора. Это амурские звезды. Они так же коварны и вездесущи, как и патирии. Они особенно лакомы до сладкого мяса мидий и чувствительны к упонительному запаху падали.

Очень похожи на амурских звезд малиново-красные лизастроземы. Отдельные экземпляры достигают довольно больших размеров. Есть и напоминающие подсолнух многолучевые звезды — солнечники.

Но царица всех звезд — дистоластерия. Ей по праву принадлежит титул «Мисс Японское море». Раскрашивая дистоластерию, природа проявила себя декадентом. Как передать словами вызывающую траурную окраску этой звезды? Влажный, лоснящийся черный муар лучей, строгий узор из желтовато-белых, как лучшая слоновая кость, шипов, оранжевая пуховая, как спинка гусеницы, бахрома — вот отличительные признаки дистоластерии — полуметровой звезды, которая кичливо носит свой траур, скрывающий все те же розовые ряды червей-присосков.

Я вскрикнул, когда впервые увидел ее в отгороженном камнями от моря садке, куда водолазы складывают пойманную добычу. Начальник водолазов Валерий Левин сразу все понял и тут же подарил мне звезду. Я не стал впрыскивать в нее формалин. Промыл в пресной воде и положил под солнечные лучи на пень возле бунгало. Но, даже засушенная, дистоластерия осталась прекрасной. Пыльно-серым стал ее черный муар, пожелтела слоновая кость и побелела бахрома, да и вся она спала и ссохлась. Но, как писали в романах, «на челе графини явственно читались следы былой красоты».

Я видел аквариум во Владивостокском филиале Института океанологии, в котором рядом с жалким кустиком zostеры лежит на дне серо-бурый трепанг. Его поместили туда совсем крохотным. Теперь он подрос. Известна динамика этого роста. Вроде бы совершенно примитивное исследование, недостойное века радиационной химии и ультрацентрифуг, но тем не менее оно пролило хоть какой-то свет на

совершенно не изученную область. Вот в каком запущенном состоянии находится наука о воспроизводстве морской фауны. Наука, которой, по существу, еще нет.

В Посьете, на рыбокомбинате, в научной лаборатории бьется над этой проблемой молодая энтузиастка Нина Мокрецова. Она взялась за очень важную проблему искусственного оплодотворения трепанга. Взялась горячо, жадно, но без большого опыта за плечами и без больших знаний. Да и оборудование у нее не чета тому, которое есть даже в прибрежном павильончике Нейфаха. Но все это — дело, конечно, наживное. Было бы желание, было бы ясное понимание, что бережное отношение к океану — единственная возможность победить голод на земле. Как символы отчаянной этой борьбы висят на стенах лаборатории японские полавки с черными иероглифами молитвы.

Раз уж речь зашла о павильончике Великого истребителя, придется поподробнее рассказать, чем он там занимается. Это действительно нужно сделать, потому что, во-первых, пора наконец покончить с ежами, а во-вторых, без этого трудно рассказывать о работе Нины с оплодотворением трепанга. Ведь ежи и трепанги — родственники, об этом уже говорилось.

Итак, синий павильончик, стоящий тоже, как и домик водолазов, на самом берегу. У окон, которые смотрят на бухту, длинный лабораторный стол. Там стоят микроскопы, банки, чашки Петри и прочее стекло. У противоположной стены стол поменьше. К нему привинчены ручные центрифуги (они могут дать до 2 500 оборотов в секунду), рядом компрессоры для подачи воздуха и тоже всевозможное стекло. Под столом — знаменитое эмалированное ведро с ежами. Два таких же зеленых ведра Нейфах вез из Москвы, хотя их можно в любых количествах закупить во Владивостоке.

Меж столов узкая полоса дощатого пола. На ней Александр Александрович спал три ночи, пока не построил себе палатку рядом с павильоном. Сложное оборудование — ультрацентрифуги, термостаты (тоже

ультра), спектрографы и гейгеры — находится за сопкой, в лабораторном корпусе.

В павильоне, кроме профессора, молодой человек и две девушки — помощники и лаборанты. Работа буквально кипит, несмотря на старания Нейфаха придать ей еще более высокий темп. Но возвратимся к остановленному в начале повествования кадру, когда Нейфах взрезает хирургическими ножницами скелет ежа.

Он делает это, чтобы добыть икру. С помощью микроскопа взрезанные ежи-самки отделяются от ежей-самцов. Потом выбираются лучшие производители. Созревшая икра помещается в центрифугах, где она отделяется от прочей, ненужной для эксперимента ткани. Так же поступают и со сперматозоидами. Потом в чашке Петри, на которую нацелен тубус микроскопа, совершается таинство оплодотворения. Зачем? Об этом уже шла речь. Здесь мы не будем больше говорить о теоретических вопросах генетики. Поговорим о самом оплодотворении.

Прежде всего вероятность оплодотворения. Очевидно, она наиболее высока, когда на одну икринку приходится один сперматозоид. Если сперматозоидов мало, часть икры остается неоплодотворенной, много — наблюдается полиспермия, когда два или несколько сперматозоидов одновременно атакуют одну икринку.

Итак, икра помещается в чашку Петри, куда непрерывно поступает из компрессора воздух, чтобы она не загнила. Если смотреть в микроскоп, икра похожа на прозрачную сеть из круглых ячеек. Икринки ежей довольно велики, около 100 микрон. Но вот в поле зрения появляется огромная труба с черными полосами, оттеняющими сверкающий канал. Это пипетка со сперматозоидами. И тут с прозрачными икринками начинают происходить загадочные превращения. Прямо на глазах, в какие-то секунды, у них образуются крохотные выступы, которые быстро разглаживаются, после чего вокруг икринки появляется нечто вроде нимба. Это защитная оболочка. Она оберегает оплодотворенную икринку от второго сперматозоида. Но если сперматозоидов много, то второй претендент может успеть прорваться к оплодотворенной, но еще не облачившейся в защитный нимб икринке. Это и будет полиспермия.

Для природы достаточно, чтобы оплодотворились, развились и, превратившись во взрослых ежей, дали потомство всего две икринки. Нейфаху, чтобы добиться в исследовательской работе хорошей статистики, нужно, чтобы оплодотворилось как можно больше икры. По счастью, это же нужно и тем, кто работает над воспроизводством морской фауны. Чем выше процент оплодотворения, тем, естественно, быстрее восполняется убыль выловленных животных.

В море этот процент низок. Природа слепа. Ей неизвестно, что человек превратился в промышленного пожирателя ее детей. Поэтому она работает по старинке, по принципу «двух икринок». У Нейфаха этот процент высок. Он следит за температурой и химиз-

мом воды, продувает икру воздухом. Ему нужна хорошая статистика, и он нашел способы ее получить.

У Нины Мокрецово́й процент очень низкий, ниже, чем в воде. Почему-то ее трепанги не хотят размножаться в неволе.

Когда Нина узнала, что среди приехавших на райкомовской «Волге» находится профессор Нейфах, она очень обрадовалась.

— Я слышала, что вы приехали в бухту Троицы, — сказала она, — и собиралась вас навестить. А тут вы сами приехали. Как хорошо! Может, вы посмотрите, почему у меня не выходит?

Прямо под открытым небом на пирсе стоят аквариумы. Там вдыхают родной океанский воздух здоровые бурые трепанги-производители. Конец июня — начало июля — самый пик нереста у трепанга. Вроде бы лучших производителей и в самое подходящее время берет Нина, а процент низкий, хуже, чем в воде, где год к году все меньше остается морского женьшеня.

Вновь чашка Петри и микроскоп. Но картина уже иная. В круглом серебряном поле микроскопическое персиковое варенье. Тот же веселый цвет, те же круглые ягоды. Это гонада самки трепанга, начиненная икрой. Икра-то и похожа на персиковое варенье.

— Покажите осаженную икру, — требует Нейфах. На предметный столик ложится новая чашка.

— Нужно чище отделять икру, — говорит он, глядя в микроскоп, не зажмуривая, как это обычно делаем мы, непривычные люди, левый глаз. — Кроме того, икра не совсем созрела.

Действительно, в круглых ячейках заметны маленькие прозрачные кружки. Это ядра.

— В созревшей икре ядра сглаживаются.

— Я знаю! — вспыхивает Нина.

— А я это и не для вас рассказываю, — улыбается Нейфах. — Это я ему, — кивает он на меня.

— Я всегда беру только созревшую икру, — успокаивается Нина.

— И правильно делаете... А полиспермии у вас быть не может?

— Н-не знаю, полагаю, что нет... Впрочем, я об этом не думала, — честно сознается она.

— И напрасно. Проследите за типом деления. Если клетки делятся не на две, а на большее число частей — налицо полиспермия.

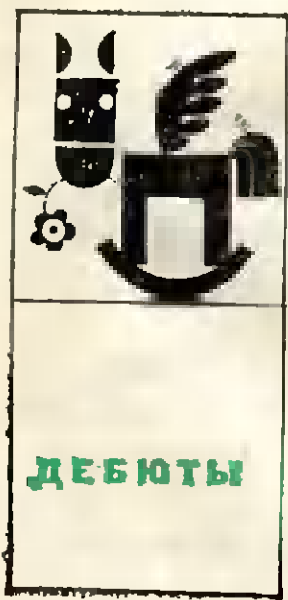
— Спасибо, Александр Александрович! А то варишь тут в собственном соку, и спросить-то толком не у кого.

— Зато вы первая, — смеется Нейфах.

— На самом переднем крае, — уточняет секретарь Хасанского райкома Александр Ильич Якина. — Ведь почти не осталось трепанга. Ой, как надо его разводить. Молодец, Нина. Вот еще бы гребешком кто-нибудь занялся...

— Только пусть продувает икру. — Нейфах оставляет микроскоп.

Нас уже ждет катер. Мы пойдем в бухту Тэми за гребешком...



Гизелла

Ципола:

**«Я певица,
но еще
не актриса»**



Гизеллы Циполы не было нигде — ни в Харькове, где завтра ожидался ее концерт, ни у родителей в закарпатском селе Гать, ни в Ужгороде, куда она собиралась заехать к своему учителю...

С Гизеллой я не знакома и знаю только, что она, студентка Харьковского института искусств, стала победительницей конкурса вокалистов имени Глинки. Но за три часа, проведенных возле телефона, я успела составить себе мысленный портрет своей неуловимой героини. Мне кажется, что я могла бы найти ее сейчас в Патагонии, однако не удивилась, если б мы встретились на улице Воровского, в трех шагах от редакции «Юности»...

Все же я лечу в Харьков, где весь день продолжаю безуспешные поиски. И вдруг — телефонный звонок, и я слышу: «Да, я Гизелла Ципола. Я только что вернулась... Решила поколесить в каникулы по белу свету...»

Мы договариваемся о встрече через полчаса. Теперь я очень боюсь ее потерять.

Лирико-драматическое сопрано. Красивый тембр, широкий диапазон, высокая вокальная культура — так характеризуют ее голос музыкальные критики. И мне видится молодая женщина, бесспорно талантливая, бесспорно обаятельная, немного капризная... Восходящая звезда оперы — разве она может быть иной? Я представляю себе комнату с пестрыми афишами, беккеровский рояль, цветы, французские духи на трюмо...

Ничего этого не было, а было обыкновенное студенческое общежитие, комната с ситцевыми занавесками, четыре кровати, маленький стол — один на всех. Зато книг множество. Они везде — на окне, стульях, на полу. Хемингуэй, Шекспир, Фейхтвангер...

— Очень люблю читать. Плохо, наверное, но все подряд, — говорит Гизелла. — Если б не музыка, читала б с утра до вечера.

Так вот она какая, Гизелла Ципола!

Выступающие скулы, длинные глаза под тонкими бровями, рыжеватые, гладко зачесанные волосы с пучком-узелком на затылке. Ничего от примы, от восходящей звезды. Пытаюсь представить ее себе на сцене под гримом в бальном платье светской обольстительницы. И не могу... Трудно соединить с этим сценическим образом двадцатипятилетнюю женщину, с виду почти девочку, наливающую мне чай из старого студенческого чайника.

Гизелла вспоминает тот навсегда памятный день, когда вдруг она заметила, что песня, спетая ею просто так, почти для себя, заставляет умолкнуть людей... И тот день, когда она впервые пришла учиться музыке. А потом сцену, полумрак зрительного зала и светящийся внизу под ногами оркестр... И, конечно, день ее удачи, победы и первой премии на представительном конкурсе вокалистов. Да, это был ее день!

— Конкурс имени Глинки был для меня главным испытанием. Это тот экзамен, который определяет,

чего ты стоишь, чего добился. Определяет твои ошибки, просчеты. Очень важно их почувствовать. Ведь когда рядом лучшие голоса, у тебя есть возможность сравнивать. Сравнить и решить, что тебе не хватает, что ты упустила из виду. Я, наверное, не так вам рассказываю... В подобных случаях говорят о страшном сне и невероятном волнении. Нет, я не волновалась. Разве только когда шла жеребьевка... Кто поет первым, кто последним — это тоже важно. Как все артисты, я немножко суеверная. Не люблю петь первой. Лучше последней, когда знаешь соперников, их силу и слабость и чувствуешь, что можешь быть сильнее. Я очень верила в себя. Очень верила... Не считите это нескромностью, но иначе мне не удалось бы так выступить. И вообще я ничего не добилась бы. Чтобы стать певицей, хорошего голоса мало. Нужна школа и каторжный труд. И вера в свои силы. Без нее нельзя быть артистом... На конкурсе программа была сложная, и самое трудное — романсы Глинки. Они, на мой взгляд, требуют очень высокой степени мастерства. Были представлены самые разные композиторы, самые разные музыкальные жанры. Певице надо было показать не только высокое владение вокалом, музыкальную культуру, знание стиля и духа произведения композитора. Надо еще показать, что у тебя есть свое видение, своя трактовка... Так спеть, чтоб не голые ноты звучали, а законченное музыкальное произведение. Чтобы в нем была мысль, художественный образ, голосом нарисованный, его музыкой. А конкурсу спасибо и за то, что он открыл для меня Глинку. Каждое такое открытие — счастье. У меня есть уже Верди, Пуччини, Масканы, есть Барток, Лист, есть Чайковский. Теперь будет Глинка.

Потом она добавляет:

— Если бы я не стала певицей, ничего другого бы из меня не получилось. С тех пор как помню себя, помню вокруг песни... Семья большая, нас у отца с матерью пятеро, и все с голосами, со слухом. Помню школьный праздник, концерт, я должна выступать. Вот где волнение! Сказали, что послушать меня пришли из соседнего села. Когда аплодировали и я выходила на сцену кланяться, то думала: «Наверное, получилось, раз довольны, раз нравится». Я пела песни. Но меня всегда тянуло к другой музыке... Она называлась классической. Она казалась непостижимой...

После десятилетки совхоз направил ее в Ужгород, на курсы хормейстеров. Затем — Ужгородское музыкальное училище; там учил ее петь Андрей Евгеньевич Задор.

— К Андрею Евгеньевичу я пришла, в сущности, ничего не зная, не умея. А через год ариозо Мими пела — чистая классика, и многие считали меня профессиональной певицей.

Последние пять лет в Институте искусств у Гизеллы был другой педагог — Тамара Яковлевна Веске. Это она готовила Гизеллу и к конкурсу имени Глинки и к выступлению в Харьковском театре оперы и балета.

— Тамара Яковлевна абсолютно слышит природу

голоса и возможности певицы. От этого она идет, развивая и совершенствуя ее вокальные данные. Это самое ценное качество педагога... Вот кончу институт, и Тамары Яковлевны не будет рядом. Подумать страшно, что я — и вдруг без нее. Она мой педагог, мой друг. Я верю ей — ее музыкальному чутью, вкусу, мудрости художника, человека... С ней я приготовила первые свои оперные партии — Маженку из «Проданной невесты» и Татьяну из «Евгения Онегина».

Я прошу Гизеллу рассказать о первом выступлении в Харьковском театре оперы и балета. Дебют? Нет, она не может назвать эти партии дебютом. В это слово она вкладывает особый смысл.

— Рождение оперной актрисы и появление на сцене новой певицы — вещи разные. Просто в театре я повторила то, что спела в оперной студии при консерватории. Я начала с Маженки. Мне поручили эту партию, когда я училась на втором курсе. Вот это было событие! Впервые трудная партия. Впервые спектакль, ощущение сцены, партнеров, зрителей. И словно появилась другая Гизелла, которая была уверена там, где я наверняка перепугалась и наделала бы всяких ошибок... А потом было тридцать два спектакля в оперной студии. Я стала певицей, быть может. Но актрисы из меня пока не получилось. Мне надо еще много работать. И разве можно в таком случае говорить о первом выступлении в театре? Первые опыты, практика. Да. А настоящий дебют у меня впереди...

Уже прилетев из Харькова, я встретила с членом жюри конкурса имени Глинки профессором Московской консерватории А. И. Батуриным: мне хотелось узнать его мнение о своей героине, хотелось взглянуть на Гизеллу как бы со стороны и очень трезво, ибо в Харькове, разговаривая с ней, я незаметно для себя оказалась во власти ее обаяния. И тем более радостно было услышать такую оценку профессора:

— Голос ее наполненный, свежий, чрезвычайно музыкальный. Вы послушайте только, как она поет, — серебристость, чистота, я бы сказал, целомудрие... Редкий дар. Она поет, а вы думаете: как это просто у нее получается, как это нетрудно ей! И кто бы знал, какая тут огромная работа нужна! Какое самоистязание! Уверенность в ней чувствуешь, смелость хорошую. И есть у нее на это право...

Что ее ждет? Дипломный спектакль «Чио-Чио-Сан», работа в Киевском театре оперы и балета, а потом Москва — стажировка в Большом театре.

...Я вижу день, когда она войдет в Большой театр не как все мы, мимо колонн, в большие, тяжелые двери, а в ту незаметную дверь, которая известна людям, причастным к ежевечерней и великой тайне рождения спектакля; и в артистической уборной сидит перед зеркалом, перед которым, может быть, сидела Нежданова; и, наконец, пройдя непривычными еще кулисами, выйдет на первую сцену страны под яркий свет софитов.

Интервью вела Нина ПЛЕХАНОВА.



В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Все началось с этой фотографии, которую я увидел в городе Херсоне по улице Суворова. Очень большая, в черной раме фотография Тамары Воскобойниковой была прикреплена к стене у входа в школу № 17.

Эта фотография, последняя в ее жизни, была сделана товарищем по школе 7 ноября 1942 года, когда в ее Херсоне бесчинствовали оккупанты.

Эту фотографию, как и дневник дочери, Екатерина Васильевна нашла потом в своей квартире, где гитлеровцы устроили конюшню. Снимок был надломлен, край оторван. Мать склеила Тамарину фотографию. Видите белую полосу?..

Строки из ее дневника:

«24 февраля утром, когда я еще спала, пришла тетя Феня. Принесла советскую прокламацию. Самолет сбросил. Ведь вчера день Красной Армии. О, как приятно читать советское слово «товарищ», которого давно не слышала. Прокламация такая ободряющая, что сразу хочется и верить и жить. Но долго читать мне не дали. Ей нужно было идти. Но все же я прочла всю и почувствовала жизненную бодрость».

Даты нет: «Весна. Я с подружками вышла на улицу. Надзиратель с элеватора с каким-то немцем, проходя мимо, узнал, подозвал. Валя и Лида убежали, а я осталась. «Знакомься с моим соседом Альбертом», — сказал надзиратель. «Я с немцами не знаколюсь», — ответила я с достоинством. «Was?» — кричит немец. Раз! И, о ужас, я получаю первую в жизни пощечину. Меня это так ошеломило, что я не знала, что делать. Вокруг меня стал собираться народ. Замечаю, что я без шапки. Нагибаюсь, беру шапку и стою. «Так не будешь знакомиться?» «Нет, ни за что... Придет время, когда я или отец (отец Тамары сражался на фронте. — О. М.) отомстим за эту пощечину».

Подростков ее возраста угоняли в Германию. Чтоб остаться дома,



Тамара устроилась работать на почту, главным образом обслуживающую оккупационные учреждения и воинский гарнизон. Помимо немцев, работало на почте и несколько херсонцев. Среди них Годун, возглавивший подпольную группу связистов, Петро Шенетовский, совсем еще молодые Володя и Коля, фамилии которых пока не установлены.

После освобождения Херсона стало известно, что Тамара была связана с подпольем, руководимым Годуном. Но еще ничего особого не успела сделать. Против нее у гитлеровской СД не было ровно никаких улик. Арестовав подозреваемых связистов, СД на всякий случай прихватила и девочку: авось, что покажет.

Но так как никто из арестованных не называл Тамару да и она сама ничего не говорила «по делу», ее, безусловно, бы выпустили по малолетству и за недоказанностью, если б не презрительное отношение к ведшему следствие, если б не гневные слова на суде, обращенные к порабощителям, вторгшимся на ее Родину.

Ее вели в тюрьму из военного

суда, проходившего в здании управы. Вели в камеру смертников по ее родной улице, мимо дома, в котором она родилась, откуда бегала в школу, откуда вышла последний раз повзрослевшей, с высоко поднятой головой в сопровождении фельджаандармов.

И сейчас она вновь шла по той же мостовой под усиленным конвоем. От двора к двору неслась весть: «Томку-то с нашей улицы, слышали, повели?» «Девочку Воскобойниковых, знаете, приговорили...»

Из камеры смертников она передала записку в свою старую камеру содержавшейся там тете Поле — Полине Макаровне Грицай:

«...Может быть, мы больше не увидимся. Кроме того дня, когда я буду висеть... Не падайте духом. Не расстраивайтесь, не плачьте, поступайте, как я. Ни разу еще не заплакала. Мне тяжело, но плакать не могу... Меня привязали цепью за руку, как собаку, и повели. Знакомые и соседи спрашивали, что присудили... отвечала — завтра буду висеть. Позади меня поднимались плач и вой, а мне было приятно. Я наслаждалась и чувствовала себя победительницей...»

Пятнадцатилетнюю девочку приговорили к повешению. Дали четырнадцать суток на обжалование. Тамара отказалась просить пощады. Тогда мать побежала в Николаев (ведь поезда не ходили), где находилась высшая администрация.

— Девочка? — переспросили ее в Николаевской канцелярии. — Но эта девочка показала себя зрым политическим врагом райха.

Она писала из тюрьмы матери: «Здравствуй, мамочка. Сегодня Жора (надзиратель, передававший матери письма Тамары. — О. М.) сказал, что ты все время плачешь. Перестань, пожалуйста, ведь это не поможет, не расстраивай себя и меня. Не могу это спокойно слушать. И так сегодня расстроилась. Давали одному мальчишке около сотни плеток, а к нам в камеру все слышно. Береги себя и Вовку (младший брат. — О. М.). Целую крепко. Тамара».

...На двухэтажном доме мемориальная доска: «Здесь в 1891 г. родился и провел свои детские годы известный советский писатель Борис Лавренев». Я думаю, что рядом надо повесить еще одну мраморную доску — с именем девочки-патриотки, тоже родившейся в этом доме.

О. МОИСЕЕВ

Бальный танец... Что же это такое в наш век? И почему так стремительно растет его популярность: нет отбоя от желающих посещать специальные курсы, афиши все чаще возвещают о конкурсах балльных танцев. Возврат стариной моды?

Естественно, что сегодня балльную программу танцевального вечера нельзя построить целиком на падеграде и гавоте (хоть и эти танцы не забыты и по-своему популярны). Сегодня в балльную программу уже прочно вошли танго и медленный фокстрот, квик-степ и ча-ча-ча, самые разнообразные национальные танцы — от латиноамериканских до чувашских. И, наконец, создаются новые балльные танцы.

Мне довелось побывать на классификационном конкурсе балльных танцев в Каунасе. Это был конкурс, по итогам которого участникам присваивались соответствующие «классы» — вплоть до высшего, международного класса «S».

Я видел самых «сегодняшних» молодых ребят: студента из Таллина, рабочего из Риги, учителя из Ленинграда. А потом они выходили на паркет, одетые во фраки и круто накрахмаленные манишки, и кружились в венском вальсе. И зал аплодировал им.

Я легко мог представить этих ребят в твисте или в шейке — убежден, что это было бы великолепно. Но они, закованные в манишки и манжеты, кружились в венском вальсе...

Мне думается, что возрождение балльного танца — это своеобразная реакция на безумный, изнурительный ритм XX века. Психология примерно такова: пусть все танцуют шейк, но я позволю себе хоть вечер провести в ритме вальса, сменив стандартную нейлоновую куртку на чуть-чуть странный и этим уже привлекательный фрак.

А в перерыве между турами танцевального конкурса, который я видел, рассказывал о своей поездке в Англию Чесловас Норвайша.

Газеты уже сообщали, что эта пара из Каунаса — Чесловас Норвайша и его жена Юрате — одержала сенсационную победу на конкурсе балльных танцев в Англии. Традиционный Батлинский фестиваль проводится в Англии уже восемнадцать лет по весьма широкой программе. Танцевальных конкурсов несколько: и конкурс латиноамериканских танцев, и конкурс для танцоров старше

ДВОЕ В ТАНЦЕ

тридцати пяти лет и т. д. Чесловас и Юрате участвовали в конкурсе под манящим названием «Звезды будущего» на приз газеты «News of the world» («Всемирные новости»), где соревновалось около пятидесяти пар.

Норвайши приглашают меня домой. Чесловас работает врачом в санатории-профилактории Каунаского радиозавода, который расположен в лесу на окраине города. Здесь они и живут. И Юрате, по профессии врач, преподает в Каунаском медицинском институте.

— Танцуем с шестьдесят второго года, — рассказывает Чесловас, — когда пришли на курсы, организованные Антсом и Хале Таель из Таллина. Вскоре у нас в Каунасе при Дворце профсоюзов создается свой коллектив. Нынешний его руководитель Томас Петрейкис — ведущий конструктор станкостроительного завода. Вчера ему вручили грамоту Верховного Совета республики за создание сверхточных координационных станков.

Чесловас вспоминает поездку в Англию:

— Был любопытный момент, когда Юрате во время фестиваля пошла на конкурс вокалистов и заняла на первом туре первое место.

— Вокалистов?!

— Да, вокалистов, ведь Юрате окончила музыкальную школу по классу пения. Решили: пусть поет на фестивале.

— Это была авантюра?

— О да, конечно, чистая авантюра!

Мне это понравилось. Сдержанные, даже слегка чопорные Норвайши, оказывается, способны на мальчишество!

Теперь они рассказывают мне о том, как трудно сочетать импровизацию, заложенную в самой природе танца, с тщательной отработкой каждого движения, каждого па («Больше двух часов в день стараемся не танцевать. Исчезает

душа танца. А чистая техника — не интересно»). Оказалось, что Чесловас занимается к тому же социологическими, этническими, сексологическими проблемами танца. Да, да! Есть и такие проблемы! Он показывает мне номера молодежного журнала «Нямунас» со своими статьями: «Танец и закон», «Вальс и стриптиз»...

— Скажите, а почему вы все-таки увлеклись балльным танцем?

— Ну что ж, смотрите.

Звучат несколько разных мелодий одного и того же танца — вальса. Юрате и Чесловас исполняют одни и те же па, но передо мной целый каскад различнейших человеческих взаимоотношений: любовь и ненависть, острое взаимное любопытство и холодная



неприязнь, молчаливый, сдерживаемый рамками приличия скандал и унылая скука.

— Ну, вот видите, — отвечает на мой вопрос Чесловас, — сколько можно сказать танцем? Мы показали вам традиционный вальс, а есть танцы, дающие для трактовок гораздо большие возможности. Двое в танце — это говорит о многом.

— А как вы относитесь к современным танцам?

— Я не против них. Но современные танцы скорее похожи на игру. Их можно танцевать одному — нет взаимоотношений...

Ил. АЛЕНОВ



А. Сребницкий

ТРИ ГОДА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВОСЕМЬ ДНЕЙ...



Брумель прыгнул на два метра, и это был лучший прыжок в его жизни, хотя в прежние годы он прыгал неизмеримо выше, да и теперь, наверное, готов вернуться на рекордные рубежи. Три года пять месяцев и еще восемь дней ждал он этой минуты: планка покоится на стойках, и он набегает, расширяя шаг, на планку, чтобы через мгновение зависнуть над ней, не касаясь ее, и мягко опуститься в яму на поролоновые брикеты, а потом рывком выскочить из ямы в сектор, мельком бросить взгляд на неподвижную планку и получить законную порцию аплодисментов и поздравлений.

Лежа под ножом хирурга и поглаживая металлические конструкции «аппарата Гудушаури», опираясь на черные костыли и разглядывая искаленную ногу, он не просто надеялся — он верил, что эта минута наступит, хотя никто больше в мире не смел поверить, что такое произойдет. После той беды, которая случилась с Брумелем поздним вечером 5 октября 1965 года.

Тогда же, в октябре, в палате-одиночке Института имени Склифосовского, он начал вести дневник.

Привожу первые страницы этого дневника:

«...Неужели умираю?» — подумал я.

Секунду назад я был жив и здоров, и ничто не предвещало беды. Сидел я сзади, пассажиром, на мотоцикле, который вела Тамара, опытная мотогонщица. Скорость не то чтобы пустяковая, но и не

слишком угрожающая, не более 100 километров, а то и меньше. Правда, мостовая на Яузской набережной была мокрой от дождя. И вдруг, на развилке, когда надо было решать, куда ехать (нам подходили оба пути), Тамара то ли растерялась, то ли на миг потеряла управление — машину бросило влево, потом вправо, болтнуло, и мы на полной скорости врезались в гранитный парапет у обочины. Страшный удар — и тишина.

Неужели конец? Попробовал шевельнуть рукой. Шевелится. Ощупал голову. Вроде целая. Только какая-то тяжелая и гудит. «Толчковая нога!» — промелькнула ужасная мысль. Хватаюсь за левую ногу — как будто в порядке. Перевожу взгляд на правую — о боже! Из-под колена торчит неестественно белый обломок кости. Только тут почувствовал ломящую боль. А где же ступня? Глянул направо, налево — нет ступни. Так вот же она, я на ней сижу. Оглядываюсь: Тамара поднимается с земли, механически отряхивает пыль, подбегает ко мне. Ни царапинки! «Вот и отпрыгался, — говорю я ей, — кончился мой спорт». Молчит, смотрит на меня испуганно.

Из-за поворота вылетает грузовик с зажженными фарами, чуть не налетает на нас. Шофер выпрыгивает из кабины, затевает обычную в таких случаях фразу, но, разглядев мою ногу, умолкает на полу-

На снимке: И вновь 2 метра — высота, которую впервые 17-летний Валерий взял десять лет назад.

Фото Д. Донского.

слове. «Встать-то можешь сам? Помочь?» Качаю головой. Подкатывает «Запорожец», резко тормозит. «Помогите добраться до больницы», — прошу водителя, молодого мужчину в очках. Они с Тamarой подхватывают меня под локти, я, кусая губы, делаю несколько скачков на одной ноге к кабине.

Сидеть очень неудобно — в луже крови, и еще приходится держать в руках сломанную ногу. «В Склифосовского. Пожалуйста, быстрее». «А дорогу знаешь?» Мне не до дороги, но все же, напрягая память, припоминаю кратчайший путь.

Санитары. Наконец-то. «Ну что, вылезти сам можешь?» «Угу», — промычал я из последних сил: ведь потерял столько крови, пытаюсь выбраться из машины. Усадили меня на «каталку», повезли.

В комнате несколько человек в белых халатах и какая-то женщина со сломанной рукой. Хирург, человек лет пятидесяти с небольшим, только что закончил обрабатывать ее рану и отошел к рукомойнику. Мимоходом взглянул на мою ногу, поморщился. «И где это тебя так угораздило?» — сочувственно спросила пожилая медсестра, разрезая ножницами мои брюки. «С мотоцикла упал». «Эти мне мотоциклисты, смерть в рассрочку», — пробурчала она недовольно. Вторая сестра начала заполнять карточку, я отвечал на ее вопросы, а тут и хирург подошел. «Сознание не теряли?» — спросил он, осматривая мою похолодевшую, потерявшую чувствительность ногу. «Пока нет», — ответил я. — Доктор, а ногу можно спасти?» «Посмотрим. Сейчас вызовем опытного травматолога».

Через полчаса, уже в операционной, ко мне подошел солидный пожилой мужчина, в белом халате, в очках. Даже не взглянув на меня, потрогал ногу и, повернувшись ко мне спиной, спокойно начал намыливать руки. «Доктор, спасите мне ногу!» — прохрипел я, силясь оторвать голову от подушки. «Об ампутации не может быть и речи», — внушительно сказал хирург и, чуть улыбнувшись, добавил: — Наша фирма бадалаек не делает. Уже значительно позже я узнал, что Иван Иванович Кучеренко принял нелегкое и мужественное решение, попытавшись спасти мою ногу, которая, собственно говоря, уже перестала быть моей.

А тогда я попал во власть анестезиологов. Они меня кололи, пристраивали какой-то аппарат. Что было дальше, не помню.

...Проснулся на следующий день, не знаю, в каком часу. Проснулся оттого, что кто-то назойливо похлопывал меня по щекам. Раскрыл глаза, с неохотой — туманно, какие-то фигуры раздвоенные, а голоса знакомые. С трудом пригляделся, узнал: несколько приятелей, тренеры из сборной, знакомые журналисты и фотокорреспонденты. Тут только вспомнил, что со мной приключилось накануне. Бросил стремительный, цепенеющий — сердце заходило — взгляд на свою правую ногу. На месте! Из-под гипса торчат нормальные, хотя и вспухшие пальцы. Я удовлетворенно вздохнул. Начавшиеся распросы друзей и корреспондентов моментально утомили меня, глаза сами собой закрылись. Засыпая, успел подумать: «Нога цела — значит, буду прыгать...»

«...Прыгать он, конечно, не будет, какие прыжки с такой ногой, хорошо хоть не отрезали. Может, даже хромать не будет. Хотя вряд ли... Жаль, конечно...»

Так говорили все или почти все, кто знал Брумеля, соприкасаясь с ним в эти первые послеоперационные недели: медики, тренеры, друзья.

Октябрь, 1965 год. Институт имени Склифосовского.

Мне больно смотреть на его ногу — неуклюжая, запеленатая, неестественно задранная вверх, нога спортсмена, олимпийского чемпиона, мирового рекордсмена по прыжкам. Отвожу взгляд.

— Буду прыгать. Не веришь?

— Да, конечно. Будешь.

— Думаешь, не знаю: все говорят — конченый он спортсмен. Знаю. А я не слушаю. И ты не слушай. У Игоря Кашкарова какая травма была, помнишь? А он вернулся. И Томас тоже. Ну, пусть у меня случай потруднее — были же примеры!

— Может, в шахматистки?

— Не веришь? Ну, ладно, расставляй. Доска на тумбочке.

Март, 1966 год.

Он вышел из больницы: ювелирно сработал Кучеренко, по кусочкам собрал кость, при помощи шурупов сдвинул ее металлическими пластинками — срастайся. Ходит. Правда, пока с костылями, но ходит. «Дело идет на улучшение», — говорит Кучеренко при очередном осмотре. — Только будь осторожнее». Но осторожность не в характере Брумеля. Новый перелом. Иван Иванович, дико ругаясь, снова берется за работу.

— Чего ж ты так, Валер?

— Да, понимаешь, слишком слабой была перемычка. Не в этот раз, так в другой все равно переломилась бы. Может, к лучшему? Я скоро плавать начну. Какая-никакая, а все уже тренировка.

Уезжал в командировку. Возвращаюсь в Москву, звонок. Телефон не отвечает.

— Ты разве не знаешь? Брумель в ЦИТО, у Мироновой. Говорят: пришел в бассейн, до этого уже несколько раз плавал, прыгнул, ударился о воду — нога заболела. Трещина в кости. Оказывается, и раньше была. Маленькая. Рентгеновский снимок сначала даже не показал. Или не в том ракурсе снимали.

Лето, 1966 год. Центральный институт травматологии и ортопедии (ЦИТО).

— Мученик ты, Валерка. Какая по счету операция?

— Кажется, четвертая. Да не в этом беда: остеомиелит. Кость гниет, таблетки глотаю.

— Ну, ничего, поправившись. Еще и прыгнешь.

— Да что ты заладил: прыгнешь, прыгнешь! Думаешь, так это просто? Слушай, а что если в аспирантуру поступить? Тер же (Игорь Тер-Ованесян. — А. С.) учится. Чем я хуже? Ведь подготовлюсь, а?

— Конечно, подготовишься.

Помолчали. И вдруг:

— Ле-о-ша! Да неужели не буду прыгать? Быть такого не может...

И пошли месяцы. Новые операции, консилиумы. Нога то в гипсе, то в тисках специального, из нержавеющей стали аппарата. Никаких обещаний. Но все же мы увидели Брумеля без костылей.

Он приехал к нам, в агентство печати «Новости», на автомобиле, за баранкой сам; опираясь на палочку, прихрамывая, поднялся на второй этаж.

— Смотри, я и без палки могу. Внимательно смотри: раз, два, три, четыре, пять шагов. И почти не хромаю, видишь?

Он, конечно, хромал. И весьма заметно.

— Опять торопишься, Валерий?

— Да нет. Мне Миронова сказала: «Ты у меня еще запрыгаешь!» Будешь писать — обязательно ее слова приведи.

Написал. Было в нашей прессе. Западные агентства подхватили. А Зоя Сергеевна Миронова, профессор, замечательный хирург, очень уважаемый спортсменами, выступила с опровержением: «Сказала в шутку, Валерий поверил, а корреспондент и рад. Как врач, не могу давать никаких гарантий».

И, правда, если подумать: о каких прыжках может идти речь, если после всех этих мучительных операций правая нога Брумеля стала на три с половиной сантиметра короче левой?

1967 год. Снова ЦИТО.

— Читал, Валерий, в «Советском спорте» о японце?

— О каком японце?

Известный японский марафонец, олимпиец, настолько серьезно повредил ногу, что уже и не мог мечтать о беге на длинные дистанции. Отчаявшись, сделал себе хакакири.

— Дурак, — говорит Брумель. — Хотя о покойниках так не говорят. Ну, скажем, сумасшедший. — Помолчали немного. — А знаешь, где-то я его понимаю. Хотя нет. Все равно сумасшедший.

— Ну, бог с ним, с японцем. Сам-то как? Скоро из больницы?

— Наверное, скоро. Сколько можно лежать без толку? Видно, уж не прыгну. Не срастается, проклятая...

Март. 1968 год.

— Еду в Курган. Там есть такой доктор, Илизаров, добрые люди подсказали. Может, поставит на ноги, говорят, чудеса делает.

— Надолго?

— Надолго. Последняя надежда. Если получится, буду прыгать. Но пока не пиши ничего. Спутнешь.

Несколько раз звонил в Курган, во 2-ю городскую больницу. Говорил с Валеркой. Операция прошла хорошо, а нога все же побаливает. Определенного ничего сказать пока нельзя: несколько месяцев придется полежать. Осенью Брумель появился в Москве. Повеселевший. Но на ноге опять аппарат конструкции Илизарова.

— Через две недели снова в Курган. Гавриил Абрамович снимет аппарат, и все станет ясно.

Ноябрь. 1968 год.

Какие костыли, какая трость! Он идет, чуть прихрамывая, нога отвыкла работать. Смеется:

— Это чепуха. На днях приезжает Илизаров на совещание. Познакомлю. Он сам тебе расскажет.

Мы сидим в номере гостиницы «Москва». Гавриил Абрамович Илизаров, доктор медицинских наук, чуть лысеющий, с пышными «буденновскими» черными усами мужчины, показывает материалы, которые привез с собой на совещание. Комментирует его ученик Анатолий Григорьевич Капунов, тридцатилетний врач, очень серьезный и деловитый, «правая рука» Илизарова.

Истории болезней, фотографии.

— Вот видите, такой она была, когда к нам поступила: одна нога на двадцать три сантиметра короче другой. А вот такой выписался: ноги одинаковой длины. А вот случай тяжелого двойного перелома... Когда Валерий приехал к нам, мы сказали: «Чего же раньше не приезжал? Давно прыгал бы».

— Значит, считаете, он может прыгать?

— А почему бы нет, если хочется? — Это уже Илизаров. — Я не специалист в спорте, не знаю, сможет

ли он брать рекорды, но могу заверить: в этом месте кость больше не сломается.

Декабрь. 1968 год. Стадион юных пионеров.

Валерий тренируется. Поднимает штангу, бегают по кругу, совсем медленно бегают, припадая на ногу, закусывая губу, — больно. Фотокорреспонденты умоляют:

— Валерий, ну хоть один прыжок, хоть на самой маленькой высоте.

Отмахивается:

— Да, что вы, ребята, здоровые дорожке...

Веселый.

Зрители расходятся, переговариваются:

«Молодчина, конечно, гигант. Но прыгать? Вряд ли. После такой травмы... Нога не выдержит. Да и нервы не те».

Брумель отводит меня в сторону.

— Я ведь прыгал вчера. Не веришь? Игорь Кашкаров — свидетель, нас двое было в зале: Игорь и я. Сто семьдесят пять сантиметров. Правда, с двух шагов: разбежаться боюсь, да и рано пока. Только не пиши об этом, а то поссоримся. Сто семьдесят пять — разве это высота? Подождем двух метров.

— А долго ждать?

— До мая. А если раньше, предупрежу.

13 марта 1969 года Стадион юных пионеров. Легкоатлетический манеж.

Он взял уже 175, 180, 190 сантиметров. Гавриил Витальевич Коробков, заслуженный тренер СССР, бегают по залу, останавливает одного, другого:

— Вы помните «Праздник святого Йоргена»? Костыли о колено — и пошел плясать. Сегодня то же самое. Только в кино никакого чуда не было, один обман... А чудо — вот оно!

На планке 196 сантиметров. Первая попытка, вторая, третья — не клеится.

Маленькая передышка. О чем-то шепчется с Юрием Чистяковым, тренером. Вдруг глаза загорелись.

— Леша, хочешь пари? Возьму два метра. На бутылку армянского?

— А кто будет пить?

— Сам же и выпьешь.

— Идет!

Взял 196... Два метра. Первая попытка. Нет, не похоже.

Гавриил Коробков:

— Понимаете, первый раз прыгает, да еще на людях! Вон сколько набралось: корреспонденты, американцы... Три года не видел планки, волнуется, конечно. А то бы взял.

Снова небольшое совещание с Чистяковым. Проверяет разбег. И весело в адрес фоторепортеров, у самой планки: «Ап!» Те шарахнулись врассыпную.

И вот он уже в яме, на поролоновых подушках, смотрит вверх: планка недвижима.

— Честно, Валерка, тряслись поджилки? Боялся? Это мы разговариваем уже потом, спустя час-полтора, когда разошлись все и мы тоже покинули манеж.

Отвечает очень серьезно:

— Чудак, я под нож хирурга ложился — улыбался. А если не всегда улыбался, то все равно не боялся, ты же знаешь.

Он прыгал на эти два метра в старой-престарой, латанной-перелатанной шиповке, в которой побил четыре мировых рекорда, в которой шесть лет назад прыгнул на 2,26.

ДЕВИЗ: ОТВАГА, РОДИНА, ЧЕСТЬ

В конце прошлого года в Доме пионеров новосибирского Академгородка торжественно открылся фехтовальный клуб «Виктория». Снаружи, у застекленных стен, толпились мальчишки, которым еще не было двенадцати, а значит, и в мушкетеры им было подаваться пока рановато. Почетный президент клуба «Виктория» академик Михаил Алексеевич Лаврентьев рассек шпагой ленточку, что преграждала путь в зал.

Ох, и красив же он, этот зал: огромный, светлый, одна стена — сплошное зеркало, вдоль другой — балетный станок. Над его оформлением работали лучшие архитекторы и художники. Но самым главным художником был... 11-летний Игорь Сокол. Во время торжественного открытия он стоял в общем строю: за особые заслуги перед «Викторией» Игорь был посвящен в мушкетеры досрочно.

Идея создания детского фехтовального клуба со своим уставом, гимном, девизом, эмблемой, гербом и формой принадлежит местному журналисту Карему Рашу и его товарищам — мастеру спорта аспиранту Юлию Эткинду, преподавателю Новосибирского государственного университета биологу Гураму Абуладзе, генетику Виктору Колпакову, кандидату медицинских наук Илье Винницкому. Энтузиастов поддержали в Советском райкоме комсомола. Решили, что инициатива будет во всем принадлежать самим мушкетерам. Никакой мелочной опеки. Задачи взрослых — лишь направлять неумную детскую энергию в должное русло.

Ну, а каковы интересы членов клуба, как их объединить, выработать программу занятий, которая была бы интересна всем тремстам мушкетерам в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет?

Раздали анкеты с двадцатью вопросами. Ответы оказались самыми неожиданными (пелегкая работа досталась социологам!). Все хотят изучать дополнительный иностранный язык: французский, венгерский, итальянский, испанский. Остановились на французском как официальном языке международной федерации фехтования. И преподаватель французского языка НГУ Галина Рыбкина стала вести группу в «Виктории». Все хотят, помимо фехтования, заниматься боксом и самбо (в кино мушкетеры больше дерутся, чем фехтуют). Мальчишки стали заниматься боксом, самбо и атлетической гимнастикой под руководством опытных тренеров.

В программу вошли также уроки ритмики, которые ведет солистка балета Новосибирского Академического театра оперы и балета Валерия Синявская, — пластика, идеальная координация движений, «чувство спины», осанка необходимы фехтовальщику. И, наконец, лекции по этике, музыке, изобразительному искусству способствуют гармоническому развитию, воспитанию подлинно интеллигентного спортсмена.

Давайте не будем закрывать глаза на то, что порою спортсмен и даже именитый не являет собою пример эрудированного, всесторонне развитого человека (иначе не пришлось бы отмечать интеллигентность Юрия Власова или Александра Исаницкого). Это явление можно объяснить обилием интенсивных тренировок, но оправдать его трудно. Так вот, в новосибирском Академгородке решили с детства при-



«Три мушкетера» — рисунок самого главного художника «Виктории» Игоря Сокола.

вить фехтовальщику любовь к знаниям, культуре, соединить гуманитарные начала с современной методикой тренировок, которая зарекомендовала себя как самая передовая в мире: олимпийские успехи наших фехтовальщиков тому свидетельство.

Недавно в адрес «Виктории» пришла бандероль из Милана. Эдоардо Манджиаротти, десятикратный чемпион мира и олимпийских игр, прислал свою книгу «Истинное фехтование». Книгу перевели, а некоторые заповеди знаменитого мушкетера включили в устав «Виктории»:

«Помни, что ты представитель самого благородного из всех видов спорта».

«Учись проигрывать с честью и побеждать с достоинством».

«Береги, защищай и уважай свое имя, престиж своего учителя, цвета своего общества, знамя своей страны».

— Наша программа, — говорит президент клуба Карем Раш, — годится, мне кажется, для любой секции. Пусть все спортсмены будут настоящими мушкетерами.

Поднят первый мушкетерский стяг, на котором начертано: «Отвага, Родина, Честь» — девиз клуба. А может быть, этому стягу суждено стать штандартом флага, за которым взойдут новые полотнища в других городах страны?..

Ф. МАЛКИН



Я ТУТ ЖИВУ...

Рисунки М. Ушаца.



Улица в Венеции. Входят Родриго и Яго.

— Ни слова больше. Это низость, Яго. Ты деньги брал, а этот случай скрыл...

— Здравсьте,— поздоровался я с Дездемоной.

Дездемона не ответила.

— Здесь нельзя стоять. Спустились в зал,— сказала она.

— Да уж мерси,— ответил я.— Отсюда, наверно, интересней. Вон в зале, посмотрите, все загнули.

Дездемона вздохнула.

— Это потому, что в школе «Отелло» проходили. Кто кого задушит, наизусть знают. Не детектив...

— А вы что-нибудь новенькое подпустите,— предложил я.

— Так ведь Шекспир...— И вдруг как топнет ногой:— А ну, марш в зал! Здесь нельзя посторонним.

— А вы на меня не кричите,— обиделся я.— Я, между прочим, совсем не посторонний. Я, если хотите знать, тут живу.

Дездемона приснула. Наверное, на фоне венецианских сенаторов и солдат дожа, которые вместе с нами стояли в кулисе, я в своей пижаме выглядел уж очень нелепо.

— Интересно, где ж вы тут живете? На колосниках, что ли?— спросила Дездемона.

— Зачем на колосниках... У меня своя комнатка. Третья справа по коридору. Мужская примерная, а следующая моя. Так получилось... Приехал я из своего города к двоюродному брату погостить, а у него дома ремонт. «Я,— говорит мне брат,— временно тебя на своей работе поселю. Комнатка, правда, неудобная, но привыкнешь и жить будешь припеваючи. Тем более, жилье твоё в театре помещается. Я там сейчас работаю». Взял я свой чемодан и приехал в театр селиться. Вот теперь здесь живу. Соседи с вами. Заходите в гости. У меня, конечно, не дворец дожа, но чайком угощу. А?..

— С баранками... Отец, в таком кругу мой долг двоится...— Это уже началась Дездемонова роль.

А я, теряя шлепанцы, побежал в свою комнатку, переоделся и кинулся в булочную за баранками.

Легко сказать — кинулся... Пока я одевался, да то да се, второй

акт начался. А чтобы выскочить на улицу, мне надо пересечь сцену. Стою в своей кулисе, голову ломаю.

Тут, гляжу, сцена народом наполняется. Сенаторы, солдаты, горожане. Дож пришел. «Вот,— думаю,— за их спинами я на ту сторону и перебегу». Так подумал и так сделал.

Высунулся из-за кулисы и от солдата к солдату незаметно перебегаю. Один меня все-таки засек.

— Стой! — шепчет.— Кто идет?

— Я,— отвечаю,— в магазин и обратно.

— Тогда,— говорит венецианский солдат,— купи мне «Шипку». Смерть курить охота.

Взял я у него четырнадцать копеек и к другому солдату за спину перескочил. А тут у них как раз смена караула. Мои-то солдаты ушли, а другие запаздывают. Чувствую, зритель меня уже во весь рост видит. Не помню почему — от страха, наверное, — я авоську себе на голову натянул. Глядь, а у соседа справа такая же авоська на лице.

«Значит,— думаю,— меня никто и не заметит».

Ан, нет! Заметили. Уставились на меня, смотря, чего-то ждут. Который рядом в авоське стоит, щиплет меня за ляжку:

— Ты, что ли, третий горожанин?

— Я,— говорю.— «Может, так скорее отпустят...» — думаю.

— Тогда произноси,— шипит мне сосед.

— Чего?

— Ну, что новый комендант в крепость назначен.

Делать нечего. Все ждут. Я и говорю:

— В общем, товарищи венецианцы,— говорю я громко,— нового коменданта вам прислали!

Вдруг один со шпагой, который против меня стоял, побледнел весь и спрашивает:

— Как зовут?

Я говорю:

— Сидоров.

Со шпагой побледнел еще больше и уже совсем не своим голосом говорит:

— А коменданта?

— А-а-а! — хлопнул я себя по лбу.— Эхот... Яго!

Бухнул имя, которое помнил со школы (кроме главного, Отелло, конечно). Чтобы отвязаться.

Назвал и под музыку затанцевал к выходу.

Никто меня не остановил, и я спокойно купил разных баранок и «Шипку» для солдата не забыл прихватить.

С полной авоськой возвращаюсь в кулису. Конечно, не в ту, в которой живу, а в противоположную.

Третий акт в разгаре. Подождал я, пока снова народ на сцене не подкопится, пригнулся пониже и рванул к себе домой.

По дороге солдату сигареты отдал.

— Эх, жаль, закурить нельзя,— вздохнул солдат.— Действие тут у нас затянулось.

— А чего? — спросил я.

— Все ты.— Солдат отвел меня за колонну.— Как сказал ты, что Яго назначили комендантом, нам что делать, стали так и

дальше играть. Яго, значит, комендант крепости, которую Отелло от турков отстоял, а Кассио, Отеллов лейтенант, так без повышения и остался. Теперь что ж получается? Весь Шекспир у нас летит к чертовой бабушке. Яго совсем не к чему подсиживать Кассио. Он ходит и мавру про Деэдемону ни гу-гу. Сети не плетет, короче. Вот что ты натворил...

— А ну вас всех к черту! — вдруг психанул я.— Мне бы ваши заботы! Вы здесь в игры играете, а я тут живу.

— Да ты особо не волнуйся,— успокоил меня солдат.— Отелло все-таки сам подозревает Деэдемону. Говорит, встречу она с кем-то назначила... У тебя что в сетке?

— Баранки,— ответил я и побежал домой.



Я решил во что бы то ни стало поговорить с ней сейчас же, пока мавр не запугал ее окончательно. Опыт у меня был, и я за колоннами прокрался к той, за которой она стояла.

— Милая Деэдемона,— зашептал я,— я принес вам платок.

Она вспыхнула. Отелло стал кричать на нее, но я уже успел сунуть платок ей в руки. И вдруг она — о женское коварство! — протянула платок Отелло со словами: «Вот тот платок, который вы просили».

Я чуть из-за колонны не вывалился.

Но еще больше растерялся сам Отелло. Он стал вдруг извиняться, лепетать какие-то оправдания: мол, он зря подозревал ее, Деэдемону, что если платок найден, то все в ажуре и нечего было весь сыр-бор городить, что он, Отелло, всех прощает и просится у дожа на пенсию.

Я ничего не понял и на мягких ногах поплелся к себе в берлогу. Там я плюхнулся на диван и пролежал до тех пор, пока ко мне не ворвался знакомый солдат.

— Вот это дал! Вот это дал! — заорал он с порога.

— Кто кому? — слабым голосом спросил я.

— Ты — всем! И Отелло, и актерам, и публике... Слышишь, овация какая? Вот это успех! Такого еще не было! В общем, так: только что Деэдемона задушила Отелло и объявила, что выходит за тебя замуж. А ну, соберись! Ты у нас теперь в главной роли. Спектакль продолжается. И меня поволокли на сцену.



А в антракте ко мне заглянула Деэдемона. Мы все успели: и чайку попить и понравиться друг другу, а я еще — и предложение ей сделать.

— Ой! — вскрикнула Деэдемона в этом месте.— Мне пора на выход! — и выпорхнула из моей комнаты, у самого порога обронив платок.

«Это знак! — лихорадочно пронеслось в моем мозгу.— Это тайный знак, что она согласна. Теперь надо вернуть ей платок и услышать «да» от нее самой. Для верности».

Я понесся в кулису.

Моя Деэдемона была уже на сцене. Дрожащая, она стояла перед Отелло, а тот сверкал на нее огненным взглядом.

ТРИ СЮЖЕТА

Рисунки И. Оффенгендена.

ЗАВИСТЬ

Мы родились одновременно, и его зависть сопровождала меня с первого часа на белом свете.

Я весил на двести граммов больше. И он благим матом выражал свое возмущение и обиду, словно я эти лишние двести граммов достал по блату!

Он успокоился только тогда, когда нас случайно поменяли местами.

Мне повезло: приняв меня за него, недоношенного, за мной ухаживали с повышенным вниманием, и я прибавил еще 550 граммов.

Из родильного дома меня везли в детской коляске. Его несли на руках. Он опять надрывался от крика, который понимал только я.

— У-а, тебя везут! А мне снова не везет!

Я не выдержал и уступил ему место в коляске.

Мне повезло, потому что пошел дождь, а у коляски не было верха.

Когда мне купили трехколесный велосипед, он извел меня своим нытьем.

— Опять у тебя на целое колесо больше!

Я не выдержал и поменял свой трехколесный велосипед на его двухколесный.

Мне повезло: я набил себе больше шишек, но зато физически окреп быстрее его.

Пришла пора приобрести мне первые часы, и он не давал мне проходу.

— Ловкач,— завистливо вздыхал

он.— Часы у тебя, а мне они нужнее.

Я не выдержал и отдал ему свои часы.

Мне опять повезло: у меня наступил тот период жизни, когда счастливые часов не наблюдают.

Вскоре я женился.

— Ты занял мое место! — каню-

и в больницу он приходил с завистью.

— Тебе опять повезло,— вздыхал он.— Даже болезнь отхватила импортную!

Слава богу, наконец я умер! Но он не дал мне покоя и на похоронах.

— Неплохо устроился,— кри-



чил он.— Даже в этом опередил меня!

Я не выдержал и развелся.

Мне повезло: моя бывшая жена перестала пилить меня и стала тиранить его.

Прошли годы. Я заболел. Но

вился он,— какой гроб отгрохали! Мне не видать такого.

Я не выдержал. Я встал из гроба. Я уступил ему место.

Он успокоился. Кажется, навек. Честное слово, я ему не зави-
дую!

ПРОДАВЩИЦА ИГРУШЕК

В отделе игрушек не было ни-
кого живого, кроме молодень-
кой миловидной продавщицы.
Она стояла за прилавком в той осо-
бой позе ожидания, которая бы-
вает только у продавщиц.

— Давайте по-хорошему,— сразу
же обратился я к ней,— мне
нужна игрушка для племянника.
Но я не знаю, что ему может
понравиться. Поэтому, когда я
буду искать, прошу меня не торо-

пить и не грубить. Договорились?

Она мило улыбнулась и утвер-
дительно моргнула ресницами.

...На прилавке лежали десятки
игрушек. Я каждую потрогал ру-

ками, повертел и положил обратно.

— Не возражаете, если я заведу этот автомобильчик?

Она утвердительно моргнула ресницами и улыбнулась.

— Нет, он мне не нравится, — через минуту сказал я. — Лучше посмотрю самолет... Можно?

Она мило улыбнулась и моргнула.

— Это не то, — сказал я после детального осмотра и испытания самолета. — Я, пожалуй, поверчу вон ту лошадку...

Утвердительно моргнув ресницами, она мило улыбнулась.

— Нет, лучше зайца...

Она моргнула и улыбнулась в знак согласия.

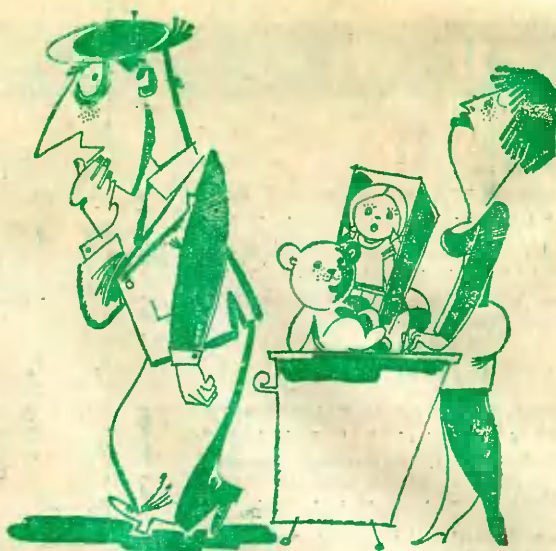
— Не подходит заяц. Попробую автомат.

Она улыбнулась и моргнула.

Я уже нарочно хватался за первую попавшуюся вещь. И, о чудо! Ни следа раздражения на милом видеом лице продавщицы. Она терпеливо и приятно улыбалась.

— Это какая-то сказка! — в конце концов воскликнул я, забыв об игрушках. — У вас ангельский характер. Я покорен. Я прошу вашей руки!..

— Рука отдельно не продается! — вдруг услышал я скрипучий механический голос, который



по необъяснимым причинам бывает только у продавщиц.

Я повернул голову и увидел, что говорит то, что раньше я принял за куклу, — особа с бесстрастным каменным лицом и со стеклянными глазами, которые смотрели, не мигая, равнодушным, застывшим взглядом.

— Так вы покупаете эту куклу, — раздраженно сказала она, указывая на ту, в которую я так поспешно влюбился — или просто морочите людям голову?

Моя безответная любовь мило улыбнулась и моргнула своими добрыми, но шарнирными глазами...

УНИКУМ

В нашем институте механизация и автоматизация производства поднялись на большую высоту, — горячо объяснял мне директор, — но наша гордость — это уникальный робот, который один заменяет пятерых человек!

Он повел меня показывать свою гордость.

Робот, маленький, похожий на самовар, находился в центре

пустого просторного помещения.

— Тут раньше размещалось пять канцелярских столов, — захлебываясь, продолжал директор. — Пять столов, сами понимаете, — это пять телефонов, пять чернильных приборов, пять стульев и, разумеется, пять сотрудников. Теперь, как видите, никаких предметов, кроме робота! И ничего ровным счетом не изменилось...

Я с уважением посмотрел на внешне неказистое кибернетическое устройство.

— Он, конечно, может передвигаться? — уверенно спросил я.

— Может, конечно. Но он дисциплинирован: целый день — на своем месте! — восторженно ответил директор.

— А где же его стол? — спросил я.

— В том-то и дело, что роботу не нужен ни стул, ни стол!

— А-а! Значит, он пишет стоя?

— В том-то и дело, что он не пишет! — радостно засмеялся директор.

— Ага! — догадался я. — Наверное, он свои мысли сразу передает по телефону?

— А вот и нет, а вот и нет! — захопал в ладоши директор. — Во-первых, у него нет телефонов, а во-вторых, нет мыслей. Ни своих, ни чужих.

— Так что же он делает? — воскликнул я.

— То же, что и те пять сотрудников, которых он заменяет. Уникальная машина!



г. Ростов-на-Дону.

● ПРОЗА

Раиса ГРИГОРЬЕВА. Крестьянский сын. 2
Повесть

Евгений МАРЫСАЕВ. Рыжий черт. Рас- 38
сказ

Виктория ТОКАРЕВА. Два рассказа: 1. 65
Зануда. 2. Фараон

● ПОЭЗИЯ

Игорь РИНК. Трубка друга. Вагон тяжело- 35
раненых

Иосиф РЖАВСКИЙ. Политрук. Звезды. 35
Поверка. «В ночи сияли надписи отве-
сно...». Мать

Александр ЛЕСИН. «Ну, что ж, давай за- 36
курим по одной»

Павло МОВЧАН. Воспоминание. Автобио- 37
графическая глина. Осеннее (С укра-
инского перевел Ю. Ряшен-
цев)

Леонид ЗАВАЛЬНЮК. Песня. Точные сло- 48
ва. Первый класс. Вечер. «В селе да-
леком...». «Костер во мране...». Напоми-
нение самому себе. Мосты. «То, что
помню...». «Как под водой плывет...»
Обещания.

Белла АХМАДУЛИНА. Не писать о грозе. 50
«Прощай! Прощай! Со лба сотру...» . . .

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. «Прокарнал ночью 50
телефон...». «Ты помнишь запахи пусты-
рей...». Наташа под дождем. «На севе-
ре, юный и тонкий...». «Ты спраши-
ваешь, как живу?...». Прощание с при-
родой...

Марина ТАРАСОВА. «Я с детства Азию 64
люблю...». «В ладонях теплится мимо-
ра...». «Тружусь в тюльпановом хозяй-
стве...». «Вот так бывает иногда...» . . .

● ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ЦВЕТОВ. «Наш корреспондент 52
сообщает из России...» (Окончание)

Е. СИДОРОВ. Слово Леонида Леонова 62
(К семидесятилетию со дня
рождения писателя)

Владимир ИЛЮШИН. Из рассказов лет- 72
чика-испытателя: 1. Если честно... 2.
День рождения. 3. Володе Нефедову
посвящается...

Владимир ГЛОТОВ. Дни и заботы Марга- 80
риты Забелиной

● ОКНО В МИР
ПРЕКРАСНОГО

Иван КУПЦОВ. Товарищ жизнь и краски 75
искусства

✱ ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Два письма в редакцию.
Н. ДОЛИНИНА. Что вы, собственно,
знаете о своем учителе? (Письмо из
редакции) 85

● СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации . . . 90

● НАУКА И ТЕХНИКА

Еремей ПАРНОВ. Гимн морским ежам . 92

● ДЕБЮТЫ

Гизелла ЦИПОЛА: «Я певица, но еще 100
не актриса»

● ЗАМЕТКИ
И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

✱ О. МОИСЕЕВ. В пятнадцать лет. 102
✱ Ил. АЛЕНОВ. Двое в танце

● СПОРТ

А. СРЕБНИЦКИЙ. Три года пять месяцев 104
восемь дней

Ф. МАЛКИН. Девиз: Отвага, Родина, Честь 107

● «ПЫЛЕСОС»

Винтор СЛАВКИН. Я тут живу 108

Юрий ЛЕОНОВ. Три сюжета 110

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Э. РАПОПОРТ.

ПОПРАВКА

В журнале «Юность» № 4 за т. г. на стр. 88, в первой колонке, строка 23 сверху
вместо слова «Кисловодск» следует читать «Красноводск».

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Телефон 255-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 06048. Подп. к печ. 18/IV 1969 г.

Формат бумаги 84×108/16.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 100 000 экз. Изд. № 805. Заказ № 743.

Ордена Ленина типография газсты «Правда» имени Е. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



«Моцарт и Сальери»

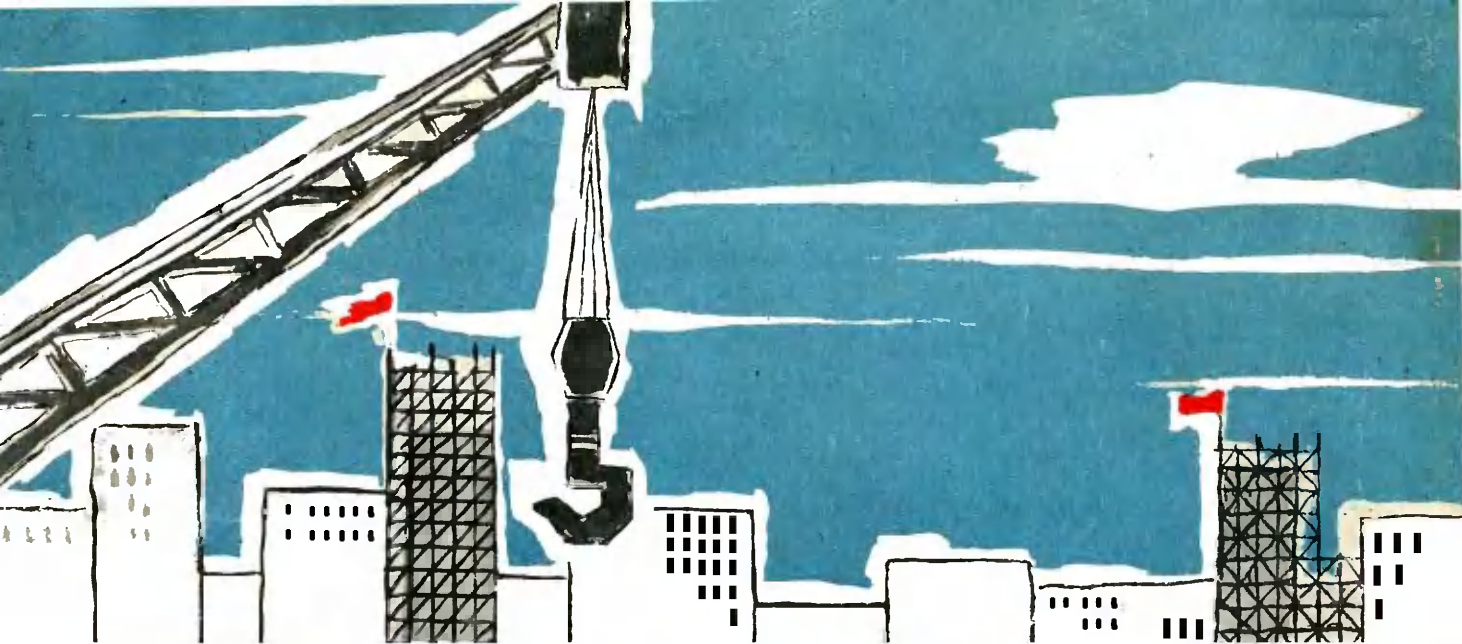
Новые рисунки
П. Бунина
к произведениям
А. С. Пушкина.

(К 170-летию
со дня рождения поэта).

«Евгений Онегин»



«Борис Годунов»



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120